

JEAN GENET  
QUERELLE DE BREST

GALLIMARD  
Collection "L'Imaginaire"  
Editions Gallimard 1953

ЖАН ЖЕНЕ

КЭРЕЛЬ

Роман

Перевод с французского  
Маруси Климовой

---

© Copyright Маруся Климова (Татьяна Кондратович), 1995  
Первое издание: СПб, "ИНА-пресс", 1995

---

*Жаку Г.*

"За два года, проведенных на морской службе, его непокорность и развращенность стоили ему семидесяти шести наказаний. Он делал наколки новобранцам, воровал у товарищей и вступал в противоестественные сношения с животными".

Из дела Луи Менеклу, 20-ти лет.

Казнен 7 сентября 1880 года

"Я следил за уголовной хроникой, и дело Менеклу потрясло меня. Я не настолько испорчен, как он, я не насиловал и не расчленил своей жертвы. Нас нельзя сравнивать хотя бы потому, что, в отличие от него, я всегда ходил при галстук..."

Заявление судебному следователю Феликса Леметра, убийцы 14-ти лет

(15 июля 1881 года)

"Другой солдат, упав случайно ниц во время битвы, в момент, когда враг поднял меч, чтобы нанести ему смертельный удар, попросил дать ему перевернуться, дабы его возлюбленный не увидел, что он поражен в спину".

Плутарх "О любви"

Мысль об убийстве часто сопровождается воспоминаниями о море и моряках. Но море и моряки являются нам не в виде ясного образа, убийство, скорее, пробуждает в нас образ бушующих волн. Порт часто бывает местом преступления, это легко объяснимо, и мы не будем на этом останавливаться, но из многочисленных хроник известно, что среди убийц встречаются как настоящие, так и переодетые моряки, и если убийца был переодет, то преступление обязательно связано с морем. Мужчина надевает форму матроса не только для маскировки. Его переодевание является началом некоего церемониала, всегда сопровождающего умышленные преступления. Во-первых, это как бы возносит преступника над землей и помогает ему оторваться от линии горизонта - места, где море переходит в небо; широкими и упругими шагами он идет по воде, олицетворяя собой Большую Медведицу, Полярную звезду или Южный Крест; это (мы по-прежнему имеем в виду переодевание преступника) вновь возвращает его на сумрачные континенты, где днем светит солнце, а ночью луна покровительствует убийствам в бамбуковых хижинах у неподвижных рек, переполненных аллигаторами, это позволяет ему действовать как бы во сне и заносить свое оружие, стоя одной ногой на океанском пляже, а другой устремляясь по водам к берегам Европы, это заранее дает ему забвение, ибо моряк всегда "возвращается издалека", и позволяет ему смотреть на обитателей суши как на растения. Одежда убаюкивает преступника. Она окутывает его своими складками, теснотой тельняшки и простором брюк. Она усыпляет его. И усыпляет уже замороженную жертву. Нам еще придется говорить о роковой внешности матроса. Мы знаем, как она действует. В очень длинной фразе, начинающейся со слов: "Возносит преступника над землей..." мы, вероятно, слишком увлеклись поэтическими сравнениями, но только для того, чтобы дать представление о пристрастиях автора. Подчиняясь своеобразному внутреннему настроению, мы хотим представить здесь драму. Надо сказать, что она посвящается гомосексуалам. К мыслям о море и об

убийстве всегда так естественно примешиваются мысли о любви или наслаждении - и более того, о любви противоестественной. Без сомнения, моряки, охваченные (воодушевленные, это слово нам кажется даже более подходящим, и в дальнейшем мы сможем убедиться в этом) желанием и потребностью убийства, могут плавать и в торговом флоте, на дальних рейсах, их могут пичкать сухарями или ударами плетки, заковывать за малейшую оплошность в кандалы, высаживать в незнакомом порту, снова брать на борт на грузовое судно с сомнительным маршрутом, однако, каждый раз, когда в туманном каменном городе мы встречаем стройных, возбужденных в предвкушении учений здоровяков из Военного флота, когда мы видим плечи, профили, кудри и покачивающиеся непокорные бедра этих сильных и нежных парней, невозможно усомниться в их способности к убийству, которое оправдывается уже одним их участием, ибо они облагораживают собой этот акт. Спускаются ли они с небес или поднимаются из пучины, где встречаются самые удивительные чудовища и сирены - на земле моряки обитают в каменных домах, военных портах, во дворцах, чья устойчивость так непохожа на легкую возбудимость и женскую отзывчивость вод (не случайно в одной из матросских песен так и поется : "...море тебя утешит"), на причалах, заваленных цепями, заставленных тумбами и швартовыми кнехтами, и всегда помнят, что они только на якоре, как бы далеко от моря они ни находились. Чудесная архитектура казарм, фортов и заброшенных тюрем формирует их осанку.

Брест – суровый и надежный город, выстроенный из серого бретонского гранита. Его надежность подчеркивает порт, который дает матросам чувство безопасности и точку опоры для нового рывка. Она позволяет им отдохнуть от постоянной зыбкости моря. Только благодаря солнцу, слегка золотящему его фасады, не уступающие венецианским, благодаря присутствию на его узких улочках беспечных моряков и, наконец, благодаря туману и дождю Брест не производит гнетущего впечатления. Здесь и разворачивается действие книги, и мы начинаем наш рассказ в тот момент, когда сторожевой корабль "Мститель" уже третий день стоит на рейде. Его окружают военные корабли : "Пантера", "Победитель", "Грозный", а также "Ришелье", "Беарн", "Дюнкерк" и другие. Подобные названия уже встречались в прошлом. На стенах часовни при церкви Сент-Ив в Ля Рошели висели картинки, изображающие пропавшие или спасенные корабли : "Шалунья", "Сапфир", "Фея", "Любимая". Эти корабли не оказали никакого влияния на воображение Кэреля, видевшего их иногда в детстве, тем не менее, мы считаем своим долгом отметить их существование. Для моряков Брест всегда будет городом "Феерии". Вдали от Франции моряки, разговаривая между собой об этом борделе, неизменно сопровождают свою речь шутками и утробным смехом, так, как будто говорят о шолонских \*{Шолон-часть г. Сайгона, славившаяся приготовлением изысканных блюд из утки (здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечания переводчика)} утках или наивных аннамитах \*{Аннамиты- устаревшее название вьетнамцев}; они вспоминают хозяина и хозяйку, обмениваясь фразами:

- Давай бросим на них кости. Как у Ноно!
- Этот ради шлюхи готов сыграть с Ноно!
- А тот в "Феерии" точно проиграет!

Название "Феерия" и имя "Ноно", несмотря на то, что имя самой хозяйки оставалось неизвестным, обошли весь свет, то и дело слетая с губ матросов в насмешливой скороговорке. На борту никто толком не знал, о какой игре идет речь, но никто, даже новички, не осмеливались это показать, каждый моряк

стремился сделать вид, что он в курсе. Этот брестский бордель обрел сказочный ореол, и моряки, приближаясь к порту, тайно мечтали об этом доме свиданий, хотя вслух говорили о нем не иначе как со смехом. Жорж Кэрель, герой этой книги, говорил об этом меньше других. Ему было известно, что его брат - любовник хозяйки. Вот полученное им в Кадисе письмо, из которого он об этом узнал:

"Дорогой братишка, я решил черкнуть тебе пару слов, чтобы сообщить, что я вернулся в Брест. Я хотел снова наняться на работу в доки, но там уже не брали. Бабки у меня были. Работа никогда не шла мне особенно впрок, и я, как маленький сверчок, в конце концов нашел свой шесток. Чтобы скоротать время, я встретился с Мило и почти сразу же заметил, что жена хозяина "Феерии" положила на меня глаз. Я не ударил в грязь лицом, и теперь это окупается сторицей. Хозяину на это плевать, у них с женой чисто деловые отношения. У меня все хорошо. Я надеюсь, что у тебя тоже, ты приедешь в отпуск, и т.д.". Подпись: "Робер".

В сентябре иногда идет дождь. От дождя легкая полотняная одежда, рубашка и голубые штаны прилипают к телу, обрисовывая мускулы портовых рабочих. По вечерам с верфей спускаются целые группы каменщиков, плотников и механиков. Они устали. И вынуждены замедлять свои тяжелые шаги, чтобы их могучие ноги в башмаках не разбрызгивали лужи. Они медленно и грубо врезаются в легкий, стремительный поток вахтенных матросов, являющихся настоящим украшением этого города, искрящегося до рассвета скрипом их ботинок, взрывами смеха, песнями, шутками, оскорблениями, выкрикиваемыми девкам, поцелуями, воротниками и помпонами. Рабочие возвращаются в свои бараки. Весь день они работали (у военного, будь то матрос или солдат, никогда нет ощущения, что он работал), из прихотливого переплетения дополняющих друг друга движений их рук постепенно начали проступать контуры конечного результата их труда, теперь же они возвращаются к себе. Они чувствуют друг к другу что-то вроде смутной привязанности и скрытого отвращения. Женаты из них немногие, но и у тех жены далеко. К шести часам вечера рабочие выходят за решетки Арсенала и покидают доки. Они поднимаются к вокзалу, где расположены столовые, или спускаются к Рекуврансу, где в небольшом меблированном отеле они снимают комнаты. Большинство из них – это итальянцы, но есть и испанцы, несколько североафриканцев и несколько французов. Вот этот разгул усталости, тяжелых мускулов и мужественного утомления и любил созерцать офицер с "Мстителя", лейтенант Себлон.

"Кровельщики работают на крышах зданий Адмиралтейства. Они лежат там ничком, распластавшись, как на волне, на фоне серого неба, вдали от людей на земле. Их не слышно, они затеряны в просторах моря. На краю крыши, лицом к лицу, они измеряют друг друга высотой поднятого торса, угощая табаком.

На каторжную тюрьму постоянно направлена пушка. Сегодня эта пушка (точнее, ее ствол) поставлена стоймя посередине двора, где выстраиваются

каторжники. Удивительно, что раньше преступников в наказание могли отдать в матросы.

Я прошел мимо "Феерии". И ничего не увидел. От меня все скрыто. В Рекуврансе мне мимоходом бросилось в глаза, как на ляжке матроса - я так и не пресытился этим зрелищем, столь частым на борту корабля, - складывается и разворачивается аккордеон.

"Брестировать". Это, без сомнения, о бретерах: ссориться.

Узнав - из газеты или откуда-нибудь еще - об очередном скандале или только предчувствуя его начало, я уже готов бежать. Мне все время кажется, что именно меня заподозрят в том, что я был его зачинщиком. Думая о том, сколько скандалов могло бы возникнуть по моей вине, я начинаю чувствовать себя демонической личностью.

По отношению к хулиганам, которых я держу в объятиях, их головам, тихонько накрываемым простынями и ласкаемым мною, моя нежность и страстные поцелуи являются чем-то вроде смеси признательности и восхищения. После полного одиночества, которое всегда отделяло меня от людей, возможно ли это, правда ли, что я могу прижать к себе этих обнаженных мальчиков, смелость и сила которых поднимает их так высоко, а меня ошеломляет и повергает к их ногам? Я не осмеливаюсь поверить в это, и слезы наворачиваются мне на глаза из благодарности к Господу, давшему мне это счастье. Мои слезы делают меня нежным. Я таю. Ощущая их влагу на своих щеках, я прижимаюсь, изнывая от нежности, к гладкой и твердой щеке юноши.

Строгий, иногда даже подозрительный, как у настоящего блюстителя нравственности, взгляд, которым педераст окидывает встретившегося ему красивого молодого человека, не может скрыть глубокого чувства собственного одиночества. В одном мгновении (пока глаза не отведены) заключено, сконцентрировано так много отчаяния, смешанного с лихорадочной боязнью быть отвергнутым. "Это было бы так прекрасно..." - думает он про себя. И даже если он ни о чем не думает, об этом говорят его изогнутые брови и блеск его темных глаз.

Обнажив часть своего тела, Он (Кэрель, имени которого из предосторожности офицер старался не писать, потому что для его товарищей и начальства содержания его личного дневника было бы достаточно, чтобы его растоптать) - Он рассматривает его. Он отыскивает черные точки, следы от ногтей, розовые прыщи. Ничего не найдя, Он злится и старается их представить. Стоит Ему остаться без дела, как он предается этой игре. Сегодня вечером Он рассматривал свои легкие - хотя и жесткие, - густые черные волосы на ногах, сгущающиеся в паху наподобие тумана, смягчающего грубые, угловатые, как из камня, линии. Меня удивляет, что этот ореол мужественности окружает столь нежную ногу. Он забавляется тем, что прижигает волоски сигаретой, потом наклоняется, чтобы ощутить запах жженого. Он улыбается своей привычной улыбкой. Его отдыхающее тело - это Его великая страсть, страсть, исполненная тоски, не возбуждающая. Склонившись, Он любит себя собой. Он рассматривает себя, как в лупу. С тщательностью энтомолога, наблюдающего за жизнью

насекомых, Он не упускает из виду ничего. Но стоит Ему шевельнуться, и каким ослепительным становится все Его тело в движении!

Он (Кэрель) никогда не бывает рассеянным. Все время, каждое мгновение Он внимателен к тому, что делает. Он не знает, что такое мечта. Он всегда сосредоточен. Его невозможно застать врасплох. И между тем ребячество Его поведения сбивает меня с толку.

Мне хотелось бы засунуть руки в карманы брюк и небрежно бросить Ему: "Подтолкни-ка меня, стряхни мне пепел с сигареты". И грубо, по-мужски, Он ткнул бы меня кулаком в плечо. И я очнулся.

Я мог бы стоять прямо, держась за форштевень, качка была не такая уж сильная, но я сознательно пользовался движением корабля, увлекающим, уносящим меня все время по направлению к Нему. Мне даже удалось коснуться Его локтя.

Казалось, злая и преданная своему хозяину сторожевая собака, готовая перегрызть вам сонную артерию, повсюду следовала за Ним, иногда проскальзывая между Его икрами, так, что бока животного сливались с мускулами Его бедер, она все время рычала и показывала клыки, она была свирепа, и вы все время ожидали, что она вот-вот бросится и вцепится Кэрелю в мошонку".

Представив вам отрывки, тщательно подобранные из разных мест личного дневника, мы хотим, чтобы матрос Кэрель, порожденный одиночеством, пленником которого был офицер, явился вам похожим на Ангела из Апокалипсиса, ногами покоящегося на море. Когда лейтенант Себлон думал о Кэреле, воскрешая в воображении все его прелести, очертания мускулов и половой орган, матрос казался ему ангелом (позже он так и напишет: "Ангел одиночества"), то есть существом все более и более нечеловеческим, хрупким, окутанным звуками музыки, существом, созданным вопреки законам гармонии или, точнее, под музыку, начинающую звучать в тот момент, когда гармония исчерпана, сметена, и под эту музыку медленно летит огромный ангел, никто его не видит, ноги его касаются воды, а голова - или то, что должно быть головой, - сияет в лучах ослепительного солнца. Скрывая от врага план нашего спасения, готовится секретный агент; цель, которую он преследует, так тесно связана с нашей судьбой, что мы полностью зависим от ее успешного осуществления, и эта цель настолько благородна, что при одной мысли о ее исполнителе грудь переполняется волнением и из глаз текут слезы, в то время как он сам готовится к выполнению своей задачи с холодной методичностью. Размышляя о тактике своих действий, он экспериментирует и выбирает самую эффективную. Таким образом, совершая действие, которое мы должны хранить в тайне - и сохраним, потому что в нем нельзя признаться -- которое может совершаться только в темноте, мы иногда с ледящей ясностью ощущаем каждую деталь, являющуюся нашему глазу при свете дня. Тот же лейтенант Себлон перед тем, как в первый раз сойти на берег в Бресте, на всякий случай взял со своего стола карандаш и тщательно заточил его. Он положил его в карман. Потом, предположив, что каменные перегородки могут

быть слишком темными или слишком шершавыми, он взял с собой несколько маленьких клейких этикеток. На берегу, под банальным предлогом, он покинул своих товарищей и, войдя в первый попавшийся туалет в начале улицы Сиам, расстегнув ширинку и осмотревшись, написал свое первое послание: "Молодой человек, проездом в Бресте, ищет красивого мальчика с красивым членом". Без особого успеха он попытался расшифровать непристойные надписи. Его вывело из себя то, что такое благородное место оскверняется политическими лозунгами. Вернувшись потом к своему тексту, он еще раз перечитал его про себя, испытав такое волнение, как будто это не он сам его написал, и пририсовал к нему вставший член чудовищного размера, сознательно преувеличив наивность рисунка. Потом он вышел, сделав вид, что просто помочился. Так он обошел весь город Брест, непринужденно заходя в каждый туалет.

Странное сходство братьев Кэрель занимало лишь посторонних, сами же они старались не замечать его. Они встречались поздно вечером в единственной кровати, в комнате, рядом с которой в нищете жила их мать. Возможно, их объединяло и что-то еще - любовь к матери или ежедневные драки, - но это "что-то" уже было выше их понимания. Утром они расставались молча. Они не хотели друг друга знать. В пятнадцать лет Кэрель уже улыбался улыбкой, сохранившейся у него на всю жизнь. Он общался с ворами и говорил на аргю. Об этом нужно помнить, чтобы лучше понять Кэреля, у которого мыслительные представления и даже чувства всегда принимают определенную синтаксическую и орфографическую форму. Он говорил: "На полную катушку", "я на мели", "не размазывай сопли", "пидор вонючий", "он попал в точку", "ну и прет этот кореш", слушай, детка, исчезни в тумане", "завязывай" и т.д.; все эти выражения он никогда не произносил ясно, а скорее шептал их глуховатым голосом, как бы про себя, смазанно. И так как эти выражения не произносились, то можно сказать, что язык Кэреля как бы не участвовал в их появлении. Напротив, казалось, они сами входили в его рот, скапливаясь в нем, откладываясь и образуя густую грязь, откуда иногда поднимался прозрачный пузырь, нежно лопавшийся на его губах. Это и было жаргонное слово.

Городская и портовая полиция Бреста находились под покровительством комиссариата, где в период действия нашего романа служили инспекторы Марио Дога и Марселлен, связанные между собой довольно своеобразной дружбой. Последний был для Марио (известно, что полицейские должны ходить парами) скорее чем-то вроде нарыва, тяжелого, мучительного, но иногда как бы прорывающегося и приносящего счастливое облегчение. Во всяком случае, в осведомители Марио выбрал себе совсем другого - более беззащитного и более симпатичного ему, - Дэдэ, от которого в случае необходимости он всегда мог избавиться.

Как и в любом французском городе, в Бресте был большой универмаг, где Дэдэ и многие моряки постоянно прогуливались между прилавками; предметом их особого вожделения были перчатки, которые они и покупали при первой же возможности. Что касается Адмиралтейства, то в Бресте его заменяла морская префектура.

"За два года, проведенных на морской службе, его непокорность и развращенность стоили ему семидесяти шести наказаний. Он делал наколки

новобранцам, воровал у товарищей и вступал в противоестественные сношения с животными".

Из дела Луи Менеклу, 20-ти лет. Казнен 7 сентября 1880 года

"Я следил за уголовной хроникой, и дело Менеклу потрясло меня. Я не настолько испорчен, как он, я не насиловал и не расчленял своей жертвы. Нас нельзя сравнивать хотя бы потому, что, в отличие от него, я всегда ходил при галстукке..."

Заявление судебному следователю Феликса Леметра, убийцы, 14-ти лет (15 июля 1881 года)

"Впереди идет мужчина с обнаженной головой, волнистыми волосами, одетый в простое элегантное шелковое трико, расстегнутое, несмотря на холод. Взглянув на вас, он медленно проходит мимо, в сопровождении великолепной эскимосской собаки. Ее вид наводит на всех ужас. Этот человек - австриец Оскар Райх, инспектор концентрационного лагеря Дранси".

"Четыре и три", 26 марта 1946 года

"Другой солдат, упав случайно ниц во время битвы, в момент, когда враг поднял меч, чтобы нанести ему смертельный удар, попросил дать ему перевернуться, дабы его возлюбленный не увидел, что он поражен в спину".

Плутарх "О любви"

"Прево сказал, запинаясь: "Я счастлив...очень счастлив...Ах! Да, я очень счастлив!... что обнаружены пятна крови. Они свежие... очень свежие... совсем свежие!""

Отрывок из протокола, относящегося к тройному убийству, совершенному ротным Прево. Казнен 19 января 1880 года.

" Средний рост, здоровое тело, атлетическое сложение... густые волосы, небольшие живые глаза, высокомерный взгляд, суровое выражение красивого лица, сильный, но приглушенный голос, нездоровый цвет лица... крайне надменные манеры... Никогда никому не доверяя, ни на кого не обращая внимания, он умел без особого труда быть непроницаемым и загадочным".

Портрет Сен-Жюста, сделанный Паганелем.

Купленные или украденные потертые голубые штаны скрывали его великолепные ноги, в настоящий момент неподвижно застывшие в последнем решительном шаге, потрясем стол. Он был обут в черные потрескавшиеся лакированные туфли, на которые накатывала рождавшаяся у пояса зыбь голубого полотна. Его торс был обтянут шерстяной слегка засаленной футболкой с отогнутым воротом. Кэрель приоткрыл рот. Он сделал жест, как будто собираясь поднести ко рту окуроч, но рука его застыла в воздухе на уровне груди, и рот остался приоткрытым. Казалось, он ртом рассматривает

Жиля и Роже, связанных между собой почти осязаемой нитью взгляда, лица их сияли, создавалось впечатление, что Жиль поет, а Роже, как бы совращая его, подчиняет и вбирает в себя молодого восемнадцатилетнего каменщика, голос которого этим вечером покорила весь кабак. Матрос видел, что они никого не замечают. Кэрель вдруг почувствовал, что рот у него приоткрыт. Губы его слегка скривились в едва заметной улыбке. Легкая усмешка пробежала по его лицу, и все его рассеянно опершееся о стену тело застыло в иронично созерцательной позе. Из-под нахмуренных бровей насмешливым взглядом - что соответствовало его кривой улыбке - он рассматривал этих двух парней. Исчезнув с губ Жили, улыбка умерла и на губах Роже, как будто нить между ними порвалась, но спустя четыре секунды Жиль, стоя на столе, снова запел и вновь обрел свою улыбку, которой опять зажег улыбку Роже и уже не давал ей угаснуть до самого последнего куплета. Оба мальчика ни на секунду не отрывали друг от друга глаз. Кэрель плечом подпирал стену быстро. Он напрягся, чтобы лучше почувствовать, как трепетная мускулатура его спины уперлась в твердую и непроницаемую стену. Две тени слились в тишине. Кэрель знал, что у него красивая спина. Несколькими днями позже мы увидим, как он, как бы невзначай, продемонстрирует ее лейтенанту Себлону. Не сходя с места, он играл мускулами своих плеч, соперничая с каменной поверхностью стены. Он был силен. Одной рукой - другая оставалась в кармане куртки - он поднес к своим губам зажженный окурок. Легкая улыбка промелькнула на его лице. Робер и два других матроса заворуженно слушали песню. Кэрель всем своим видом демонстрировал, что ему "все до фени", как любят говорить солдаты. Выпустив струйку дыма вслед за своей мыслью (как будто он хотел ее замаскировать или слегка подразнить), он так и оставил свою губу немного вздернутой над зубами, нежную белизну которых, приглушенную ночной темнотой и тенью его верхней губы, он так любил. Глядя на связанных взглядом и улыбками Жили и Роже, он не мог снова сомкнуть свои приоткрытые губы и вобрать в себя нежный блеск зубов, мысли о котором успокаивали его сознание, как небесная лазурь успокаивает наши глаза. За его губами, слегка коснувшись неба, шевельнулся трепещущий язык. Один из матросов начал застегивать свой бушлат, приподнимая ворот. Кэрель не отдавал себе отчета в том, что он чудовище. Вглядываясь с пугающей и в то же время нежной ироничной улыбкой в свое прошлое, он не мог отделить его от собственного "я". Подобно тому как превратившийся в аллигатора юноша, в глазах которого еще не угасла человеческая душа, уже не замечает своей огромной пасти и рассматривает свое потрескавшееся тело, свой мощный гигантский бьющий по воде или песку и задевающий других чудовищ хвост с волнующим, отвратительным и невозмутимым величием царственного ребенка в ореоле кружев, гербов, сражений и тысяч преступлений. Он знал ужас одиночества и бессмертного очарования животного мира. Ему была знакома жуткая таинственная жизнь больших грязных рек и джунглей. Он не хотел, чтобы хоть какой-то свет, исходящий изнутри его тела или сознания, сделал его чешуйчатый панцирь видимым для людей, которые превратили его в хищника.

В Бресте кое-где засаженные деревьями земляные валы образуют аллеи, которые, вероятно в насмешку, называют Булонским лесом. Летом там открываются быстро, где можно пить прямо под деревьями за деревянными, разбухшими от дождя и тумана столами. Матросы тащат девку под деревья: Кэрель ждет, когда ее оприходуют все его товарищи, потом подходит к ней, все еще распростертой в траве, делает вид, что расстегивает клапан на брюках и

вдруг, после короткой, очаровательной заминки, снова его застегивает. Кэрель спокоен. Стоит ему немного повернуть голову вправо или влево, и его щека трется о поднятый воротник бушлата. Это прикосновение его успокаивает. Оно напоминает ему, что он в полном порядке и прекрасно одет.

Когда Кэрель вернулся, сцена в бистро снова всплыла в его памяти, но он не мог точно определить свое отношение к ней. Ему трудно было обозначить словами свои чувства. Он знал только, что она вызывает у него ироническую улыбку. Он не мог сказать почему. Из-за обычной строгости, почти суровости его бледного лица эта ироническая улыбка придала ему саркастическое выражение. Несколько секунд он стоял, очарованный установившейся и непрекращающейся, ставшей почти осязаемой гармонией между взглядами обоих парней : одного поющего - он стоял на столе - и опустившего лицо к другому, взгляд которого был устремлен вверх. Кэрель снял носок. Убийства обогащали Кэреля не только материально. От них в нем накапливалось что-то вроде тины, грязи, запах которой приглушал его отчаяние. От каждой своей жертвы он оставлял на память что-нибудь грязненькое: рубашку, лифчик, шнурки от ботинок, носовой платок - предметы, являющиеся явными доказательствами его вины и таящие опасность для его жизни. Они были символами его силы, его успеха. Неприличными подробностями, которые всегда скрываются за любой, самой ослепительной, но обманчивой внешностью. Неявным образом они соответствовали миру сверкающих красотой, мужеством и самодовольством матросов с грязной расческой с обломанными зубьями в глубине кармана, в гетрах военного образца, издали безупречных, как паруса, но, как и они, недостаточно отбеленных, в элегантных, но плохо скроенных брюках, с небрежно выполненными татуировками, грязными носовыми платками, дырявыми носками. Впечатление от взгляда Кэреля лучше всего было бы передать следующей картиной: нежный, усеянный невидимыми шипами стебель, к которому из-за колючей проволоки тянется грубая рука заключенного. Сам не понимая зачем, едва слышно он сказал, обращаясь к уже лежащему в гамаке приятелю:

- А те два парня были забавные.

- Какие два парня?

- А?

Кэрель поднял голову. Очевидно, приятель его не понял, На этом разговор оборвался. Кэрель снял второй носок и лег. Ни спать, ни вспоминать бистро ему не хотелось. Лежа он мог спокойно обдумать свои дела, и, несмотря на усталость, ему необходимо было это делать как можно быстрее. Хозяин "Феерии" должен был взять два кило опиума, если Кэрелю удастся вынести их с судна. Таможенники просматривают даже самые маленькие чемоданы матросов. На дебаркадере они перетряхивают всех, кроме офицеров. Кэрель вспомнил лейтенанта. Мысли о нем не покидали Кэреля с тех пор, как в его голове впервые промелькнуло нечто такое, что он сам мог бы выразить примерно так:

"Давненько он на меня пялится. Как кобель на сучку во время течки. Наверное, я ему нравлюсь".

Невольная страсть, которую лейтенант обнаруживал к нему одному, могла бы ему пригодиться.

"Да только он придурок. Этот чокнутый потом вообразит, что я должен его трахнуть".

Кэрель вспомнил, как недавно, прямо у него на глазах лейтенант Себлон ответил капитану дерзко и свысока.

Кэрелю было приятно думать, что Робер ведет жизнь восточного шейха, спокойную и расслабленную, став любовником хозяйки борделя и другом ее услужливого мужа. Он закрыл глаза. В нем вновь пробудилась та часть сознания, которая объединяла его с братом. Оттуда, из глубины, где он путал себя с Робером, он извлек слова, потом, при помощи несложных операций, - ясную мысль, которая, постепенно оживляясь и удаляясь от этих глубин, отделила его от брата и пробудила в нем ту часть сознания, в которой происходили процессы, уже свойственные только ему, и которая объединяла его с Виком. Кэрель стал думать о Вике, и, пока его мысль блуждала где-то в преддвериях рая, олицетворявшихся в неясных предчувствиях любви, он все больше обретал самого себя и отделялся от него. Он лениво ласкал свой зажатый в руке член. Тот не вставал. В море он часто повторял вслед за остальными матросами, что в Бресте уж отведет душу, но этой ночью о девках ему не хотелось даже думать.

Кэрель был точной копией своего брата, но Робер был замкнут, а он был более открыт (свойство характера, которое отличало их друг от друга, но которое проститутка в постели могла и не заметить). Для нас Кэрель существовал всегда, ибо настал момент, можно даже указать точную дату и час, и мы решили написать роман (хотя это слово и плохо подходит для обозначения описаний предстоящих событий или последствий событий, уже происшедших). Мало-помалу мы лучше узнавали Кэреля - еще не отделившегося от нас самих, - он рос, расцветал в нашей душе, вскормленный лучшим, что в нас есть, и в первую очередь нашим отчаянием, мы уже не могли отождествлять себя с ним, но чувствовали его присутствие в нас. Открыв, таким образом, для себя Кэреля, мы хотим, чтобы он стал героем даже в глазах самого предубежденного читателя. Наблюдая в собственной душе за его развитием и перипетиями его судьбы, мы увидим, как он окончательно раскрывается в конце, к чему, кажется, его все время подталкивает его собственное желание и неумолимый рок.

В описанной нами сцене показано событие, раскрывающее сущность Кэреля. (Мы по-прежнему говорим об идеальном и героическом персонаже, являющемся плодом наших тайных мечтаний.) Это событие было настолько значительным, что его можно сравнить с Явлением. Без сомнения, лишь много позже мы сможем оценить его подлинную значимость, но уже сейчас мы ощущаем дрожь предчувствия. Чтобы стать видимым, превратиться в персонаж романа, Кэрель должен, наконец, явиться самостоятельно. И вам откроются реальная красота его тела, поведения, поступков и их постепенное разложение.

С торжественной медлительностью, движимый, быть может, пальцем самого Бога, земной шар вращается вокруг своей оси. Мы видим Океаны, Пустыни, Леса, поросшие кустарником Равнины. Взгляд Бога пронизывает небесную лазурь. Его палец застывает. Он раздвигает туман с осторожностью крестьянки, которая, желая проверить самочувствие крольчат, раздвигает пуховую подстилку, прикрывающую их, с той же медлительностью и нерешительностью, которую мы сами ощущаем в своих руках, когда, затаив дыхание, раздвигаем пальцем самую обыкновенную сморщенную ткань ширинки мальчика, неосторожно заснувшего рядом с нами. Наш взгляд застывает. Бог задерживает дыхание. Брест пробуждается под Его взглядом.

Когда спускаешься к порту, кажется, что туман еще больше сгущается. В Рекувансе, за мостом Пенфелд, он такой, что создается впечатление, будто

дома и крыши плывут. В спускающихся к набережным улочках пустынно. Кое-где в открытых кафе слабо переливается солнце. Сквозь этот туманный свет, опаловую завораживающую материю, скрывающий и таящий в себе опасности туман проходят все: пошатывающийся на своих крепких ногах пьяный моряк, докер с подружкой, вооруженный ножом хулиган или даже вы сами, чувствуя, как бьется ваше сердце. Туман объединял Жилья и Роже. Он укреплял их взаимное доверие и дружбу. Хотя они сами этого почти не осознавали, их изолированность позволяла им ощутить легкое волнение, сладкое, упоительное чувство, которое способны испытывать только дети; они шли, засунув руки в карманы, спотыкаясь и касаясь друг друга ногами.

- Внимательней, черт побери! Пошевеливайся.

- Сейчас будет набережная. Надо быть поосторожней.

- Чего поосторожней? Ты что, сдрейфил?

- Да нет, но все же...

Порой они чувствовали, как мимо проходит женщина, замечали неподвижный огонек сигареты или прижавшуюся к стене парочку.

- Ну?.. Что, наконец?

- Послушай, Жилья, мне кажется, что ты злишься. Я не виноват, что моя сестренка не смогла прийти.

И, пройдя еще несколько шагов, он добавил, слегка понизив голос:

- Вчера вечером тебе, наверное, с той брюнеткой, которую ты пригласил на танец, и без Полетты было не скучно?

- А тебе-то что за дело? Ну да, я танцевал, и что с того?

- Но ты не только танцевал, ты ушел с ней.

- Ну так что же? Я не женат на твоей сестренке, приятель. И не тебе читать мне мораль. Только, я считаю, ты мог бы устроить, чтобы она пришла. (Жилья говорил громко, но небрежно, смазывая слова, так что понять его мог лишь Роже. И вдруг опять понизил задрожавший от волнения голос.)

- Я ж те говорил?

- Я не смог, ты же знаешь, Жилья, клянусь тебе.

Они повернули налево, в направлении пакгаузов. Они снова натолкнулись друг на друга. Жилья машинально положил руку на плечо мальчика. И оставил ее там. Роже немного замедлил шаги, надеясь, что его приятель остановится. Чего он ждал? Бесконечная нежность разлилась по его телу, но мимо опять кто-то прошел: здесь он никогда не сможет остаться с Жильябером один. Жилья убрал свою руку, снова засунув ее в карман брюк, и Роже почувствовал себя покинутым. Однако, снимая ее, Жилья невольно надавил ею на плечо друга. Казалось, что огорчение сделало его руку тяжелой. Вдруг Жилья почувствовал, что у него встает.

- Черт побери!

Он ощутил натяжение плавков, обтягивавших его член. Это "черт побери" (и еще удивление) проникло в него, завладевая всем его телом, по мере того, как его член твердел, натягивал ткань и выпрямлялся в тесных плавках из прочной и тонкой сетки. Жилья попытался представить себе как можно яснее лицо Полетты, и вдруг его воображение переключилось на другое, он попытался мысленно заглянуть под юбку сестры Роже и рассмотреть то, что было у нее между ног. Почувствовав необходимость немедленной физической близости, он довольно цинично подумал про себя:

"А ее брательник-то здесь рядом, в тумане!"

Теперь ему не терпелось войти в это тепло, в черную, опушенную мехом, слегка приоткрытую дырку, откуда даже у полуохладевших трупов исходят волны тяжелых и обжигающих запахов.

-Твоя сестренка мне нравится, ты же знаешь!

Роже широко улыбнулся. Он приблизил свое открытое лицо к лицу Жилия.

-О!...

Возглас получился нежным и хриплым - казалось, он исходил из живота Жилия, - и вырвался вместе с тоскливым вздохом, рожденным у основания вставшего члена. Он почти физически ощутил, что между основанием его члена и глубиной горла, откуда вырвался его приглушенный хрип, существует прямая и глубокая связь. Нам хотелось бы, чтобы эти размышления и наблюдения, которые не в состоянии реально ни совершить, ни сформулировать персонажи книги, позволили нам выступить не только в качестве наблюдателей, но и самим ощутить себя на месте этих персонажей, постепенно освобождаясь от своих собственных тайных желаний. Член Жилия все больше напрягался. Его рука придерживала его в кармане, прижимая к животу. Его член напоминал дерево, дуб со мшистым подножием, в корнях которого рождаются стонущие мандрагоры.\* {Мандрагора- растение, корни которого напоминают человеческую фигуру. Существовало поверье о происхождении мандрагоры из поллюций повешенного человека (ср.нем. Galgenmannlein - букв. : "висельничек")} (Иногда, проснувшись, Жиль шутя называл свой вставший член "мой висельник".) Они замедлили шаги и прошли еще немножко...

-Она тебе нравится, да?

Сжав зубы, не вынимая рук из карманов, приблизив свое лицо к его лицу, Жиль заставил мальчика отступить к стене. Он толкал его животом и грудью. Роже попятился, продолжая улыбаться и отворачивая голову от напряженного лица молодого каменщика, давившего его всем своим сильным телом.

-Ты что, смеешься над этим?

Жиль вытащил одну руку - другой он продолжал придерживать свой член - из кармана. Он положил ее на плечо Роже, так близко к воротнику, что его мизинец коснулся ледяной щеки мальчика. Прижатый спиной к стене, Роже не мог отступить и невольно соскользнул вниз. Он все еще улыбался.

-А? Тебе смешно? Да?

Жиль властно придвинулся, как делают влюбленные. Рот его был жесток и нежен, как украшенные тонкими усиками рты обольстителей, лицо его вдруг стало так серьезно, что уголки губ Роже опустились и его улыбка погрустнела. Стоя спиной к стене, Роже все с той же грустной улыбкой продолжал тихонько соскальзывать вниз, казалось, его поглощала чудовищная тень Жилия, склонившегося над ним, с рукой в кармане.

-О!

Жиль опять издал уже описанный нами приглушенный и глубокий хрип.

-А я-то хотел ее, твою сестренку. Я клянусь тебе, что если бы она была здесь вместо тебя, я бы ей сейчас вставил!...

Роже ничего не отвечал. Он больше не улыбался. Он глядел в глаза Жилия, у которого только припудренные цементом и известью брови сохранили еще остатки нежности.

-Жиль!

В голове у него пронеслось:

"Это Жиль, Жильбер Тюрко. Поляк, который не так уж давно начал работать в Арсенале на верфи с каменщиками. Его считают вспыльчивым".

И смешивая слова с пронзающим туман дыханием, он прошептал в ухо Жиллю:

-Жиль!

-О!.. О!.. Странно, что я так этого хочу. Я бы сделал ее... Ты на нее похож, у тебя такая же мордашка.

Он приблизил руку к шее Роже. То, что он ощущал себя сейчас, стоя среди струящихся с неба потоков тюля, хозяином положения, придавало Жиллю Тюрко желание быть жестоким, резким и решительным. Разорвать туман, проткнуть его грубым и резким движением, а может быть, достаточно одного твердого взгляда, и его мужественность будет подтверждена, ибо он знал, что вечером, когда он вернется в бараки, опять будет безжалостно и грубо унижен.

-У тебя ее глаза. Жаль, что ты не она. Эх! Ну что? Ну что, ты двигаешь или нет?

И как бы желая помешать Роже "двигать", он навалился животом на него, прижимая мальчишку к стене, в то время как его свободная рука поддерживала очаровательную головку, парившую над миром вне сферы влияния Жилия. Они застыли, прижавшись друг к другу.

-Что ты ей скажешь?

-Постараюсь, чтобы она пришла завтра.

Несмотря на свою неопытность, Роже понял подлинный смысл своего испуга, когда услышал собственный голос, который стал почти бесцветным.

-А как насчет того, что я тебе сказал?

-Это тоже. Пошли, Жиль?

Они снова пришли в себя. Рядом шумело море. Все это время они находились почти прямо над водой. На мгновение и тот и другой почувствовали испуг оттого, что опасность была так близко. Жиль достал из кармана сигарету и зажег ее. Роже увидел его прекрасное, будто вылепленное большими сильными руками лицо, скрытую сущность которого высвечивал дрожащий и слабый огонек.

"Говорят, что убийца Менеклу завлек задушенную им девочку цветком лилии. Именно своими волосами и глазами, своей улыбкой Он (Кэрель) влечет меня. Но разве я обречен на смерть? Разве эти кудри и эти зубы отравлены? Разве любовь - это гибельная ловушка? Разве, наконец, Он меня привлекает? И только "ради этого"?"

Может быть, перед тем, как позволить Кэрелю поглотить себя, мне следовало бы включить сирену тревоги?"

В отличие от остальных персонажей, которым недоступны используемые нами лирические приемы, только лейтенант Себлон оказывается способен достойно изобразить предмет своего вождения.

"Я бы хотел - о, как страстно я этого желаю! - чтобы и в королевском одеянии Он всегда оставался лишь хулиганом! Броситься к Его ногам! Целовать Его щиколотки!"

Чтобы вновь обрести Его, чтобы пережить горечь разлуки и волнение при встрече, чтобы, наконец, осмелиться сказать Ему "ты", я притворился, что надолго уезжаю по делу. Но я не смог устоять. Я вернулся. Я снова увидел Его и почти со злостью отдал Ему приказ.

Он может все. Плюнуть мне в лицо, первым сказать мне "ты".  
"Вы смеете тыкать мне",- сказал бы я Ему тогда. Удар Его кулака, который я бы ощутил на своей физиономии, заставил бы меня услышать шепот гобоя: "Моя вульгарность царственна и дарует мне все права!"

Вызвав бортового парикмахера, лейтенант Себлон приказал обрезать себе волосы как можно короче, чтобы выглядеть более мужественно, не столько заботясь о том, чтобы это ему шло, сколько желая походить (как он думал) на прекрасных мальчиков. Он и не подозревал, что только отдаляет их от себя. Он был хорошо сложен, широк в плечах, но всегда чувствовал в себе некую женственность, иногда не больше, чем в яичке синицы величиной с бледно-голубое или розовое драже, а иногда перехлестывающую через край, разливающуюся по всему телу, заполняющую его молоком. Женственность, лейтенант с грустью был вынужден признать это, томилась в нем, мгновенно распространяясь в его чертах, глазах, кончиках пальцев, отмечая каждый его жест, расслабляя его. Ему приходилось все время следить за собой, чтобы кто-нибудь не подумал, что он считает петли на воображаемой дамской работе, почесывая в волосах воображаемой спицей. И все-таки он выдавал себя в глазах мужчин, когда произносил фразу: "К оружию!", потому что он произносил "к оружию" почти как "кружево" и с такой грацией, как будто все его существо преклоняло колени перед могилой прекрасного возлюбленного. Он никогда не улыбался. Остальные офицеры, его товарищи, считали его строгим, немного пуританином, правда, с его внешней суровостью как-то не вязалась странная изысканность жеманного тона, которым он невольно произносил некоторые слова.

"Какое счастье сжимать в своих руках прекрасное тело, даже если оно большое и сильное! Сильнее и больше, чем мое.

Мечты. Сбудутся ли они?... Каждый вечер Он сходит на берег. Когда Он возвращается, его холщовые голубые брюки, расклешенные и, вопреки уставу, закрывающие ступни, бывают забрызганы спермой, смешавшейся с дорожной пылью, которую Он подметает их обтрепанными краями. Я никогда еще не видел таких грязных матросских брюк. Если бы я попросил у Него объяснений, Он бы сдвинул берет назад и с улыбкой ответил:

"Все из-за вафлеров. Они сосут у меня и кончают мне на штаны. Это всего лишь их сперма".

Он наверняка даже гордится этим. Он носит эти потеки с победоносным бесстыдством, как украшение".

Самый заурядный брестский бордель, в котором нельзя было встретить даже военных моряков, способных хоть немного оживить и облагородить его, "Феерия", тем не менее, был самым известным. Эта помпезная, вся в золоте и

пурпуре берлога являлась местом отдыха колонистов, докеров и моряков торгового и речного флота. Матросы приходили сюда "оттянуться", "на блядки"; у докеров и остальных это называлось "вдарить по приколам". Ночью "Феерия" пробуждала смутные, неясные предчувствия готовящегося преступления. Три или четыре подозрительных типа поджидали кого-то в окутанном туманом сортире на противоположной стороне улицы. Из-за приоткрытой двери борделя доносились звуки механического пианино, голубые ленты музыкального серпантина струились в полумгле и обвивали шеи и запястья проходящих мимо рабочих. Но днем это грязное, мрачное и серое заведение завораживало еще больше. Один вид его фонаря и закрытых ставен вызывал в воображении зашедшего в квартал борделей матроса образ вожденной роскоши, которая рисовалась ему в виде хрустала, фарфора, шампанского, молочных грудей и бедер под облегающими черными шелковыми платьями с глубокими декольте. Дверь борделя была необычна. Она представляла собой железное панно с длинными заостренными переливающимися на солнце металлическими - возможно, даже стальными - направленными в сторону улицы прутьями. Ее ирреальный таинственный вид будоражил истосковавшуюся по любви душу. Для грузчика или портового рабочего сама эта дверь уже была символом жестокости, сопровождающей любовные обряды. Эта дверь была идеальным сторожем, поскольку лишь толстокожие чудовища и бесплотные духи могли пройти через нее, не поранившись о прутья, - если только она не открывалась сама при одном слове или жесте того грузчика или солдата, который в этот вечер оказывался счастливым и непорочным принцем, волшебным образом достигшим запретных областей. То, что нуждается в столь тщательной охране, должно было бы быть либо опасным для окружающего мира, либо таким хрупким, что ему требуется защита не меньшая, чем та, в которой нуждаются девственницы. Направленные на него острия вызывали у грузчика улыбку, что не мешало ему почувствовать себя на мгновение оболстителем, который, успокоив свою жертву словом и очаровательной внешностью, бросается на приступ возбужденной девственности. И если у него не вставал сразу же на пороге, он все равно ощущал в своих штанах присутствие члена, пусть еще мягкого, -- но поверженная дверь напоминала о нем, и легкое сокращение, пробегая от головки к его основанию, волновало мускулы его ягодиц. Внутри своего все еще вялого члена грузчик начинал ощущать слабое отвердение, что-то вроде "напоминания" о твердости. И мгновение, когда дверь с шумом захлопывалась за посетителем, было преисполнено особой значимости. Мадам Лизиана находила у этой двери другие достоинства. Она так надежно закрывалась, что делала хозяйку похожей на океанскую жемчужину в перламутровой раковине, которая может по желанию открыть или закрыть свои створки. С жемчужиной Мадам Лизиану роднили нежность и слабое свечение ее молочно-белого лица, происходящее от глубокой внутренней умиротворенности и ощущения тихой радости. У нее были соблазнительные округлые и пышные формы. Эта полнота являлась как бы результатом многолетнего кропотливого труда, терпеливой экономии, процентов и приношений. Мадам Лизиана была уверена в незыблемости своего положения. Дверь это гарантировала. Острия надежно охраняли ее даже от воздушных дуновений. Итак, хозяйка вела размеренную жизнь в феодальном замке, образ которого невольно возникает в нашем воображении. Она была счастлива. Только самые нежные и легкие веянья внешнего мира доходили до нее, наполняя ее превосходным жиром. Она была

благородна, возвышенна и восхитительна. Предохраненная от солнца, звезд, игр и мечтаний – но питаемая своим солнцем, своими звездами, своими играми и мечтаниями,- взгромоздившись на каблуки времен Людовика XV , она медленно парила над девицами, не задевая их, поднималась по лестницам, пересекала обтянутые золоченой кожей коридоры, обходила комнаты и причудливые, ослепляющие светом и зеркалами салоны, которые даже трудно описать: стены их были отделаны стеганой материей и украшены искусственными цветами в стеклянных вазах рядом с изысканными гравюрами. Время потрудились над ней, и она была прекрасна. Уже шесть месяцев Робер был ее любовником.

-Так ты платишь наличными?

-Я ж те сказал, что да.

Холод пробежал по телу Кэреля от взгляда Марио. Взгляд и поведение Марио были более чем безразличными, они были: "леденящими". Стараясь не замечать этого, Кэрель уставился в глаза хозяину притона. Его собственная скованность тоже его смущала. Сдвинувшись с места, он снова почувствовал некоторую уверенность в себе. Ощувив свое гибкое тело, он подумал: "Я всего лишь матрос. На мою зарплату не проживешь. Приходится как-то выкручиваться. Мне нечего стыдиться. Я торгую наркотиками. И не ему меня судить. Даже если он легавый, мне это до фени". Он чувствовал, что ничего не может противопоставить спокойному безразличию хозяина, которого почти не интересовал предложенный товар и еще меньше интересовал он сам. Почти абсолютная неподвижность и молчание сковывали этих троих персонажей. Кэрель думал примерно так: "Надо было сказать, что я брат Боба. Тогда бы он не решился выдать меня полиции". В то же время, он не мог не оценить необыкновенную силу хозяина и красоту легавого. Никогда еще он не сталкивался с по-настоящему мужественным соперником, и никто еще не вызывал у него таких чувств, которые вызывали у него эти два человека , - в отличие от нас, он сам не мог до конца осознать причину своего смятения - впервые в жизни он страдал от безразличия мужчины. Он сказал:

-Шухера нет?

Он имел в виду типа, который продолжал неподвижно смотреть на него, но не решился уточнить свои опасения. Он не осмелился показать хозяину на Марио даже глазами.

-Можешь на меня положиться. Я сказал, что бабки ты получишь. Тащи свои пять килограммов \* {так в оригинале} дури и забирай свою мелочь. Понял? Действуй, старик.

Плавным, едва заметным движением головы хозяин указал на стойку, за которой стоял Марио.

- Это Марио. Не волнуйся, он свой.

Когда Марио протянул руку, ни один мускул на его лице не дрогнул. Рука была жесткая, плотная, скорее вооруженная, чем украшенная тремя золотыми перстнями. Кэрель был на несколько сантиметров ниже Марио. Он почувствовал это, когда увидел эти роскошные перстни, знаки величайшего мужского могущества. Не приходилось сомневаться, что этот тип твердо стоит на земле. Внезапно с легкой грустью Кэрель вспомнил, что у него на мокнувшем на рейде судне в переднем отсеке было припрятано все для того, чтобы он мог сравняться с этим самцом. Эта мысль его немного успокоила. Но

кто бы мог подумать, что полиция может быть столь богата и неотразима? И что преступные элементы (а таким он считал хозяина борделя) способны еще больше эту неотразимость подчеркивать. Он подумал: "Легавый! Всего лишь легавый!" Но эта мысль, медленно прокручиваясь в мозгу Кэреля, не успокаивала его, и его презрение постепенно уступало место восхищению.

-Привет...

Голос у Марио был сильным и твердым, совсем как его руки, - правда, лишенным какого бы то ни было блеска. Он давил на Кэреля. Это был грубый, тяжелый голос, способный сдвинуть глыбы и кучи земли. Несколько дней позже, вспоминая о нем, Кэрель скажет полицейскому: "Прям как куском мяса шлепает по роже..." Кэрель широко улыбнулся и, не сказав ни слова, протянул руку. Хозяина же он спросил:

- А мой брательник придет или нет?

- Не знаю. Я его не видел.

Боясь показаться бестактным и разозлить хозяина, Кэрель не стал расспрашивать его подробнее. Большой холл борделя был тих и пуст. Казалось, он серьезно и внимательно вслушивается в разговор. В три часа дня дамы обедали в столовой. Никого не было. Мадам Лизиана причесывалась в своей комнате на втором этаже. Горела всего одна лампочка. Зеркала были пустыми, чистыми и потусторонними, так как им было почти нечего и некого отражать. Хозяин чокнулся и опустошил свой стакан. Здоровья ему было не занимать. Никогда, даже в молодости, не отличаясь особой красотой, несмотря на черные точки на коже, крошечные темные впадины на шее и следы от оспы, он еще был настоящим самцом. Его усики, подстриженные на американский манер, напоминали о 1918 году. Тогда благодаря янки, спекуляции и женщинам он смог разбогатеть и купить "Феерию". Длинные прогулки в лодке, поездки на рыбалку обветрили его кожу, сделав ее бронзовой. У него были жесткие черты лица, резко очерченный нос, маленькие живые глазки и лысый череп.

- Когда ты придешь?

- Мне надо еще сделать дело. Необходимо вынести пакет. Но за это можешь не волноваться. Я кое-что придумал.

Стоя со стаканом белого в руке, хозяин недоверчиво посмотрел на Кэреля.

-Да? Только меня не надо в это впутывать, я тут не причем.

Марио продолжал стоять неподвижно, с отсутствующим видом. Он стоял, облокотившись о стойку, и зеркало за ним отражало его спину. Не говоря ни слова, он оторвался от стойки, делавшей его позу живописной, и прислонился спиной к зеркалу рядом с хозяином. Казалось, он прислонился к себе самому. Стоя перед двумя мужчинами, Кэрель почувствовал вдруг недомогание, что-то вроде тошноты, как рядом с убийцами. Невозмутимость и красота Марио сбивали его с толку. Величие их было безмерно. Норбер, хозяин борделя, был страшно силен. Марио тоже. Линии тела одного продолжались в другом, их мускулы и лица смешались. И то, что хозяин не был стукачом, казалось еще более невероятным, чем то, что Марио был всего лишь полицейским. Кэрель почувствовал, как в нем дрожит и трепещет готовая исторгнуться в тошноте его душа. Испытывая головокружение перед этим мощным переплетением плоти и нервов, которое виделось ему где-то очень высоко - он даже поднял голову так, как будто хотел измерить взглядом гигантскую ель, - и которое, подчиняясь бычьей шее Норбера, постоянно

увеличивалось и разрасталось, приобретая очертания прекрасного облика Марио, Кэрель приоткрыл рот, небо его пересохло.

-Нет, нет. Я как-нибудь выпутаюсь сам.

На Марио был простой, в коричневую клетку костюм и красный галстук. Он пил с Кэрелем и Ноно (Норбером) белое вино, но, казалось, разговор совсем не интересовал его. Это был настоящий легавый. Кэрель чувствовал значительность его осанки, сдержанность его жестов свидетельствовала о безграничной власти: власти непререкаемого морального авторитета, твердого социального положения, револьвера и права на его применение. Марио принадлежал к расе господ. Кэрель еще раз протянул руку и, подняв воротник своего бушлата, направился к запасному выходу: и правильно, безопаснее было выйти через черный ход.

-Пока.

Голос Марио, как мы уже сказали, был сиплым и бесцветным. Странно, но, услышав его, Кэрель почувствовал некоторое успокоение. Очувтившись за порогом, он постарался зафиксировать свое внимание на ощущениях, которые вызывало прикосновение различных частей его матросской амуниции к телу; прежде всего, он ощутил прикосновение твердого воротника бушлата, защищавшего его шею, как броня. Воротник был для него чем-то вроде массивного ошейника, в котором он чувствовал свою нежную шею крепкой и неприступной, а у ее основания, он все время помнил об этом, находилась очаровательная затылочная впадина, его самое уязвимое место. Слегка согнувшись, он коснулся коленями ткани брюк. Наконец Кэрель вновь обрел свою характерную матросскую походку, с удовольствием почувствовав себя настоящим матросом. Он слегка повел плечами справа налево. Ему захотелось задрать бушлат и засунуть руки в открытые на животе карманы, но вместо этого он пальцем сдвинул свой берет назад, на затылок, так что его край коснулся поднятого воротника. Подтвержденная осязанием уверенность в том, что он моряк, немного возбудила и успокоила его. Он чувствовал грусть и ожесточение. Обычная улыбка исчезла с его губ, туман смочил его ноздри, освежив веки и подбородок. Он шел вперед, пробиваясь свинцовым телом сквозь вязкий туман. Чем дальше он удалялся от "Феерии", тем сильнее ощущал приток силы, проистекавшей из мощи Полиции, на благосклонное расположение которой он, как ему казалось, теперь мог рассчитывать. Думая о Полиции, он приписывал ей мускульную силу Ноно и красоту Марио. И все оттого, что он впервые имел дело с полицейским. Наконец-то он встретил настоящего легавого. Он подходил к нему совсем близко. Он дотрагивался до его руки. Они только что заключили взаимовыгодный договор. Вместо своего брата он нашел в борделе двух наглых монстров, двух козырных тузов. И все-таки, удаляясь от борделя и испытывая приток сил, проистекающих из мощи Полиции, он, тем не менее, оставался моряком. Кэрель смутно чувствовал, что приблизился к совершенству как никогда: отныне его великолепный неотразимый костюм скрывал под собой не только убийцу, но и обольстителя. Он стремительно шел вниз по улице Сиам. Туман был холодным. Марио и Ноно сливались все больше, подчиняя себе - но и отталкивая - Кэреля, ибо в душе матрос никак не мог смириться с превосходством полицейского. На стороне Кэреля был весь Военный флот. Он шел быстрым, твердым и уверенным шагом, казалось, что это его форма увлекает его вперед. Его тело было как стальной корпус корабля, вооруженного грозными, тяжелыми и точными пушками и торпедами. Кэрель был уже не просто Кэрелем, а "Кэрелем", огромной,

наделенной разумом и волей металлической массой, гигантским разрезающим морские волны крейсером.

-Ты что, не видишь меня, придурок!

Его голос, как корабельная сирена, разорвал туман.

-Это вы не видите...

Вдруг вежливый молодой человек, который натолкнулся на каменное плечо Кэреля, почувствовал себя оскорбленным и сказал :

-Ты мог бы быть и повежливее! Подключи свои глаза!

Возможно, он хотел сказать: "Открой свои глаза", для Кэреля это выражение прозвучало как: "Освети дорожку, включи свои сигнальные огни".

Он резко повернулся:

-Включить огни?

В его хриплом и решительном голосе слышалась готовность к драке. Он готовил свои орудия к бою. Он снова не узнавал сам себя. Ему хотелось иметь дело непосредственно с Марио и Норбером, а не с мифическим персонажем, олицетворявшим их обобщенные достоинства, - но на самом деле он чувствовал себя под покровительством именно этого персонажа. Однако, все еще не решаясь себе в этом признаться, он в первый раз в жизни сослался на флот.

- Послушай, приятель, ты ведь не хотел бы нарваться на крупную неприятность, не так ли? А то матрос заставит тебя заткнуться. Навсегда. Ты слышь меня?

-Я ничего не хотел, я просто шел мимо...

Кэрель посмотрел на него. Он чувствовал себя под защитой своей формы. Он с силой сжал кулаки и вдруг почувствовал, как напрягаются для драки все его мускулы и нервы. Он приготовился к броску. Его икры и руки дрожали. Его тело было готово к битве, в которой он мог померяться силами не только с этим испуганным его наглостью молодым человеком, а с покорившим его в зале борделя могуществом. Кэрель не осознавал, что ему хочется драться за Марио и Норбера. Подобно тому как, сражаясь с драконом, одновременно освобождают принцессу. Эта драка должна была стать своеобразным испытанием.

-Ты что, никогда не имел дела с моряками, а?

Никогда еще Кэрель не призывал к подобному свидетельству. Матросы, гордившиеся тем, что они матросы, и воодушевлявшиеся этим, всегда вызывали у него улыбку. Они напоминали ему дурачков, которые постоянно хорохорятся перед публикой, а кончают корсиканской тюрьмой. Никогда Кэрель еще не говорил: "Я парень с "Мстителя"" - или даже: "Я французский матрос". Но теперь, сделав это, он не почувствовал ни малейшего стыда, а только сильное облегчение:

-Давай, вали.

Обращаясь к этому типу, он произнес эти два слова, скривив рот и придав своей физиономии самое презрительное выражение, и так стоял, засунув руки в карманы, пока юноша не ретировался. После чего, с сознанием собственной силы и чувством еще большего ожесточения, он снова направился вниз по улице Сиам. Прибыв на борт, Кэрель тут же отвел душу. Стоило ему заметить на голове стоявшего у левого борта матроса берет, надетый точно так же, как у него, как им овладел внезапный и сильный гнев. Заметив этот излом берета, изогнутую, как язык пламени, и касающуюся ленты прядь, наконец эту ставшую теперь легендарной (как белый меховой чепчик Ваше, мифического

убийцы пастухов) прическу, он почувствовал себя обворованным. Кэрель подошел и, холодно глядя прямо в глаза матроса, сухо бросил ему :

- Надень свой берет по-другому.

Матрос не понял. Ничего не понимающий и сильно испуганный, он, не двигаясь, смотрел на Кэреля. Кэрель рукой сбил берет на палубу, и, прежде чем матрос успел наклониться за ним, неожиданно и сильно ударил его кулаком в лицо.

Кэрель любил роскошь. Было бы естественно предположить, что он неравнодушен к тому, что обычно волнует большинство, и прежде всего, что он гордится тем, что он француз и к тому же матрос, так как самец всегда преисполнен национального и военного тщеславия. Тем не менее, мы обратимся к некоторым событиям его молодости. Нельзя сказать, что эти события исчерпывающим образом объясняют характер нашего героя. Однако они позволяют несколько прояснить мотивацию его отклоняющегося от общепринятой нормы поведения. Начнем с самого характерного. Общаясь со шпаной, Кэрель прекрасно усвоил все ее повадки, к пятнадцати годам он вызывающе поводит плечами и, засунув руки глубоко в карманы, щеголял своими зауженными книзу брюками. Позже он стал ходить мелкими шагами, сжав ноги и задевая ляжкой за ляжку, но отставив руки от туловища, так, как будто им мешали слишком мощные мускулы рук и спины. И только после своего первого убийства он приобрел свою особую манеру держаться: он ходил, широко расставляя ноги и плавно пронося сжатые кулаки напряженных рук над шириной, не касаясь ее.

Это стремление обрести собственную манеру поведения наилучшим образом характеризует Кэреля, сразу же выделяет его из всей команды и невольно наводит на мысли о каком-то жутком дендизме. Ребенком он развлекался тем, что, писая, соревновался сам с собой, стараясь направить струю как можно выше и дальше. Однажды ночью в Кадисе неподалеку от борделя, из которого он только что вышел вместе со слегка пьяным, как и он, Виком, мы снова могли бы его застать писающим под окнами тюрьмы. Тогда они, расстегнув ширинки, сжимали в кулаках члены друг друга. Лицо Кэреля было выразительно. Лучше всего его можно было бы описать с помощью экспрессивной и гармоничной речи, какой является лирическая поэзия. Когда, приближаясь, Кэрель улыбался, на его щеках появлялись две маленькие ямочки. Грустная, немного двусмысленная улыбка предназначалась им скорее самому себе, чем тому, на кого он смотрел. Всякий раз, когда лейтенант Себлон рисовал его облик в своем воображении, он испытывал такое глубокое возбуждение, как будто в мужском хоре он видел мужественного, крепко стоящего на ногах, с сильными бедрами и шеей юношу, поющего своим низким мужским голосом гимны Святой Деве. Кэрель поражал своих товарищей. Он поражал их своей силой и крайней вульгарностью поведения. Они видели, что вызывают у него слабое раздражение, подобное тому, какое испытывает спящий, слышащий за москитной сеткой жужжание комара, остановленного тюлем и взволнованного этим непреодолимым и невидимым препятствием. Когда мы читаем: "Выражение его лица постепенно менялось: на смену суровости пришла нежность и ироничность, в его повадке чувствовался моряк, он стоял, широко расставив ноги. Этот убийца много путешествовал..." - мы знаем, что этот портрет Кампи, казненного 30 апреля 1884 года, был составлен уже после его смерти. Однако он точен, потому что сделан непосредственно тем, кто его видел. Товарищи же Кэреля могли бы сказать о нем: странный тип, от которого

можно ждать чего угодно. Каждый день он появлялся среди них, отмеченный сиянием очередного скандала. Матрос нашего Военного флота наделен своеобразным простодушием, в основе которого лежит его благородная привязанность к оружию. Если бы он захотел всерьез заняться контрабандой или спекуляцией, у него бы это вряд ли получилось. Даже когда, преодолевая в себе отвращение и скуку, он решается на это, первая же его попытка, как правило, заканчивается неудачей. Кэрель же был не так прост. Ему незачем было бравировать своей силой - хулиганом он был всегда, - но он пользовался защитой французского флага для своих сомнительных авантюр. С юных лет он ходил к грузчикам и морякам торгового флота. Среди них он чувствовал себя как рыба в воде.

Кэрель шел, ни о чем не думая, с влажным и горячим лицом. Его тяготило ясное сознание того, что все его подвиги не имели никакого значения в глазах Марио и Ноно, не интересовавшихся никем, кроме самих себя. Подойдя к мосту Рекувранс, он спустился по ведущей к причалу лестнице. Тут, проходя мимо таможни, он подумал, что, пожалуй, слишком дешево отдает свои десять кило опиума.\* {Так в оригинале} Но сейчас главное было "закинуть удочку". Он дошел до причала, к которому должен был подойти катер, перевозивший матросов и офицеров на борт стоящего на рейде "Мстителя". Он взглянул на часы: без десяти четыре. Катер прибывал через десять минут. Кэрель сделал еще сотню шагов, отчасти для того, чтобы согреться, а отчасти потому, что чувствовал необходимость успокоить свое волнение. Неожиданно он натолкнулся на стену, ограждавшую от моря ведущую к мосту дорогу. Из-за тумана Кэрель не мог разглядеть верха стены. Но по ее основанию, по углу ее наклона к земле, по размерам и массивности ее камней Кэрель догадался, что она очень высокая. Тошнота - правда, не такая сильная, как та, которую он чувствовал, стоя перед двумя мужчинами в борделе, - снова подступила к его горлу. Однако даже если его слегка чрезмерная физическая выносливость зависела от внезапного упадка сил, доказывая тем самым, что человек слаб, никогда Кэрель не осмелился бы сознаться в этой слабости, опершись, например, о стену, но тоскливое ощущение собственной заброшенности заставило его немного ссутулиться. Он отошел от стены и повернулся к ней спиной. Перед ним было скрытое туманом море.

- Странный парень,- подумал он, подняв брови.

Он размышлял, неподвижно расставив ноги. Его опущенный взгляд сквозь туман нашупал у его ног темные скользкие камни набережной. Не спеша и методично он разбирал в своем воображении характерные особенности внешности Марио. Его руки. Дугу - он хорошо рассмотрел ее, - что проходит от мизинца к концу указательного пальца. Толщину складок. Ширину плеч. Его безразличие. Белокурые волосы. Голубые глаза. Усы Норбера. Круглый и лоснящийся череп. Опять Марио, красивого черного цвета ноготь на его мизинце, совсем как лакированный. Абсолютно черного цвета не бывает, и этот черный ноготь на конце его раздавленного мизинца напоминал цветок.

- Что вы здесь делаете?

Кэрель мгновенно отдал честь возникшему перед ним силуэту. Он с радостью приветствовал пронзивший туман строгий голос, как будто он исходил из какого-то теплого и светлого, покрытого золотом места.

- Меня п`слали в военно-морской округ, лейтенант.

Офицер подошел.

-Вы на берегу?

Кэрель остался стоять навтыжку, одновременно пытаясь спрятать под рукав свое запястье с золотыми часами.

- Вы вернетесь на следующем катере. Я хочу, чтобы вы отнесли приказ в управление.

Лейтенант Себлон нацарапал несколько слов на конверте, который протянул матросу. Он дал ему еще несколько сделанных подчеркнуто сухим тоном указаний. Кэрель слушал его. Временами улыбка приподнимала его подергивавшуюся верхнюю губу. Он был одновременно и удивлен неожиданным появлением офицера, и доволен этим появлением, особенно его радовало то, что здесь, где он только что пережил минутное отчаяние, он встретил лейтенанта, ординарцем которого он был.

- Ступайте.

Это было единственное слово, которое голос лейтенанта произнес с сожалением, без сухости, но не без скрытой силы, которую естественно придавали ему плотно сжатые губы. Кэрель едва заметно улыбнулся. Он отсалютовал и отправился к таможне, снова оказавшись на ведущей к дороге лестнице. Вмешательство лейтенанта, прежде чем он его узнал, вывело его из равновесия, разорвав опаловую оболочку, в которой, как ему казалось, он почти растворился. Оно разрушило созданный им за несколько минут кокон мечты, из которого он вытаскивал эту удивительную ниточку: свое очередное приключение в мире людей и вещей и драматическую развязку, которую он предчувствовал, как туберкулезник чувствует поднимающийся во рту вкус крови, смешанной со слюной. Тем не менее, Кэрель довольно быстро взял себя в руки. Прежде всего, это было необходимо, чтобы сохранить неприкосновенность той сферы, куда офицеры даже самых высоких чинов не имели права заглядывать. Кэрель не допускал в отношении к себе ни малейшей фамильярности. Лейтенант Себлон никогда не сделал ничего - что бы ни думал он сам по этому поводу - для того, чтобы установить между своим ординарцем и собой хоть какую-то близость; впрочем, отчуждение, которое стремился продемонстрировать лейтенант, было излишне, и его тяга к Кэрелю вызывала у матроса улыбку. Кроме того, эта неловкая близость смущала его. Вдруг он улыбнулся, так как голос лейтенанта немного его успокоил. Наконец-то предчувствие опасности, как прежде, расцвело на губах Кэреля. Он стащил часы из ящика стола в каюте, потому что считал лейтенанта надолго ушедшим по делам.

-- Вернувшись, он забудет. Потом решит, что потерял, - подумал он.

Поднимаясь по лестнице, Кэрель провел рукой по железным перилам. Внезапно в его воображении опять всплыли те два парня из борделя. Марио и Норбер. Сука и легавый! Самое ужасное, если им взбредет в голову заложить его прямо сейчас. Может быть, полиция заставляет их вести двойную игру. Эти два типа в воображении Кэреля стали раздуваться. Достигнув чудовищных размеров, они почти поглотили собой Кэреля. А таможня? Проскочить через таможню невозможно. Тошнота снова подступила к горлу. И исчезла вместе с позывом к икоте. Вдруг его осенило, и спокойствие, растекаясь по всему его телу, вернулось к нему. Он был спасен. Через несколько мгновений он уселся на последней ступеньке лестницы на краю дороги. Додумавшись до такого, можно было бы даже позволить себе немного поспать. С этого момента он старался четко формулировать свои мысли:

"Готово. Лучше не придумаешь. Нужен кто-нибудь (он уже решил для себя, что это будет Вик)- кто-нибудь, кто спустит веревку со стены. Я сваливаю с катера и остаюсь на причале. Туман до-льно густой. Вместо штоб сра-же идти к таможене, я канаю к стене. Фраер уже наверху и с дороги бросает конец. Надо метров десять-двенадцать каната. Я привязываю сверток. В тумане меня не видно. Кореш тащит. Сверток у нё в руках. И легавые остаются с носом".

Он почувствовал глубокое успокоение. Он уже испытывал подобное необычное чувство у подножия одной из двух массивных башен, образующих ворота порта в Ля Рошели. Это было ощущение силы и бессилия одновременно. Довольство собой приистекало из сознания того, что эта высокая башня являлась символом мужественности, ибо, когда у подножия башни он раздвигал ноги, чтобы помочиться, она казалась ему продолжением его члена. Вечерами после кино, когда вместе с двумя или тремя своими товарищами он мочился около нее, он обменивался с ними шутками:

- Вот что подошло бы Жоржетте...

-Если бы у меня в штанах был такой же, все шлюхи в Ля Рошели были бы мои!

-Ты имеешь в виду этот лярошельский х...?

Но оставшись один, неважно, вечером или днем, он испытывал сильное волнение. Расстегивая и застегивая ширинку, его пальцы как бы бережно прикасались к сокровищу, к скрытой душе гигантского члена, этот каменный фаллос казался ему воплощением его собственной мужественности, но в то же время он готов был с покорностью смириться перед спокойным и несравненным могуществом неизвестного ему самца. Кэрель почувствовал, что способен в сохранности доставить груз опиума диковинному чудовищу, состоящему из двух прекрасных тел.

"Только мне потребуется напарник. Без напарника мне не обойтись".

Кэрель смутно осознавал, что исход махинации зависит от напарника, и с удовлетворением чувствовал, как в нем, подобно едва зарождающейся заре, теплится догадка, что это будет Вик, - приобщив его к делу, он сумеет сравняться с Марио и Норбером. Хозяин внушал доверие. А тот другой, пожалуй, был слишком красив для легавого. У него были чересчур роскошные перстни.

"А я? А мои драгоценности? Если бы этот пижон их видел!"

Кэрель подумал сперва о спрятанных в каюте драгоценностях, потом о своей тяжелой и упругой мошонке, которую он каждый вечер ласкал и даже во время сна держал в ладони. Он вспомнил об украденных часах. И улыбнулся: это снова был прежний Кэрель, воспрянувший, расцветший и демонстрирующий нежную изнанку своих лепестков.

Рабочие сидели вокруг белого деревянного стола, стоявшего посреди барака, между двумя рядами кроватей. На столе дымились десять мисок с супом. Жиль медленно снял руку со спины разлегшейся у него на коленях кошки, потом снова опустил ее. Кошка частично оттягивала на себя мучившие его угрызения совести. Она успокаивала Жилья, как пиявка приносит облегчение больному. Жиль уклонился от драки с Тео, когда тот, вернувшись, стал насмехаться над ним. Он невольно выдал себя жалкими интонациями,

ответив ему: "Не нужно так говорить". Обычно его ответы были сухими и резкими, почти грубыми, и Жилью стало стыдно от того, что теперь его слабый голос, как тень, распластался у ног Тео. Пытаясь успокоить свое самолюбие, он старался убедить сам себя в том, что просто не хочет связываться с придурками, но невольная дрожь, прозвучавшая в его речи, еще раз напомнила ему о его капитуляции. Остальные? Какое ему до них дело: плевать он хотел на остальных. С Тео все ясно. Тео -- педик. Он здоровый и вспыльчивый, но он педик. С момента появления Жилья на стройке каменщик взял его под свою опеку, оказывая ему знаки необычного внимания. Он даже угощал его белым вином в кабаках Рекувранс. Но в дружеских похлопываниях стальной руки Жилья порой чувствовал на своей спине - невольно вздрагивая от этого ощущения - какую-то странную нежность. Как будто рука хотела подчинить его, чтобы приласкать. Впрочем, в последнее время Тео был в дурном расположении духа. Он понимал, что его молодость уходит. Иногда на стройке Жилья украдкой смотрел на него - и почти всегда ловил на себе взгляд Тео. Тео прекрасно работал, его всем ставили в пример. Прежде, чем положить камень в цементное ложе, он ласкал его руками, переворачивал, выбирая самую красивую сторону и придавая ему наиболее выгодное положение, чтобы он лучше смотрелся с фасада. Жилья снял руку с шерсти. Он осторожно поставил кошку у печки, на ковер из стружек. По этому жесту окружающие должны были понять утонченность его натуры. Ему хотелось подчеркнуть эту утонченность. Он стремился показать, что не заслужил подобного оскорбления. Он подошел к столу и сел на свое место. Тео сидел к нему спиной. Жилья видел, как его густая шевелюра свисает над белой фаянсовой миской. Он смеялся и разговаривал с приятелем. Отовсюду раздавалось громкое чавканье густым и горячим супом. Поужинав, Жилья встал первым и, сняв свой свитер, торопливо стал мыть посуду. В расстегнутой на груди рубашке с закатанными выше локтей рукавами, с красным и мокрым от пара лицом и погруженными в жирную воду голыми руками он стал похож на молодую посудомойку из ресторана. Он чувствовал, что больше не является рабочим. На некоторое время он превратился в какое-то странное двуполое существо: юношу и служанку каменщиков. Чтобы ни у кого не возникло желания пощупать его или со скабрёзным смехом похлопать по заднице, он старался делать как можно более резкие движения. Он вытащил из жирной и ставшей уже отвратительно теплой воды потрескавшиеся от цемента и гипса руки. Трещины на руках были забиты белым веществом и почти замазаны цементом, и ему стало жалко своих рабочих рук. Последние несколько дней Жилья чувствовал себя настолько униженным, что не мог позволить себе думать о Полетте. И даже о Роже. Он не мог думать о них с нежностью, потому что чувство его было запачкано унижением, к которому примешивалось что-то вроде тошнотворного испарения, отчего любая его мысль искажалась и разлагалась. Временами он даже начинал испытывать к Роже ненависть. Теперь ненависть находила в его душе благодатную почву, так как помогала забыть о пережитом унижении, загнать его в самый отдаленный уголок сознания, откуда оно, однако, продолжало периодически напоминать о себе с неотступной навязчивостью абсцесса. Жилья ненавидел Роже за то, что тот был причиной его унижения. Он ненавидел его смазливое личико, ставшее объектом злых шуток Тео. Он ненавидел его за то, что тот явился на стройку. Он улыбался ему в тот вечер, когда пел на столе, только потому, что один Роже знал, что это любимая песня Полетты, которую та часто напевала, и Жилья через него как бы обращался к его сестре:

Это веселый бандит,  
Его ничто не тревожит...

Несколько каменщиков играли в карты на столе, освобожденном от мисок и белых фаянсовых тарелок. Вся печка была завалена посудой. Жиль хотел выйти помочиться, но, повернувшись, увидел Тео, который пересек комнату и уже открывал дверь, вероятно, направляясь туда же. Жиль остановился. Тео потянул дверь на себя. Он вышел в ночь и туман, одетый в рубашку цвета хаки и мягкие голубые штаны, сшитые из кусочков полотна разных оттенков: у Жилия были точно такие же, он их обожал. Он стал раздеваться. Сняв рубашку, он остался в одной майке с обнаженными мускулистыми руками. Приспустив штаны и наклонившись, он увидел свои ляжки: они были плотные и крепкие, развитые занятиями велосипедным спортом и футболом, гладкие, как мрамор, и такие же твердые. Мысленно Жиль перевел взгляд со своих ляжек к животу и дальше к своей накачанной спине и рукам. Ему стало стыдно своей силы. Если бы они дрались "по правилам" (то есть без ударов, просто стараясь побороть друг друга) или "на кулачки" (ногами и ударами кулаков), он бы точно победил Тео, но у того была репутация бешеного. В отместку он мог тихонько подкрасться ночью и перерезать горло победителю. Благодаря этой репутации ему все сходило с рук. Жиль не хотел, чтобы ему перерезали горло. Он снял штаны и, стоя перед кроватью в красных трусах и майке, тихонько почесал свои ляжки. Он надеялся, что его товарищи, увидев его мускулы, поймут, что он отказался драться из великодушия, чтобы не связываться со стариком. Он лег. Прижавшись щекой к подушке, Жиль думал о Тео с отвращением, только усиливавшимся от сознания того, что в молодости Тео, наверное, был неотразим. Даже теперь, в зрелости, в нем чувствовалась сила. Его жесткое мужественное сохранившее чистоту линий лицо было изборождено многочисленными мелкими морщинками. Маленькие черные глаза зло блестели, но иногда, особенно вечером, когда работа подходила к концу, Жиль порой замечал на себе их исполненный необыкновенной нежности взгляд. Тео, взяв немного мелкого песка, тер им руки, потом, разогнув спину, окидывал взглядом результаты труда: выросшую стену, брошенные мастерки, доски, щетки и ведра. На все эти предметы - и на рабочих - медленно оседала серая пыль, превращавшая стройку в единый, созданный за этот день, заверченный объект. С завершением работы на опустевшей, припудренной серой пылью стройке воцарялся вечерний покой. Уставшие за день, с бесцельно опущенными руками каменщики, молча, неторопливыми и почти торжественными шагами покидали стройку. Им всем еще не было и сорока. Утомленные, с сумкой через левое плечо и правой рукой в кармане, они шли навстречу вечеру. Их брюки, придерживаемые ремнем вместо лямок, плохо держались, через каждые десять шагов они останавливались и подтягивали их спереди, засовывая под ремень, но сзади, где болтался треугольный вырез с двумя предназначенными для лямок пуговицами, они все равно провисали. В полном молчании каменщики возвращались к себе в бараки. До субботы никто из них не пойдет к девкам или в бистро, они будут спокойно отдыхать, лежа в кроватях и накапливая под простынями темные силы и белую жидкость, они будут спать на боку, без снов, вытянув вдоль кровати обнаженные с голубыми венами и запыленными запястьями руки. Тео всегда дожидался Жилия. Каждый вечер, перед уходом, он предлагал ему сигарету и с изменившимся взглядом хлопал его по плечу.

-Ну что, приятель? Как жизнь?

Жиль, как правило, с безразличным видом кивал головой и натянуто улыбался. Жиль чувствовал, как его щека нагревается на подушке. Его глаза были широко открыты, и от нестерпимого желания выйти помочиться злоба его все росла. Края его век горели. Полученная пощечина может побудить вас выпрямиться, броситься вперед, дать ответную пощечину, ударить кулаком, подпрыгнуть, собраться, пуститься в пляс - иными словами, жить. Полученная пощечина может также заставить вас согнуться, покачнуться, упасть, умереть. Нам кажется достойным поведение, побуждающее к жизни, и отталкивающим - поведение, влекущее за собою смерть. Но самым прекрасным кажется нам поведение, дающее нам наибольшую полноту жизни. Полицейские, поэты, лакеи и священники существуют благодаря человеческой низости. В ней они черпают свои силы. Она бурлит в них. Она их питает.

-Полицейский - это такая же работа, как любая другая.

Отвечая так старому знакомому, который не без скрытого презрения спросил его, почему он пошел в полицию, Марио понимал, что лжет. Он презирал женщин, оттого что постоянно имел дело с проститутками. Юный Дэдэ и ненависть, которую он постоянно ощущал вокруг себя, придавали его службе в полиции некоторую значимость. Он стыдился ее. Он хотел бы от нее освободиться, но не мог. Хуже того, она уже проникла в его кровь. Он боялся, что она окончательно отравит его. Сперва незаметно, потом страстно он увлекся Дэдэ. Дэдэ был его противоядием. Он стал слабее ощущать в себе полицейского. Он стал меньше стыдиться этого. В его жилах текла не такая уж черная кровь, как казалось бандитам и озлобленному Тони.

Много ли в тюрьме Бужан очаровательных шпионок? Марио не переставал надеяться, что в конце концов ему подвернется дело о краже документов, представляющих интерес для службы государственной безопасности.

Марио сидел в комнате Дэдэ на улице Сен-Пьер, спустив ноги с кровати, покрытой голубым хлопчатобумажным покрывалом с бахромой, наброшенным прямо на смятые простыни. Дэдэ вспрыгнул на кровать и встал на колени рядом с неподвижной фигурой Марио. Полицейский не проронил ни слова. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Его неподвижный взгляд был сосредоточен на чем-то крайне важном, что находилось над висящим над камином зеркалом, над стеной и над городом. На его коленях, точнее, на той твердой и гладкой поверхности, которую представляют собой колени сидящего мужчины, ноги которого слегка подогнуты, лежали обе его ладони. Никогда еще Дэдэ не видел его таким строгим, с таким суровым, напряженным, печальным лицом, которое из-за плотно, почти насильно сжатых губ казалось злым.

-Но что с того? Что случилось? Я пойду в порт, посмотрю... Я посмотрю, там он или нет... Ты что, не веришь?

Лицо Марио осталось неподвижно. Необыкновенный жар таинственным образом оживлял его: он был бледен, но черты его лица так напряжены, так четко обозначены и обрисованы, что казались освещенными бесконечностью звезд. Как будто вся жизненная энергия Марио из его икр, члена, торса, сердца, ануса, промежности, рук, локтей, шеи подступила к его лицу в отчаянном стремлении вырваться наружу, раствориться, рассыпаться искрами в ночи. Впадины на его щеках делали его подбородок еще более жестким. Брови были

нахмурены, но из-за легкой выпуклости глазных яблок его веки вместе с носом составляли что-то вроде янтарной розочки. Совсем рядом с губами во рту Марио перекатывалась слюна, которую он не решался, был не в состоянии проглотить. Казалось, там, на кончике языка сконцентрировались весь его страх и вся его ненависть. Под совсем светлыми в это мгновение бровями его голубые глаза казались черными. Светлый оттенок бровей слегка поколебал глубокий покой Дэдэ. (А юноша был настолько же спокоен, насколько был взволнован его друг, как будто тот один очистил их души, вобрав в себя всю скопившуюся в них грязь, и это неожиданно подтвердившееся высшее предназначение полицейского делало его похожим на всех знаменитых героев - суровым, трагичным и слегка надменным. Дэдэ, казалось, чувствовал это и выражал свою признательность за очищение тем, что принимал его с грациозной простотой, как весеннюю благодать апрельских рощ.) Иными словами, просветленность бровей Марио обеспокоила и взволновала юношу, ибо он видел, что эта просветленность несет в себе множество оттенков и сопутствует мрачному и суровому выражению лица. Светлый цвет только подчеркивал глубину его отчаяния. Эти светлые брови взволновали (мы употребляем здесь глагол "взволновать" в его самом прямом смысле - нарушить покой) - взволновали его до глубины души. И дело было не только в том, что из-за простого портового докера Марио грозила смертельная опасность, но и в том, что, даже проявляя сильное беспокойство, полицейский как бы давал ему понять, что на сохранившем проблески света лице друга он сможет еще когда-нибудь увидеть радость. Проблеск света на лице Марио в действительности был только ее тенью. Дэдэ положил свою обнаженную руку - в закатанной выше локтя рубашке - на плечо Марио и стал внимательно рассматривать его ухо. На какое-то мгновение его взгляд задержался на мягких, коротко подстриженных от затылка к виску, отливавших нежным шелком волосах. Он даже тихонько подул на ухо, чтобы убрать несколько упавших со лба светлых волосков подлиннее. Ни один мускул на лице Марио не дрогнул.

-Ну и дурацкий же у тебя вид! Ты что, думаешь, они тебе что-то могут сделать?

Он помолчал несколько секунд, как бы задумавшись, и добавил:

-Самое паршивое, что ты до сих пор их не арестовал. Почему же ты их не арестуешь?

Он слегка отклонился назад, чтобы лучше видеть профиль Марио, лицо и глаза которого оставались неподвижными. Марио ни о чем не думал. Он сидел с безразличным, отсутствующим выражением лица, которое передалось всему его телу. Только что Робер сообщил ему, что пятеро самых отчаянных докеров собираются его прикончить. Тони, которого он, по мнению брестской шпаны, арестовал незаконно, недавно вышел из бужанской тюрьмы.

-Ну что, ты думаешь, он может предпринять?

Не сдвигая колен с места, Дэдэ еще немного отклонился назад. Теперь его поза напоминала позу юного святого, упавшего у подножия дуба на колени перед видением, величие подобной милости как бы отбрасывало его назад, заставляя отстранить лицо от ослепляющего, обжигающего его ресницы и зрачки видения. Он улыбнулся. Нежно обвил руками шею полицейского. И, бесшумно приблизившись, стал целовать его лицо, лоб, виски, глаза, кончик носа и губы, почти не касаясь их. Марио почувствовал, как его осыпало тысячей мгновенно приближавшихся и тут же удалявшихся от него горящих искр.

"Это как мимозы", - подумал он.

Его тело осталось неподвижно - руки застыли на коленях, член бессильно свисал, и только веки слегка дрожали. Однако эта неожиданная детская нежность тронула его. Он ощутил ее в тысяче едва заметных теплых прикосновений (их незавершенность причиняла боль) и, вобрав ее в себя, почувствовал в своем теле удивительную легкость. Дэдэ осыпал поцелуями скалу. Прикосновения стали еще слабее, не переставая улыбаться, мальчик отодвинулся и свистнул. Подражая птице, он стал водить своими сложенными в клюв губами по массивной, суровой голове Марио от глаз до губ и от затылка до ноздрей, насвистывая то как дрозд, то как иволга. Его глаза смеялись. Лесные птицы забавляли его. Ему нравилось воображать себя птицами, дарящими свое пение этой могучей, неподвижной, словно высеченной из камня голове. Дэдэ пытался приручить его, заморозив птичьим пением. Марио с грустью наблюдал перед собой нечто необычное: улыбку птицы. Он снова с облегчением подумал: "Это как цветы мимозы".

Пение птиц покрылось легкой пылью. Марио казалось, что его обволакивает усеянной горошками тюлевой вуалью. Он снова углубился в себя, желая вновь погрузиться в ту область тумана и невинности, которая, быть может, и является преддверием рая. Даже тоска позволяла ему укрыться от врагов. Он был полицейским, легавым. Он имел право находиться с этим шестнадцатилетним сопляком в тесных заговорщических отношениях. Дэдэ хотел разглядеть на этом лице улыбку, которая бы притягивала к себе всех птиц: но скала оставалась неприступной, не хотела улыбаться, расцветать, покрываться гнездами. Марио окончательно замкнулся в себе. Он внимательно прислушивался к посвистыванию мальчишки, но сейчас он был - а Марио никогда не позволял себе расслабиться, потерять бдительность - настолько углублен в себя, пытаясь освободиться от охватившего его страха, что ему потребовалось бы слишком много времени, чтобы заставить хотя бы пошевелиться свои мускулы. Ему казалось, что за этой суровостью лица, за его бледностью и неподвижностью он может укрыться, как за дверями и крепостными стенами. Он скрывался за бастионами Полиции, был защищен их суровостью, которая на самом деле была всего лишь видимостью. Дэдэ быстро поцеловал его в угол рта и спрыгнул с кровати. Он стоял перед Марио и улыбался.

-Что с тобой? Ты заболел или влюбился?

Вопреки своему желанию, он никогда не осмеливался спать с Дэдэ, никогда, тем более что ему было хорошо известно - он и сам был когда-то таким - коварство детей, и никогда он не позволял себе в отношениях с ним ни одного двусмысленного жеста. Его начальство и сослуживцы знали о его делах с мальчишкой, который в их глазах был лишь ничтожной мошкой.

Дэдэ не ответил на иронию Марио, но его улыбка слегка искривилась, хотя и не исчезла совсем. Его лицо порозовело.

-Ты как будто взволнован.

-Да нет, я не сделал тебе ничего плохого. Я поцеловал тебя просто по-товарищески. У тебя была такая физиономия. Мне хотелось тебя развеселить.

-Так что же, я и минуты не могу спокойно подумать?

-Ты был как каменный. А ведь еще точно неизвестно, собирается ли Тони тебя пришить.

Марио раздраженно дернулся. Его рот скривился.

-Ты случайно не думаешь, что я сдрейфил?

-Я этого не говорил.

Дэдэ не мог сдержать своего возмущения.

-Я этого не говорил.

Он стоял перед Марио. У него был хриплый, грубоватый, низкий голос с легким деревенским акцентом. Таким голосом хорошо говорить с лошадьми. Марио обернулся. Несколько секунд он рассматривал Дэдэ. Все сказанное им во время этой сцены сопровождалось жестким изгибом губ и бровей, которым он изо всех сил стремился продемонстрировать этому малолетке, что он, Марио Ламбер, инспектор транспортной бригады, сотрудник брестского комиссариата, не считает себя конченой личностью. Вот уже год как он завербовал Дэдэ и тот сообщал ему о тайной жизни порта: кражах, ограблениях кафе, хищениях железа и других материалов, - потому что окружающие ему доверяли.

-Ладно.

Дэдэ, надувшись, стоял перед ним, расставив ноги, отчего казался немного ниже ростом, и рассматривал полицейского. Вдруг, резко повернувшись на одной ноге - при этом ноги его, оставшись раздвинутыми, слегка напоминали стрелки компаса, - он подошел к окну, где на шпингалете висела его куртка, и так сгорбился, что, казалось, на его плечи внезапно опустилось все невидимое темное звездное небо. В первый раз Марио заметил, что Дэдэ окреп и уже превратился в настоящего маленького мужчину. Внезапно ему стало стыдно оттого, что он позволил Дэдэ заметить свой страх, но потом он быстро успокоился, оправдывая себя тем, что полицейскому позволительно любое поведение. Окно выходило на узкую улочку. Напротив, на другой стороне улицы, возвышались серая стена гаража. Дэдэ надел свою куртку. Когда он так же резко обернулся, Марио стоял перед ним, засунув руки в карманы.

-Ты все понял? Будь осторожнее. Я тебе уже говорил, пока еще никто не знает, что ты корешишься со мной, но важно, чтоб тебя не засекли.

-Будь спокоен, Марио.

Дэдэ оделся. Вокруг шеи он обмотал красный шерстяной шарф, а на голову надел маленькую серую кепочку, из тех, что так любит носить деревенская шпана. Из кармана куртки, где в беспорядке валялись сигареты, он вытащил одну и стремительно сунул ее в рот Марио, а потом еще одну - себе, и все это с серьезной миной, хотя ему и было смешно. Неожиданно строгим, почти торжественным жестом он натянул свои перчатки, бывшие символом его скудного богатства. Дэдэ любил, почти обожал эти засаленные штуковины, он никогда не позволял себе небрежно держать их в руке, но всегда бережно натягивал их. Он знал, что это - единственная деталь, позволяющая ему из бездны его добровольного морального падения прикоснуться к миру роскоши. Размеренные жесты возвращали ему уверенность в себе. Он сам был удивлен, что решился на этот поцелуй и на всю предшествовавшую ему игру. Он стыдился своей оплошности. Никогда он не позволял себе по отношению к Марио - так же как и Марио по отношению к нему - никаких нежностей. Дэдэ был всегда серьезен. Он вполне серьезно собирал для полиции сведения и относил их каждую неделю в назначенное по телефону место. Первый раз в своей жизни он поддался игре воображения.

"Я же вроде ничего не пил", - подумал он.

Его серьезность была абсолютно естественна, и говоря об этом, мы имеем в виду то, что он никогда не стремился выглядеть серьезным. Напротив, он всегда старался изобразить некую легкомысленность. Никогда, например, он бы не осмелился ни на одну из шуток, которые по тысяче раз проделывают все

шестнадцатилетние мальчишки: протянуть руку и отдернуть ее в момент, когда приятель собирается ее пожать, пошутить по поводу женской груди, громко сказать "козел", встретив бородача, и т.д., но на этот раз он как бы перестал быть самим собой, и к его стыду примешивалось легкое чувство свободы. Он чиркнул спичкой и поднес огонек Марио с торжественностью, которая на мгновение заменила его незнание этикета. Марио был выше него, и юный хулиган незаметно приблизил к нему свое лицо, стыдливо затемненное тенью, падавшей от его руки.

-А что ты будешь теперь делать?

-Я?.. Ничего. Что я могу делать. Я буду ждать тебя.

Дэдэ снова взглянул на Марио. Он глядел на него несколько секунд, приоткрыв пересохший рот. "У меня бледный рот",- промелькнуло у него в голове. Он затянулся сигаретой и сказал: "Хорошо". Потом он повернулся к зеркалу и поправил кепку, немного сдвинув ее налево. В зеркале отражалась вся комната, в которой он уже прожил почти целый год. Комната была маленькая и холодная, на стенах висели вырезанные из газет фотографии боксеров и киноактрис. Единственной дорогой вещью была электрическая лампочка над диваном: с плафоном в форме тюльпана из бледно-розового стекла. В самом себе и вокруг себя Дэдэ ощущал присутствие отчаяния. Он не испытывал презрения к Марио из-за того, что тот боялся. Уже давно он понял, как трудно порой признаться в собственном страхе и сказать:

"Я трусил. Приссал, сдрейфил..."

Ему самому случалось убежать от опасного вооруженного противника. Он надеялся, что Марио примет вызов и сам при первом же удобном случае уберет вышедшего из тюрьмы докера. Помочь Марио означало для него спастись самому. А то, что тот трусил перед Тони, было вполне нормально. Этот здоровенный амбал способен был всерьез "завестись". И все же Дэдэ казалось немного странным, что Полиция дрожит перед хулиганом, и впервые он усомнился, а не состоит ли это невидимое идеальное могущество, призванное его защищать, из самых обычных слабых людей. Осознав, с легким надломом внутри, эту истину, он почувствовал, что ослаб, но одновременно - как это ни странно - и окреп. В первый раз в своей жизни он задумался, и это испугало его.

-Но шефу-то ты не сказал?

-Оставь это. Сказано тебе, что делать, ну и делай.

Марио немного боялся, что мальчишка может его подставить. Когда он отвечал ему, его голос невольно смягчился, но он успел взять себя в руки еще до того, как открыл рот, и ответил сухо. Дэдэ взглянул на ручные часы.

-Скоро четыре, - сказал он.- Уже темнеет. К тому же туман... за пять метров ничего не видно.

-Ну и чего же ты ждешь?

Внезапно голос Марио стал более жестким. Ведь главным тут был он. Он знал, что ему достаточно сделать в этой комнате два шага, и он неслышно очутится у зеркала, причешется и снова станет той могущественной, с костями и мускулами, радостной и молодой тенью, в которой его собственные очертания сливаются с очертаниями Дэдэ. (Иногда во время их встреч Дэдэ, глядя на него, с улыбкой говорил: "Мне так нравится, что я незаметно растворяюсь в тебе",- и в то же время его самолюбие восставало против этого поглощения. Иногда у него вырывался жест робкого возмущения, и тогда короткая командирская улыбка снова отодвигала его в тень Марио.)

-Да.

Испытывая удовлетворение от резкости, на которую только он был способен, он жестко подчеркнул это слово. Застыв на мгновение в неподвижности, как бы стараясь продемонстрировать самому себе свою абсолютную независимость, выпустив немного дыма по направлению к окну, в которое он смотрел, и засунув одну руку в карман, Дэдэ резко повернулся к Марио и так же резко, глядя прямо ему в глаза, протянул негнущуюся, напряженную кисть руки.

-Пока.

Тон был мрачный. Марио ответил абсолютно спокойно :

-Пока, малыш. Не пропадай надолго.

-Ты не будешь хандрить, нет? Я бы хотел тебе помочь.

Он остановился у двери. Открыл ее. Какие-то тряпки, висевшие на вешалке у дверей, плавно и торжественно взлетели, а запах, доносившийся из выходящих на лестничную площадку уборных, заполнил комнату. Марио заметил это неожиданное великолепие всколыхнувшейся одежды. Слегка смутившись, он снова услышал свои слова:

- Не ломай комедию.

Он был тронут, но уже не мог остановить себя. Эта глубоко запрятанная чувствительность не столько по отношению к внешней красоте, сколько к ее выражению, называемому обычно поэзией, порой способна была на несколько секунд погрузить его в растерянность: докер прятал в пакгаузе чай и при этом так улыбался, что Марио, молча проходя мимо, невольно испытывал легкое замешательство, что-то вроде сожаления о том, что сам он не вор, а полицейский. Это замешательство длилось недолго. Не успевал он сделать и шага, чтобы уйти, как чудовищность собственного поведения его ужасала. Порядок, которому он служил, был непоправимо нарушен. Открывалась настоящая пропасть. Получалось, что он не трогал вора из эстетических соображений. В первое мгновение его обычная озлобленность была побеждена красотой докера, но стоило Марио это осознать, как он начинал испытывать ненависть к его красоте и арестовывал вора.

Дэдэ обернулся и уголком глаза послал Марио последнее "прощай", которое тот принял за выражение сочувствия его размышлениям. Как только дверь захлопнулась, он почувствовал, как все его мускулы обмякли, члены расслабились и все тело как бы плавно согнулось. Подобное ощущение он только что испытал, когда кокетничал с Марио; внезапно его охватила слабость, ибо ему захотелось - он даже согнул шею - призывно положить свою голову на крепкую ляжку Марио.

-Дэдэ!

Он открыл дверь.

-Ну что еще? Говори...

Марио подошел, посмотрел ему в глаза. И тихо прошептал :

-Я тебе доверяю, слышишь, малыш?

С изумлением в глазах, приоткрыв рот, Дэдэ смотрел на полицейского и не отвечал, сделав вид, что не понимает.

-Иди сюда...

Марио тихо вовлек его в комнату и закрыл дверь.

-Ты, конечно, знаешь слишком много, это ясно. Но я тебе доверяю.

Необходимо, чтобы больше никто не знал, что я здесь, в твоей комнате. Понял?

Полицейский положил свою большую, унизанную золотыми перстнями руку на плечо своего юного осведомителя и привлек его к себе:

-Уже давно мы работаем вместе, слышишь, шкет, но теперь тебе нужно быть особенно осторожным. Я на тебя надеюсь.

Он поцеловал его в висок и отпустил. Только два раза за все время их знакомства он употребил слово "шкет". Это слово как бы объединяло его со шпаной, но вместе с тем подчеркивало их тесные отношения. Дэдэ вышел. Он спустился по лестнице. Природная суровость позволила ему быстро прогнать замешательство. Он вышел на улицу. Марио слышал знакомый стук его легких, четких и решительных шагов по деревянным ступенькам грязного мебелированного отеля. Всего в два шага - ведь комната была маленькая, а шаг у Марио, естественно, был широкий - он очутился у окна. Он отодвинул желтую от дыма и грязи занавеску из плотного тюля. Ему открылась узкая улочка и стена. Было темно. Тони становился все могущественнее. Любая тень, любой участок густого тумана, в который погружался Дэдэ, напоминали о нем.

Кэрель выпрыгнул из катера на причал. За ним - другие матросы, и Вик среди них. Они приплыли с "Мстителя". Катер должен был снова отвезти их на борт около 11 часов. Туман стал таким густым, что создавалось впечатление, что это день обрел свое материальное воплощение. Он охватил собой весь город и, казалось, будет длиться больше, чем 24 часа. Не сказав ни слова Кэрелю, Вик удалился в направлении таможенного поста, через который перед тем, как подняться по лестнице, ведущей к дороге, проходили все матросы, а причал, как уже было сказано, оставался внизу. Вместо того, чтобы следовать за Виком, Кэрель углубился в туман и направился к опорной, поддерживающей дорогу стене. Он немного подождал и с нежной улыбкой на губах пошел вдоль стены, ощупывая ее голой рукой. Внезапно его пальцы ощутили легкое прикосновение. Тогда он схватил конец веревки и привязал к нему пакет с опиумом, который находился у него под курткой. Он трижды тихонько дернул веревку, и она медленно поползла вверх по стене к тянувшему ее Вику.

Морской префект адмирал Д... де М... был крайне удивлен, когда на следующее утро ему сообщили, что молодому матросу кто-то перерезал горло на стене.

В компании Вика Кэреля никто никогда не видел. На корабле они не разговаривали совсем, только иногда обменивались парой слов. Вечером, спрятавшись за трубой, Кэрель ввел его в курс дела. После, догнав его на дороге, он забрал у матроса моток веревки и пакет опиума. Когда он уже почти догнал Вика и рукав из голубого холста жесткой тяжелой от сырости робы коснулся его, Кэрель всем своим телом ощутил присутствие убийства. Оно появилось незаметно, почти как любовное волнение, и, кажется, догнало их в пути или, скорее, даже явилось им навстречу. Чтобы избежать города и подчеркнуть необычность своего поведения, Кэрель решил идти по стене. Его голос дошел до Вика сквозь туман:

-Пошли там.

Они продолжили путь до замка (бывшей резиденции Анны Бретонской), потом прошли через двор Дажо. Их никто не видел. Они закурили. Кэрель улыбался.

-Ты ничего не растрепал, по крайней мере?

-Я же сказал, что нет. Я ведь не трахнутый.

Двор был пуст. В общем-то, вряд ли кого-нибудь могли заинтересовать два матроса, которые собирались пройти через потайной ход в стене и

погрузиться в мир превращенных туманом в призраки деревьев, кустов и засохших трав, в мир канав, грязи и ведущих в мокрый кустарник тропинок. Любой бы подумал, что они собрались к девкам.

-Пройдем с другой стороны. Видел? Обойдем укрепления.

Кэрель продолжал улыбаться. Он курил. По мере того как Вик шел, подчиняясь мерному и тяжелому ритму шагов Кэреля, по мере того как он втягивался в эту авантюру, в нем росло великое доверие к нему. Мощное и молчаливое присутствие Кэреля вселяло в него чувство уверенности, знакомое ему по совместным вооруженным вылазкам. Кэрель улыбался. Он позволял расцвести в себе этому так хорошо знакомому ему волнению, которое сейчас, в удобном месте, там, где деревья растут совсем близко друг от друга и туман еще непроницаемое, полностью подчинит его себе и, вытеснив последние признаки сознания и способность критически мыслить, придаст его телу силу и уверенность преступника. Он сказал:

-Мой братан взялся все обделать. На него можно положиться.

-Я и не знал, что твой брат в Бресте.

Кэрель замолчал. Его глаза, как бы обратившись внутрь, старались разглядеть в нем самом малейшие колебания волнения. Его улыбка исчезла. Легкие раздулись. Он умер. Он уже был ничем.

-Да, он в Бресте. Он в "Феерии".

-В "Феерии"? Шутишь! Что он там делает? "Феерия"- забавное местечко!

-Почему?

Уже ничего от Кэреля не осталось в его теле. Оно стало пустым.

Напротив Вика уже, в сущности, никого не было: остался только убийца, окруженный в темноте несколькими деревьями, образующими что-то вроде комнаты или часовни, с тропинкой посередине. В пакете с опиумом были еще и драгоценности, которые они украли вместе с Виком.

-Д че ты спрашиваешь? Ты ж знаешь не хуже меня?

-Ну да? Он трахает хозяйку.

Что-то от Кэреля снова промелькнуло в краях губ и пальцах убийцы. Эта скрытая тень Кэреля снова натолкнулась на лицо и фигуру Марио, поддерживаемого Норбером. Нужно было преодолеть стену, у подножия которой Кэрель бледнел и растворялся. Преодолеть или пройти сквозь нее. Пробить ее ударом плеча, обрушить.

"У меня тоже есть мои драгоценности",- подумал он.

Перстни и золотые браслеты будут принадлежать только ему. Их достаточно, чтобы он не чувствовал особых колебаний при исполнении священного акта. Кэрель стал уже лишь легким дуновением, привязанным к его губам, которое способно оторваться от тела, чтобы зацепиться за ближайшую колючую ветку.

"Драгоценности. Тот легавый просто усыпан драгоценностями. У меня тоже будут драгоценности. Я не упущу такой удобный случай".

Он свободно мог покинуть свое тело, эту восхитительную подставку для его яиц. Он знал, как они весомы и прекрасны. Спокойно одной рукой он открыл в кармане своей робы складной нож.

-А хозяина там, по-моему, тоже нужно трахать.

-Ну и что? Кому что нравится.

-Черт возьми.

Вик казался слегка удрученным.

-Если бы он тебе предложил, ты бы согласился, а?

-Почему бы и нет, если предложат. Я делал кое-что и похуже.  
Легкая улыбка снова появилась на губах Кэреля.

-Если бы ты только видел моего братана, ты бы сразу захотел. Ты бы ему не отказал.

-Мне было бы больно.

-Да брось ты.

Кэрель остановился.

-Покурим?

Дыхание, уже готовое исчезнуть, снова вернулось к нему, и он снова стал Кэрелем. Не шевельнув рукой, с застывшим, обращенным вовнутрь взглядом, он наблюдал, как сам он перекрестился. После этого знака, обычно предупреждающего публику, что акробат начинает свою смертельно опасную работу, Кэрель уже не мог отступить. Исполняя роль убийцы, нужно быть предельно внимательным. Не спугнуть матроса грубым движением, ведь, вероятно, Вик еще не привык, чтобы его убивали, и может закричать. Преступник тогда вынужден биться не на жизнь, а на смерть, кричать, колоть куда попало. В последний раз в Кадисе жертва запачкала воротник Кэреля. Кэрель повернулся к Вику. И оттого, что у него под мышкой был сверток, неловким движением руки протянул ему сигарету и спички.

-На, зажги, сначала зажги.

Чтобы защититься от ветра, Вик повернулся к нему спиной.

-А ты бы ему приглянулся, у тебя смазливая мордашка. Если бы ты ему пососал, так, как ты сосешь сигарету, он бы наверняка словил кайф!

Вик выпустил дым. И протягивая Кэрелю зажженную сигарету, ответил:

-Да, но вряд ли ему представится такой шанс.

Кэрель хихикнул.

-Ну а я? У меня тоже нет шанса?

-Да пошел ты...

Вик хотел было идти дальше, но Кэрель удержал его, вытянув ногу.

Зажав в зубах сигарету, он сказал:

-Ну? Послушай...Послушай, я ведь не хуже Марио?

-Какого Марио?

-Какого Марио? Благодаря тебе я пройду сквозь стену, разве нет?

-Что? Что ты несешь?

-Так ты не хочешь?

-Ну, не хорохорься...

Вик не кончил фразы. Кэрель мгновенно сжал ему горло, уронив пакет, который упал на тропинку. Ослабив объятия, он так же стремительно достал из кармана уже открытый нож и перерезал матросу сонную артерию. Ворот рубы у Вика был поднят и кровь не брызнула на Кэреля, а потекла по одежде, на куртку. Вытаращив глаза, умирающий пошатнулся и, погрузившись в почти сладострастное состояние, сделал рукой очень грациозный жест, вдруг воссоздав в этом туманном пейзаже уютную атмосферу комнаты, где произошло убийство армянина, о котором и напомнил жест Вика. Кэрель с силой удержал его за левую руку и тихонько уложил на придорожную траву, где он испустил дух.

Убийца выпрямился. Он был субъектом мира, в котором опасности не существовало, потому что он сам являл ее. Прекрасным, неизбежным и непостижимым субъектом, в глубине, в гулкой пустоте которого Кэрель слышал, как разворачивается, шумит, обволакивает и защищает его

исходящая от него опасность. Мертвец, вероятно, был еще теплый. Вик еще не был мертвецом. Он был молодым человеком, которого этот необычный субъект, такой гулкой и пустой, с темным приоткрытым ртом, запавшими суровыми глазами и влажными волосами, в окаменевших одеждах, с коленями, покрытыми, наверное, шерстью, густой и курчавой, как борода ассирийца, - которого этот субъект с ускользящими окутанными туманом пальцами только что убил. Слабое дыхание, в которое перешел сам Кэрель, повисло на колючей ветке акации. Оно беспокойно ожидало. Убийца два раза быстро по-боксерски всхлипнул и тихо пошевелил губами, через которые только что снова вошел в его рот Кэрель: он поднялся к глазам, спустился к пальцам, заполнил собой все тело. Кэрель осторожно повернул голову, оставив верхнюю часть туловища неподвижной. Он ничего не услышал. Он наклонился, вырвал пучок травы и вытер нож. На мгновение ему показалось, что он перебирает клубнику в свежей сметане и погружает в нее пальцы. Он оперся на свое колено и выпрямился, бросил горсть окровавленной травы на мертвеца, нагнувшись еще раз, подобрал пакет опиума и уже один пустился в путь под деревьями. Существует заблуждение, что преступник в момент преступления верит, что его никогда не поймут. Конечно, возможно, что он и не способен точно представить себе все ужасающие последствия своего поступка, тем не менее он прекрасно отдает себе отчет в том, что этот поступок приговаривает его к смерти. Слово "анализ" кажется нам не очень удачным. Можно попытаться вскрыть механизм этого самоприговора другим способом. Кэрель представляется нам чем-то вроде отчаянного нравственного самоубийцы. Неспособный в действительности узнать, будет ли он арестован, преступник живет в постоянном страхе, от которого можно избавиться только отрицанием своего поступка, его искуплением. То есть еще и приговором самому себе (потому что, кажется, именно невозможность признания в убийстве вызывает панический, метафизический или религиозный страх у преступника). Кэрель стоял в глубине рва у подножия крепостной стены, прислонившись спиной к дереву, окруженный туманом и тьмой. Он снова спрятал нож в карман. Свой берет он держал двумя руками перед собой на уровне пояса, помпоном к животу. Он не улыбался. Он уже видел себя перед судом присяжных, который он представлял себе после каждого убийства. С момента преступления Кэрель ощущал на своем плече тяжелую руку воображаемого полицейского и, от трупа до скрытого от посторонних глаз места, шел, сгибаясь под тяжестью своей необычной судьбы. Пройдя сотню метров, он сошел с тропинки и скрылся среди деревьев и колючих кустов во рву, у подножия окружающей город крепостной стены. У него был испуганный взгляд и тяжелая походка арестованного, но в глубине души таилась уверенность - бесстыдно свидетельствовавшая о его близости с полицейским, - что он герой. Местность была пологой, поросшей колючим кустарником.

"Прощай, маманя, - промелькнуло у него. И почти сразу же : - Ну что, вздрогнула фраерская душа!"

Достигнув дна рва, Кэрель на мгновение застыл. Легкий ветерок шелестел острыми концами сухих и жестких трав. Странная легкость этого шума делала ситуацию еще более необычной. Он шел в тумане в направлении, противоположном месту преступления. Трава под ветром нежно шелестела, так же тихо, как дыхание в ноздре атлета или походка акробата. Одетый в светлую майку из голубого шелка, Кэрель медленно продвигался вперед, лазурное трико было стянуто по талии кожаным поясом со стальными заклепками. Он ощущал

в себе молчаливое присутствие всех своих мускулов, которые, согласуясь между собой, возводили статую из зыбкой тишины. По обе стороны от него шли два невидимых величественных и дружественных полицейских, исполненных нежности и ненависти к своей добыче. Кэрель прошел в тумане еще несколько метров, трава все шелестела. Ему хотелось найти какое-нибудь спокойное, уединенное, как келья, место, отдаленное и торжественное, пригодное для того, чтобы стать местом суда.

"Только бы не вышли на мой след", - подумал он.

Он пожалел, что, возвращаясь, не выпрямлял примятой им травы. Но, быстро осознав абсурдность своих страхов, он, тем не менее, подумал, что его шаги были достаточно легки и каждый стебель травы умно поднимется сам собой. В конце концов, тело найдут только к утру. Не раньше, чем рабочие отправятся на свою работу: именно они всегда обнаруживают следы преступлений, оставленные на дорогах. Туман ему не мешал. В нос ударял запах болота. Распростертые руки зловония сомкнулись над ним. Кэрель все время шел вперед. В какое-то мгновение он испугался, что может наткнуться на влюбленную пару под деревом, но в такое время это было маловероятно. Ветви и трава были сырыми, и пространство, все заполненное паутинами с висящими на них капельками, увлажняло по дороге лицо Кэреля. В течение нескольких секунд убийца, как зачарованный, глядел на волшебного нежного леса, опутанный лианами, которые позолотило в полумраке таинственное солнце, поднимавшееся из воздушной утробы, слепящая голубизна которой, казалось, излучала свет всех пробуждений. Наконец Кэрель очутился у дерева с огромным стволом. Он подошел к нему, осторожно обошел вокруг и, облокотившись на него, повернулся спиной к месту убийства, где находился труп. Он снял свой берет и взял его так, как мы уже описали выше. Он чувствовал над собой чудесный беспорядок темных ветвей и тонких лоскутков тумана и держал его перед собой, как привязной баллон. В его сознании уже четко вырисовывались все детали обвинительного заключения. В тишине душевной, переполненной глазами, ушами и дымящимися ртами комнаты Кэрель отчетливо различил бесстрастный, приглушенный и от этого еще более мстительный голос Прокурора :

- Вы зарезали своего соучастника. Причины этого убийства слишком ясны... (Здесь голос Прокурора, и сам Прокурор расплылись. Кэрель отказывался видеть эти причины, ему не хотелось думать о них, копаться в самом себе. Он слегка отвлекся от процесса. И еще сильнее прижался к дереву. Все великолепие этой церемонии снова явилось ему, когда он представил себе, как встает Прокурор.)

-Мы требуем голову этого человека! Кровь за кровь!

Кэрель находился в следственном изоляторе. Прижавшись к дереву, он продолжал извлекать из себя новые детали процесса, на котором решался вопрос о его жизни. Ему было хорошо. Он чувствовал себя под защитой дерева, которое сплетало над его головой свои ветви. Кэрель слышал, как где-то вдали перекликаются лягушки, но в основном кругом было так тихо, что к его страху перед трибуналом невольно добавилась тоска от одиночества и безмолвия. Поскольку в основе всего лежало убийство (абсолютная тишина, тишина столь почитаемой Кэрелем смерти), вокруг него были натянуты (можно даже сказать, из него исходили натянутые и нематериальные нити смерти) сети тишины, которыми он был опутан. Он еще сильнее углубился в свое видение. Он сделал его еще более отчетливым. Он как будто был там, и одновременно его там не было. Он присутствовал при вынесении приговора в зале суда. Он следил

за процессом и руководил им. Время от времени это затянувшееся мечтание прерывала заземленная и ясная мысль: "Не осталось ли на мне пятен?"- или: "А вдруг кто-то пройдет по дороге?",- но легкая улыбка, рождаясь на его губах, прогоняла страх. Однако не следует слишком доверяться открытости улыбки, ее власти рассеивать сумерки: улыбка способна вызвать страх; сперва на ваших обнаженных зубах появится зародыш чудовища, пасть которого будет иметь точную форму улыбки на ваших губах, потом чудовище разовьется в вас, сольется с вами, и будет в вас жить, и, наконец, станет еще более пугающим, превратится в рожденный от улыбки в темноте призрак. Кэрель улыбнулся. Дерево и туман защищали его от темноты и мести. Он вернулся к судебному заседанию. У подножия этого дерева он чувствовал себя монархом, он приказывал своему воображаемому двойнику изображать испуг, несогласие, доверие, страх, дрожь и трепет. Ему помогали воспоминания из прочитанного. Судебное заседание необходимо было прервать. Встал его адвокат. Кэрелю захотелось на минуту потерять сознание, раствориться в гуле, звучащем в его ушах. Нужно было оттянуть завершение процесса. Наконец Суд вернулся. Кэрель почувствовал, как он бледнеет.

- Суд приговаривает вас к смертной казни.

Вокруг него все померкло. Он сам и деревья уменьшились и его охватило удивление от осознания того, что он оказался бледен и слаб перед этим новым приключением, удивление, подобное тому, какое испытали мы, когда увидели, что Вейдман между двумя полицейскими оказался совсем не гигантом, лоб которого задевает верхние ветви кедров, а обычным застенчивым молодым человеком с мертвенно-бледным, немного восковым цветом лица, ростом один метр семьдесят сантиметров. В этот момент Кэрель почувствовал ужасное страдание от сознания того, что он живет, и услышал гул в ушах. Его отношение к собственным страданиям можно лучше понять, если описать то, что он испытал однажды перед лицом смерти: могильщики выкопали тело его матери, чтобы перезахоронить в другом районе кладбища, а Кэрель пришел слишком рано и оказался один перед гробом, который рабочие уже вытащили из ямы. Трава была мокрая, земля жирная, было довольно холодно. Кэрель слушал пение птиц, сидя на гробе, в котором гнила его мать. Запах, исходивший из щелей между досками, не мешал ему. Он естественно смешивался с запахом травы, вырытой земли и мокрых цветов. Ребенок впервые столкнулся с таким благородным явлением, как разложение обожаемого тела. Это было страдание, исходившее из самого себя и вписывавшееся в естественный порядок мира.

Он вздрогнул. Его плечи, бедра и ноги немного замерзли. Он стоял у подножия дерева, защищенный униформой из полотна и твердым воротом бушлата, с беретом в руках и пакетом опиума под мышкой. Он надел свой берет. Смутное чувство подсказывало ему, что это еще не конец. Оставалось исполнить последнюю формальность казни.

"Меня нужно казнить, ну что ж!"

Теперь мы можем понять, почему известный преступник сразу после ареста, который ничто вроде бы реально не предвещало, говорит судье: "Я чувствовал, что меня вот-вот схватят..." Кэрель встряхнулся, прошел немного вперед, и, помогая себе руками, поднялся на покрытую травой лужайку. Ветви касались его щек и рук: он почувствовал глубокую грусть, ностальгию по материнским рукам, оттого что эти колючие ветви были нежными и бархатистыми, на них осел туман, и они напоминали ему нежное свечение

женской груди. Несколько секунд спустя он был уже на узкой тропинке, потом на дороге и входил в город через ворота, но другие, не те, из которых он недавно вышел с приятелем. Рядом с ним кого-то не хватало.

- Забавно, когда ты совсем один.

Он слабо улыбнулся. Он оставил позади себя, в тумане, нечто необычное, лежащее на траве, комочек покоя и темноты, в лучах невидимого и нежного рассвета, нечто священное или проклятое, застывшее у подножия стены в ожидании разрешения войти в город после искупления и предварительного очищения. Он знал, что у трупа должно было быть бесцветное лицо, с которого стерты все морщины. Шагами длинными и упругими, своей немного раскачивающейся развязной походкой, из-за которой люди, даже не знавшие его, говорили о нем: "Этому парню на все наплевать", - Кэрель, совсем уже успокоившись, направился к "Феерии".

Мы представили это приключение как бы в замедленном виде. Мы не ставили перед собой цели испугать читателя, но хотели сделать это убийство как можно более живописным. Более того, этот же прием мы собираемся использовать, чтобы показать удивительные деформации тела и души нашего героя. Во всяком случае, чтобы не слишком надоедать читателю и учитывая то, что каждый в минуту отчаяния сам может проследить, как зарождается в его душе сложная и противоречивая идея убийства, мы от многого отказались. Нет ничего проще, чем заставить убийцу предстать перед своим братом. Вынудить его собственного брата убить его. Или заставить его самого убить или приговорить своего брата. Есть множество тем, из которых можно сплести отвратительный узор! Мы также не стали углубляться в тайные и непристойные предсмертные жертвы. Вик или Кэрель - у нас был выбор. Предоставим читателю самому догадываться обо всем этом. Однако следует помнить: Кэрель после своего первого убийства почувствовал, что он умер, то есть погрузился в глубинную сферу - точнее, в глубину гроба,- и, бродя вокруг обычных могил на обычном кладбище, он размышлял о будничной жизни живых, которые казались ему теперь странно бесчувственными, потому что он перестал понимать мотивы их поведения, их сущность, не ощущал больше биения их сердца. Его человеческая форма - то, что зовется плотской оболочкой,- продолжала тем временем существовать на поверхности земли, среди бесчувственных людей. И тогда Кэрель совершил новое убийство. Никакой поступок не казался ему совершенным, кроме такого, который способен был бы оправдать человеческую бесчувственность, так же как совершаемое им преступление. В действиях каждого преступника Кэрель замечал какую-нибудь деталь, которая, как видел только он, была ошибкой, способной его погубить. Жизнь среди собственных ошибок придавала ему ощущение легкости и крайней нестабильности, отчего казалось, что он порхает с одной сгибающейся тростинки на другую.

С появлением городских огней на лицо Кэреля снова вернулась его обычная улыбка. Когда он вошел в большую залу борделя, он уже был крепким, с ясным взглядом матросом, который просто гулял на берегу. Несколько секунд он в одиночестве потоптался среди танцующих, но к нему уже приближалась женщина. Это была высокая тощая блондинка, на ней было черное тюлевое платье, стянутое на уровне лобка - одновременно закрывая и подчеркивая его -- треугольником из черного меха с длинным ворсом, без сомнения из кролика, правда потертого и местами совсем облысевшего. Кэрель, глядя девице в глаза, легонько погладил мех, но подняться к ней отказался.

Вручив Ноно свой сверток с опиумом и получив за это пять тысяч франков, Кэрель понял, что настало время "привести приговор в исполнение".

Казнь должна была быть суровой. Если бы естественный ход событий не привел Кэреля в "Феерию", не приходится сомневаться, что убийца тайно устроил бы для себя какой-нибудь другой жертвенный обряд. Он продолжал улыбаться, глядя на массивный затылок содержателя публичного дома, согнувшегося над диваном, чтобы лучше рассмотреть опиум. Он рассматривал его слегка оттопыренные уши, лысый блестящий череп и мощную спину, а когда Норбер снова распрямился, перед Кэрелем предстало скуластое мясистое лицо с крепкой челюстью и сплюснутым носом. Все в этом человеке, которому уже перевалило за сорок, производило впечатление грубой силы. У него было волосатое, возможно, татуированное и наверняка сильно пахнущее потом тело борца. "Это будет суровое наказание".

-Послушай! Чего тебе нужно? Зачем тебе хозяйка? Объясни.

Кэрель перестал улыбаться, чтобы продемонстрировать, что серьезно относится к вопросу, и чтобы сопроводить свой ответ улыбкой, на которую только он был способен, и которая только и могла сделать его ответ безобидным. Он со смехом развязно тряхнул головой и ответил так, что это могло бы задеть кого угодно, только не Ноно:

-Ну, она мне нравится.

С этого мгновения лицо Кэреля покорило Норбера. Это был уже не первый смысленный парнишка, который требовал хозяйку, чтобы переспать с хозяином. Теперь оставалось только обговорить детали.

-Ну давай.

Он достал кубик из кармана своей куртки.

-Ну что, ты не передумал? Я бросаю?

-Давай.

Норбер присел и бросил на пол. Ему выпало пять. Кэрель поднял кубик. Он был уверен в своей ловкости. Натренированный глаз Ноно заметил, что Кэрель пытается словчить, но прежде, чем он успел вмешаться, цифра "два" была почти победоносно выкрикнута матросом. На мгновение Норбер застыл в нерешительности. Может, это шутка? Или... Сперва он было подумал, что Кэрель действительно хотел попробовать любовницу брата. Это мошенничество доказывало обратное. А парень совсем не похож на педика. Однако он был взволнован тем, как легко далась ему эта добыча. Поднявшись, он слегка пожал плечами и хмыкнул. Кэрель тоже встал. Он осмотрелся вокруг и весело улыбнулся от внутреннего сознания того, что идет на мучения. Он шел на это с отчаянием в душе, но и с глубоким внутренним убеждением, что это наказание необходимо ему для жизни. Во что он превратится? В педика. Он подумал об этом с ужасом. А что это такое, педик? Из какого теста это сделано? Что за этим стоит? Каким новым чудовищем ты становишься, и каково ощущение этой чудовищности? "Это" -- все равно, что сдать полицию. Он вспомнил легавого, и его красота поставила все на свои места. Иногда бывает, что какая-нибудь незначительная мелочь оказывает влияние на ход всей вашей жизни, так было и на сей раз.

"Целоваться не будем",- подумал он. И еще: "Я подставляю свою задницу, только и всего". Последняя мысль вызвала у него такую же реакцию, как если бы он подумал: "Я подставляю свою рожу".

Насколько изменится его тело? Охватившее его отчаяние слегка смягчилось сознанием того, что это наказание смывает с него убийство, которое он

так и не смог до конца переварить. Наконец, он был просто обязан заплатить за этот праздник, за это торжество, каковым всегда является соприкосновение со смертью. Всякое соприкосновение со смертью - это грязь, от которой нужно отмыться. И отмыться так тщательно, чтобы от тебя самого ничего не осталось. И снова возродиться. Но, чтобы возродиться, сначала нужно умереть. Потом ему уже никто не будет страшен. Несомненно, полиция может еще его схватить, перерезать глотку : значит, просто следует вести себя осторожнее, чтобы не выдать себя, но фантастическому трибуналу, существовавшему только в его воображении, Кэрель должен был представить доказательства того, что убийца наказан. Сумеет ли брошенный труп войти в город через ворота? Кэрель слышал, как это ооченевшее, плотно закутанное в мантию тумана длинное тело жалуется, едва слышно напевая изысканную мелодию. Это жаловался труп Вика. Он требовал для себя почестей, похорон и погребения. Норбер повернул ключ и оставил его в дверях. Это был большой, блестящий, отражавшийся в дверном зеркале ключ.

- Снимай штаны.

Слова хозяина прозвучали бесстрастно. Он уже расстегивал свою ширинку. С парнем, который специально смухлевал, чтобы его трахнули, ему все было ясно. Кэрель все еще стоял, расставив ноги, посередине зала и не шевелился. Женщины его никогда не волновали. Иногда ночью в гамаке он брал в руку свой член, ласкал его и тихонько кончал. Он даже не старался представить себе что-либо определенное. Твердости члена в руке было вполне достаточно, чтобы возбудить его, и в момент оргазма его рот кривился так сильно, что он чувствовал боль в лице и боялся, что так и останется навсегда с перекошенным ртом. Он смотрел, как Ноно расстегивает свои штаны. На протяжении всей этой молчаливой сцены глаза Кэреля не отрывались от пальцев хозяина, с трудом вытаскивавших пуговицы из петель.

- Ну что, ты решил?

Кэрель улыбнулся. И начал машинально расстегивать свои форменные брюки. Он сказал:

- Ты поосторожней, а? Кажется, это не так уж приятно.

- Ну давай, ведь не целочка же, небось.

Голос Норбера был глухим и злобным. На мгновение все тело Кэреля напряглось от негодования, оно стало прекрасным, шея выпрямилась, плечи неподвижно застыли, трепещущие узкие бедра и маленькие сжатые ягодички (которые из-за того, что ноги были расставлены, казались слегка приподнятыми) подчеркивали общее впечатление жесткости. Расстегнутые брюки болтались на его бедрах, как детский передник. Глаза его блестели. Все лицо и даже волосы излучали ненависть.

- Слышь, приятель, я ж те сказал, что это в первый раз. Не выводи меня из себя.

Внезапная резкость этого голоса подхлестнула Норбера. Его готовые к разрядке борцовские мускулы напряглись, и он так же резко ответил:

- Послушай, не вколачивай мне баки. Со мной это не пройдет. Ты что, меня за фраера держишь? Я же заметил, как ты прогнал фуфло.

И всей своей массой, охваченный негодованием от сознания того, что его обманывают, он вплотную приблизился к Кэрелю, так что их тела полностью, с головы до ног соприкоснулись. Кэрель не отступил. Голосом еще более низким и отчужденным Норбер добавил:

- Ну хватит уже. Ты что, не хочешь? Ведь ты же сам напросился. Вставай раком.

Такого приказа Кэрелю еще никто никогда не отдавал. И хотя приказ исходил не от старшего по званию, он должен был подчиниться этому силовому натиску и согнуться. Ему захотелось подраться. Мускулы его тела, руки, бедра, икры ног были наготове, напряжены, сжаты, взведены, он поднялся на цыпочки. И почти у самых зубов Норбера, дыша ему прямо в рот, Кэрель произнес:

- Ты ошибаешься. Я хочу твою жену.

- Посвисти еще.

Пытаясь повернуть его, Норбер схватил его за плечи. Кэрель попытался его оттолкнуть, но в это мгновение его расстегнутые штаны немного соскользнули. Чтобы не дать им окончательно упасть, он еще шире расставил ноги. Оба мужчины смотрели друг на друга. Матрос знал, что, несмотря на атлетическое сложение Норбера, он все равно сильнее него. Тем не менее, он поднял штаны и немного отступил. Мускулы его лица обмякли. Он сдвинул брови и, наморщив лоб, смиренно кивнул головой.

- Хорошо.

Двое мужчин, продолжая стоять лицом к лицу, вдруг отступили и одновременно заложили руки за спину. Необычная синхронность этого движения поразила их обоих. В нем заключался элемент согласия. Кэрель нежно улыбнулся.

- Ты был матросом.

Норбер шмыгнул носом и ответил с гордостью, голосом, в котором еще слышались злобные нотки:

- Солдат африканских дисциплинарных войск.

Только теперь Кэрель до конца почувствовал главную особенность голоса хозяина. Он был несгибаем. Казалось, что он опирается на выходящую из рта мраморную колонну. Именно этот голос и заставил Кэреля подчиниться.

- А?

- Солдат африканских дисциплинарных войск. Батальонов, если так тебе больше нравится.

Их руки одернули пояса и портупей, которые матросы из практических соображений обычно застегивают на спине - например, для того, чтобы избежать вздутия на животе под плотно облегающей курткой. Определенного рода пижоны, следуя моде на все морское и матросскую униформу, позаимствовали теперь эту манеру. Какая-то расслабляющая нежность разлилась по телу Кэреля. Хозяин происходил оттуда же, что и он. Из тех же самых строгих, наполненных благовониями таинственных замков, а эта сцена будет для него чем-то вроде продолжения обычных под палатками африканских батальонов приключений, о которых, встретившись в штатском, стараются не вспоминать. Наконец все было сказано. Кэрель должен был подвергнуться наказанию. Он смирился.

- Давай на кровать.

Гнев спал, как морской ветер. Голос Норбера стал ровным. Ответив "Хорошо", Кэрель почувствовал, что у него встает. Он уже полностью вытащил из тренчиков кожаный пояс и держал его в руке. Его брюки соскользнули ему на икры, обнажив колени и образовав на ковре что-то вроде густой массы, в которой увязали его ноги.

- Давай. Поворачивайся. Это недолго.

Кэрель отвернулся. Ему не хотелось видеть член Норбера. Он наклонился, опершись кулаками - в одном был зажат пояс - о край дивана. Расстегнувшись, Норбер в одиночестве застыл перед ягодицами Кэреля. Спокойным и легким движением он освободил свой отвердевший член из коротких кальсон и на мгновение, как бы взвешивая, задержал его в ладони. Он заметил, как его отражение многократно дробится в висевших в комнате зеркалах. Он был силен. И он был здесь хозяином. В зале стояла полная тишина. Норбер освободил яйца и, на секунду отпустив член, коснулся им своего живота, а потом, не спеша подавшись вперед, положил на него руку, как бы опираясь о гибкую ветвь, - ему показалось, что он опирается сам о себя. Кэрель ждал, опустив свою налившуюся кровью голову. Норбер взглянул на ягодицы матроса : они были маленькие, твердые, круглые, сухие и все покрытые густой коричневой шерстью, которая росла и на бедрах - но не так густо , - и в начале спины, под торчащей из приподнятой рубы майкой. Рисунки, на которых изогнутыми линиями изображены женские бедра, - вроде рисунков на разноцветных старинных подвязках для чулок: этот образ кажется нам наиболее подходящим для того, чтобы передать впечатление от обнаженных бедер Кэреля. Плавные линии, подчеркивающие поры нежной кожи, и завитки грязноватых серых волос делают их вид особенно непристойным. Вся чудовищность мужской любви заключается именно в этой обрамленной курткой и приспущенными брюками обнаженной части тела. Норбер посплюснул палец и смазал свой член.

- Вот так ты мне больше нравишься.

Кэрель не ответил. Запах опиума, лежавшего на кровати, вызывал у него тошноту. А член уже делал свое дело. Он вспомнил задушенного им в Бейруте армянина, который был нежен и хрупок, как медяница или птица. Кэрель спросил себя, не нуждается ли палач в ласке. Поскольку он ко всему относился серьезно, ему захотелось быть таким же нежным, как убитый им педик.

"Все же тот фраерок выдумывал для меня такие забавные кликухи. И он был так нежен со мной", - подумал он.

Но как продемонстрировать свою нежность? Какие для этого нужны ласки? Его железные мускулы оставались тверды и неподвижны. Норбер давил его своей тяжестью. Он проник в него спокойно, до самого основания своего члена, так что его живот коснулся ягодиц Кэреля, которого он властным и могучим движением внезапно прижал к себе, пропустив руки под животом матроса, чей член, оторвавшись от бархата кровати, выпрямился и, натянув кожу живота, ударился о пальцы Норбера, оставшегося совершенно равнодушным. Возбуждение Кэреля напоминало возбуждение повешенного. Норбер сделал еще несколько осторожных и ловких движений. Теплота внутренностей Кэреля поразила его. Чтобы сильнее почувствовать наслаждение и продемонстрировать свою силу, он вошел еще глубже. Кэрель не ожидал, что так мало будет страдать.

"Он не делает мне больно. Ничего не скажешь, он это умеет".

Он ощутил в себе присутствие чего-то нового и доселе незнакомого ему и точно знал, что после происшедшей с ним перемены он окончательно становится педиком.

"Что он скажет после? Только бы он поменьше пиздел", - подумал он.

Его ноги соскользнули, и он снова уперся животом в край дивана. Он попытался поднять подбородок и освободить зарывшееся в черный бархат лицо, но запах опиума дурманил его. Он испытывал смутную признательность к Норберу за то, что тот прикрывал его сверху, защищал его. В нем проснулась

легкая нежность к палачу. Он слегка повернул голову и, стараясь сдержать свое волнение, ждал, что Норбер поцелует его в губы, но ему не удалось даже увидеть лица хозяина, который не испытывал никакой нежности по отношению к нему и вообще не мог себе представить, чтобы один мужчина поцеловал другого. Норбер приоткрыл рот и сосредоточенно молчал, с таким видом, будто выполнял важную и ответственную работу. Он сжимал Кэреля с той же видимой страстью, с какой самка животного сжимает труп своего детеныша,- это обычно и называется любовью: сознание собственной отдельности, сознание, что ты сам раздвоился и смотришь на свое "я" со стороны. Оба мужчины слышали лишь собственное дыхание. Кэрель не оплакивал свое перерождение - и где? в стенах Бреста? Его закрытые темным бархатом глаза были сухи. Он выставил свои ягодицы назад.

- А теперь я.

Легко поднявшись на запястьях, он сжал ягодицы еще сильнее и почти приподнял Норбера. Но тот внезапно с силой привлек к себе матроса, схватив его под мышки, и дал ему ужасный толчок, второй, третий, шестой, толчки все время усиливались. После первого же убийственного толчка Кэрель застонал, сперва тихонько, потом громче, и наконец бесстыдно захрипел. Такое непосредственное выражение своих чувств доказывало Норберу, что матрос не был настоящим мужчиной, так как не знал в минуту радости сдержанности и стыдливости самца. Вдруг убийцу охватило сильное беспокойство, суть которого сводилась примерно к следующему.

"А вдруг он обыкновенный стукач?"- промелькнуло у него. В это же мгновение он почувствовал себя затравленным всеми силами французской Полиции - правда, не окончательно: лицо Марио только пыталось заменить лицо сжимавшего его в своих руках мужчины. Кэрель кончил прямо в бархат. А тот, что был на нем, безвольно уткнулся лицом в беспорядочно разбросанные и безжизненно свисавшие, как вырванная вместе с куском земли трава, кудри. Норбер не шевелился. Его челюсти, ослабив хватку, постепенно разжались и отпустили травяной затылок, который он укусил в момент оргазма. Наконец огромная туша хозяина осторожно оторвалась от Кэреля. Тот снова выпрямился. Он все еще держал свой ремень.

"Не прикидывайся шлангом, Робер, я отдрючил их всех. Если хочешь знать, у меня уже на конце мозоли. Всех. Всех, кроме тебя. Пойми, что тебя я просто не хотел. Можно сказать, что моей жене достаются только те, кто уже оприходован мной. Ты являешься исключением. Даже не знаю, почему. Не могу сказать, что ты мне не подходишь, и не подумай, что я приссал. Все остальные были такие же амбалы, как и ты,- не в обиду будь те сказано - я ведь не баклан какой-нибудь. В этом можешь быть уверен. Я ведь даже тебе ничего не предлагал. Меня это просто не интересовало. И заметь, хозяйка обо всем этом ничего не знает. Я никогда ей ничего не говорил. На кой это нужно. Да и вообще, я положил на это. Но поверь мне, они все оприходованы мной. Кроме тебя, конечно".

Пусть это был и не Робер, но все равно, он, рогоносец, только что трахнул парня с таким лицом, от которого все бабы наверняка были без ума. Ноно чувствовал свою силу: он мог одним своим словом нарушить невозмутимость обоих братьев. В то же время эта уверенность, едва появившись, уже была поколеблена сознанием того, что докер и матрос могут почерпнуть из их сходства и их двойной любви достаточно силы, чтобы сохранить свое

великолепное безразличие, ибо они были настолько поглощены своей двойной красотой, что не замечали ничего вокруг.

Его женственность иногда проявлялась в каком-нибудь чрезмерно утонченном жесте, например, когда он рукой отбрасывал назад свою свесившуюся, как листва плакучей ивы, шевелюру. Но скрип башмаков Кэреля свидетельствовал о его мощи. Тяжелый и мерный ритм его шагов создавал такой шум, что ему начинало казаться, что под его ногами хрустит все ночное небо и звезды на нем.

Факт обнаружения убитого моряка никого особенно не тронул и не удивил. Преступления в Бресте случаются не чаще, чем в любом другом месте, но туманы, дожди, тяжелое и низкое небо, серый гранит, воспоминания о каторжниках, присутствие в двух шагах от города, сразу же за его стенами - и из-за этого еще более впечатляющего - здания каторжной тюрьмы Бужан, невидимой, но прочной нитью связывающего старых моряков, адмиралов, матросов и рыбаков с тропическими районами, делают здешнюю атмосферу настолько гнетущей и в то же время лучезарной, что она кажется нам не просто благоприятной, а как бы специально предназначенной для того, чтобы здесь процветали убийства. Именно процветали, иначе не скажешь. Здесь кажется естественным, что в любом месте туман может разорвать чья-то нога, а револьверная пуля, проткнувшая его на высоте человека, продырявит бурдюк, и кровь хлынет вдоль перегородок внутрь этой призрачной стены. Ударившись, можно поранить туман и забрызгать его звездами крови. Стоит только протянуть руку (ставшую вдруг такой далекой и чужой), как натыкаешься тыльной стороной ладони или крепко обхватываешь пальцами теплый, вибрирующий, могучий, уже освобожденный от белья обнаженный член докера или матроса, застывшего в ожидании, сторающего от нетерпения и желания запустить в гущу тумана поток своей спермы (эти вечные контрасты: кровь, сперма и слезы!). Ваше лицо так близко от невидимого лица, что краска волнения разливается по нему. Все лица, смягченные и очищенные туманом, бархатистые от неуловимых обрамляющих щеки и уши капелек, прекрасны, тела же становятся тяжелыми, набрякшими и необычайно сильными. Под голубые холщовые брюки, заплатанные и поношенные (а докеры - эта деталь кажется нам особенно волнующей - носят иногда еще и красные полотняные штаны, по цвету напоминающие кальсоны заключенных галерников), докеры и портовые рабочие часто поддевают еще одни, что делает их тяжелыми, как броня, - и, может быть, ваше волнение еще усилится, когда вы почувствуете, что член, на который натолкнулась ваша рука и который доставил вам так много радости, преодолел столько тканей; что понадобилось столько усилий грязных и толстых пальцев, чтобы расстегнуть эти два ряда пуговиц, - к тому же эта двойная одежда утолщает бедра мужчины. Прибавьте к этому еще и неясность из-за тумана.

Тело доставили в морг портовой больницы. Вскрытие ничего не дало. Два дня спустя его похоронили. Морской префект адмирал Д...де М... отдал полиции приказ провести самое серьезное негласное расследование и каждый день информировать его об этом. Он опасался, что это происшествие может отрицательно повлиять на моральное

состояние флота. Инспектора с фонарями обшарили все кустарники, ветки и траву в канавах. Они тщательно осмотрели все мусорные кучи. Они прошли совсем рядом с деревом, под которым Кэрель выслушал свой приговор. Но они не обнаружили ничего: ни ножа, ни следов, ни клочков одежды, ни белокурых волос. Ничего, кроме обыкновенной зажигалки в траве у дороги рядом с мертвым, той самой зажигалки, которую Кэрель дал молодому моряку. Полицейские не могли точно сказать, кому принадлежал этот предмет: убийце или убитому. Опрос, проведенный по этому поводу на "Мстителе", закончился безрезультатно. Впрочем, эту зажигалку Кэрель накануне преступления машинально подобрал среди бутылок и стаканов на столе, где пел Жиль Тюрко, которому она и принадлежала. Ему ее подарил Тео.

Так как преступление было совершено в кустах около земляного вала, полиция считала, что, возможно, его совершил педераст. Зная, с каким ужасом общество отбрасывает от себя все, что касается педерастии, можно было бы удивиться, что полиция сразу же пришла к подобному заключению. Впрочем, полиция сначала всегда усматривает в совершении преступлений только два мотива: денежный интерес или любовная драма; когда же один из участников - моряк или был им, она просто решает: сексуальное извращение. И лихорадочно цепляется за эту мысль. Полиция занимает в обществе примерно такое же положение, какое занимает мечта в повседневной человеческой жизни. То, что благовоспитанное общество запрещает самому себе, при случае позволено полиции. Потому, может быть, она и вызывает у всех смешанное чувство притяжения и отталкивания. В ее обязанности входит осушать мечты, полиция задерживает их в своих фильтрах. Этим и объясняется, почему полицейские так похожи на тех, за кем сами охотятся. Ошибается тот, кто думает, что только для того, чтобы лучше обмануть, сбить со следа и заманить дичь, инспектора так хорошо под нее подлаживаются. Более внимательно взглянув на личную жизнь Марио, мы обнаружим, что он регулярно посещает бордель и дружит с его хозяином. Без сомнения, Норбер для него знаменует ту границу, которая отделяет обычное общество от преступного мира. И к тому же он сам перенимает - если у него их не было всегда - с удивительной легкостью манеры и арго хулиганов, особенно во время опасности. Наконец, его тайная любовь к Дэдэ указывает на то, что он не совсем подходит для полиции, где нужно быть совершенно чистым. (Эти предположения кажутся довольно противоречивыми. Мы увидим, как они реализуются в действительности.) Погруженная в занятия, от которых сами мы отказываемся, полиция оказывается проклята (это относится в большей степени к тайной, чем к обычной полиции) и защищена ими, легавые в своей темно-синей форме представляются нам нежными прозрачными блохами, маленькими слабенькими шутниками, которых можно легко раздавить ногтем, их тело нам тоже кажется голубым, потому что они питаются темно-синим джерси. Проклятие заставляет их яростно погружаться в свою работу. При первом же удобном случае полиция цепляется за идею педерастии, тайну которой она, к счастью, неспособна разгадать. Инспектора смутно чувствовали, что убийство матроса около земляного вала не совсем обычное, на месте убитого

должен был быть очищенный от денег и драгоценностей, брошенный на траве педик. И тогда уже можно представить себе логического убийцу с деньгами в карманах. Эта аномалия, без сомнения, немного смущала полицейских, нарушая стройный ход их мыслей, однако не слишком сильно. Марио не было поручено вести именно это дело. Сперва он вообще его почти не заметил и мало им интересовался - опасность, проистекающая из факта освобождения Тони, занимала его гораздо больше. Но если бы он и заинтересовался этим преступлением, то вряд ли в большей степени, чем кто-либо другой, сумел бы усмотреть в основе этой драмы извращение. В действительности Марио, как и все другие герои этой книги (кроме лейтенанта Себлona, который занимает в книге особое место), не являлся педерастом, и для него окружающие делились на тех, кто заставлял себя пердоложить и платил за это, - только их он и считал педиками, - и всех остальных. Неожиданно дело перешло к Марио. Ему казалось, что на его шее сжимается петля хорошо организованного коварного заговора, и ему хотелось его разоблачить. Дэдэ вернулся, ничего толком не узнав; тем не менее, Марио был уверен, что подвергается опасности: более того, его охватила безумная идея, что, действуя быстро и решительно, он сумеет опередить смерть и что даже если его убьют, смерть не догонит его. Его отвага подкреплялась желанием ослепить собственную гибель. Тем не менее, в душе он не терял надежды договориться с врагом, прибегнув к уловке, о которой мы в свое время еще расскажем: Марио просто ждал удобного случая. Тогда он сумеет продемонстрировать свою храбрость. Полицейские стали искать среди известных педиков. В Бресте их было мало. Будучи крупным военным портом, Брест, в сущности, оставался маленьким провинциальным городком. Законченные педерасты - те, кто сами осознавали себя таковыми, - старались там не высовываться. Они, может быть, и были снедаемы постоянным тайным желанием пощупать мужской член, но на вид это были вполне безупречные мирные буржуа. Ни один легавый не мог предположить, что обнаруженное около земляного вала убийство явилось естественной трагической развязкой страстей, которые бушевали на таком внушительном и солидном военном судне. Несомненно, полиция слышала и о мировой известности "Феерии", но репутация патрона всегда кажется непоколебимой: ведь никто не знает о его связях с докерами или с кем-нибудь еще, кто его трахает или кого трахает он сам. Конечно, эта репутация была мифом. Но Марио поймет это лишь позже, когда Норбер, как бы в шутку, расскажет ему о своих отношениях с Кэрелем. На следующий день после того чудесного вечера поднявшийся на палубу из трюма Кэрель был весь черный. Густая мелкая пыль покрывала его волосы, делая их еще более жесткими, его кудри окаменели, его лицо, обнаженный торс, голубое полотно его брюк и голые ступни были покрыты этой пылью. Он пересек палубу и направился на корму.

"Мне нельзя слишком расслабляться, - думал он на ходу, - хотя единственное, на что они способны - это отправить меня на гильотину. А это не так уж страшно. Они ведь не могут убивать меня каждый день".

Этот маскарад был ему на руку. Кэрель уже представлял себе - и впервые намеревался извлечь из этого выгоду - смятение лейтенанта Себлona, которого выдавали нахмуренные брови и чрезмерная строгость

голоса. Поначалу Кэрель заблуждался на его счет. Он был простым матросом и ничего не понимал в манерах своего лейтенанта, который наказывал его из-за пустяков, цепляясь за малейший предлог. Но однажды офицер, проходя мимо машинного отделения, запачкал себе руки машинным маслом. Он повернулся к находившемуся поблизости Кэрелю и неожиданно заискивающим голосом спросил:

- У вас есть тряпка?

Кэрель достал из своего кармана чистый, аккуратно сложенный носовой платок и протянул ему. Лейтенант вытер руки и оставил платок себе.

- Я сам выстираю его. Вы потом заберете.

Несколькими днями позже лейтенант нашел повод, чтобы подойти к Кэрелю и одернуть его, как ему казалось, резким окриком:

- Вы разве не знаете, как положено носить берет?

В то же мгновение он схватил красный помпон и сорвал с матроса головной убор. От вида рассыпавшейся на солнце прекрасной шевелюры, офицер почти выдал себя. Внезапно его руки как бы налились свинцом. И уже изменившимся голосом, протягивая удивленному матросу головной убор, он добавил:

- Вам, конечно, нравится походить на хулигана. Вы достойны...(он поколебался, едва не сказав : "коленипреклонения, прикосновения крыльев серафима, аромата лилий...") Вы достойны наказания.

Кэрель взглянул ему в глаза и произнес убийственно невозмутимым голосом:

- Вы закончили с моим носовым платком, лейтенант?

- А! Действительно! Зайдите за ним.

Кэрель последовал за офицером в его каюту. Тот поискал платок, но не нашел его. Кэрель ждал, стоя неподвижно, навывтяжку. Тогда лейтенант Себлон взял один из своих чистых вышитых носовых платков из белого батиста и протянул матросу.

- Извините меня, я не могу его найти. Может быть, возьмете этот?

Кэрель равнодушно кивнул головой.

-Я обязательно его найду. Я отдал его в стирку. Я почти уверен, что вы не сумели бы выстирать его сами. Вы этого не умеете.

Кэрель был слегка ошеломлен жестким взглядом офицера, сопровождавшим эту фразу, произнесенную агрессивным, почти обвинительным тоном. Тем не менее, он улыбнулся.

- Заблуждаетесь, лейтенант. Я-то все умею делать.

- Никогда бы не поверил. Вы, должно быть, относите ваше белье маленькой шестнадцатилетней сирийке, и она возвращает его вам выглаженным... - тут голос лейтенанта Себлона немного дрогнул. Он понял, что он не должен был произносить того, что собирался произнести, и, помолчав секунды три, добавил : "... выглаженным маленьким утюжком".

- Я не хочу рисковать. Я не знаю в Бейруте ни одной девки. А что касается стирки, то я сам стираю свое белье.

Теперь Кэрель заметил, что офицер немного смягчился, хотя причины этого были ему неясны. Внезапно с удивительным, свойственным только молодым людям, не склонным к постоянному

кокетству, умением пользоваться своей внешностью он придал своему голосу немного игривую модуляцию, и его тело расслабившись, покрылось от затылка до икр - вследствие незаметного сгиба выставленной вперед ноги, - множеством изысканных складок и изгибов, заставивших Кэреля физически ощутить наличие у него плеч и ягодиц. Достоинства его фигуры подчеркивались перемежающимися ломаными линиями, в точности как на картине, не раз встававшей в воображении знавшего толк в живописи офицера.

-А?

Лейтенант взглянул на него. Кэрель застыл в неподвижной грациозной позе. Он улыбался. Глаза его блеснули.

- Ну, в таком случае...

Лейтенант небрежно растягивал слова...

- Ну...

И наконец, стараясь не показать своего волнения, выложил на одном дыхании:

-... Ну, если вы так хорошо работаете, не хотите ли послужить некоторое время моим ординарцем?

- Я-то хочу, лейтенант, только как же быть с моими нынешними обязанностями?

Кэрель произнес это очень просто, и так же просто он согласился стать ординарцем. Хотя он и не знал, что это любовь вдохновляла замечания и серьезные наказания, которыми он был обязан лейтенанту, они все внезапно, разом, преобразились в его глазах, потеряв свой изначальный смысл, и превратились во "взаимоотношения", которые уже давно стремились стать союзом, соглашением двух мужчин. У них были общие воспоминания. Их сегодняшнее соглашение уже имело прошлое.

- Как? Я все улажу. Будьте спокойны, вы недолго останетесь без повышения.

Лейтенант думал, что никак не проявил свою любовь, и в то же время надеялся, что ясно дал о ней понять. Он прекрасно осознавал, что может повлечь за собой эта сцена, когда, без всякой на то необходимости, он открыл свой старый портфель из крокодиловой кожи с запачканным машинным маслом носовым платком, который уже давно засох и был мало похож на себя, - Кэреля позабавили эти игры в прятки, ибо он очень хорошо все видел. Он не сомневался, что сегодня его черная и ставшая под слоем пыли более внушительной физиономия будет неотразима и офицер окончательно потеряет самообладание. Может быть, он даже "признается"?

"Посмотрим. Может, он и не врубится".

От охватившего его волнения его удивительное тело все светилось.

Кэрель вспомнил о своей звезде, каковой являлась его улыбка. Звезда засияла. Кэрель шел вперед размашистым и твердым шагом. Он слегка покачивал своими узкими бедрами, и немного выступавшие поверх схваченных широким кожаным ремнем брюк белые кальсоны соблазнительно колыхались. Без сомнения, он уже заметил, что взгляд лейтенанта часто задерживается на этой части его тела, и, конечно, понял, что здесь находится один из главных источников его очарования. Он вполне трезво осознавал это, иногда улыбался своей обычной грустной улыбкой. Его плечи тоже слегка покачивались, но это движение, так же как движение бедер и рук, было сдержаннее, чем обычно, и как бы меньше

рассчитано на внешний эффект. Он был сосредоточен. Можно даже написать: Кэрель сосредоточенно входил в свою роль. Подходя к каюте лейтенанта, он надеялся, что тот с запозданием заметил пропажу часов. Ему хотелось, чтобы его вызвали именно из-за этого.

- Я отмажусь. Мне ничего не стоит втереть ему шары...

Но в тот момент, когда он уже почти взялся за дверную ручку, ему вдруг страстно захотелось, чтобы часы, которые уже вернулись к лейтенанту, ибо Кэрель снова тайком положил их на свое место в ящике, остановились из-за лопнувшей пружины, какой-нибудь поломки или - в своих мыслях Кэрель дошел даже до этого - просто по воле милостивой судьбы и собственному желанию уже соблазненных им часов.

- Будь что будет. Если он там, наверху, только пикнет, я плюну ему в харю, это уж точно.

Лейтенант ждал его. Первый же исполненный бесконечной нежности взгляд, брошенный на лицо и торс Кэреля, позволил тому почувствовать свое могущество: исходящие от его тела лучи пронизывали все существо офицера. Этот очаровательный, тайно обожаемый им белокурый юноша даже обнаженным казался бы ему преисполненным особого величия. Слой угля был не настолько плотным, чтобы полностью скрыть светлый тон волос, бровей и кожи и розоватый оттенок губ и ушей. Он представлял собой что-то вроде вуали. И Кэрель иногда кокетливо и даже с нескрываемым волнением приподнимал ее, подув на свою руку или дотронувшись до завитка волос.

- Вы слишком стараетесь, Кэрель. Вы беретесь за каторжный труд, даже не предупредив меня. Кто вам приказал идти в кочегарку?

Лейтенант старался говорить сухим тоном. Он с трудом сдерживал свое волнение. Ему стоило огромных усилий отвести свой взгляд в сторону и не рассматривать слишком явно ширинку и бедра Кэреля. Однажды, когда Кэрель в ответ на предложенный стакан портвейна сказал, что из-за триппера не может пить спиртное (Кэрель лгал. Внезапно, чтобы еще сильнее возбудить желание лейтенанта, ему пришлось в голову придумать себе эту болезнь необузданного "распущенного самца"), Себлон, введенный в заблуждение этими словами, сразу представил себе под голубым полотном опухший член, текущий, как пасхальная свеча, в которую инкрустированы пять зернышек ладана. Он злился на себя за то, что не может оторвать взгляда от мускулистых, припудренных угольной пылью рук с позолоченными вьющимися волосками. Он подумал:

"Если бы именно Кэрель был убийцей Вика! Но это невозможно. Кэрель и так слишком прекрасен от природы, красота преступления ему не нужна. Что бы он стал делать с этим украшением? Они с Виком даже не были друзьями. Значит, должны были бы существовать какие-то тайные отношения, свидания, объятия, скрытые поцелуи".

Кэрель ответил ему так же, как он ответил бы боцману:

-Но...

Как ни стремителен был взгляд лейтенанта, Кэрель уловил его. Он улыбнулся еще шире и, переставив ногу, круто повернул бедро.

-Вам не нравится работать здесь?

Оттого, что в его словах невольно прозвучали просительные нотки, офицер почувствовал смущение и покраснел, он заметил, как нежно задрожали черные ноздри Кэреля, а красивая впадинка, соединяющая

носовую перегородку с верхней губой, от усилий, прилагаемых им к тому, чтобы сдержать улыбку, восхитительно затрепетала.

- Да нет, мне здесь нравится. Но это просто чтобы помочь корешу - Кола.

- Он мог бы найти себе другого помощника. У вас так много здоровья.

Ради него вы готовы вдыхать пыль?

- Нет, но...а потом я, вы знаете...

- Что? Что вы хотите сказать?

Кэрель перестал улыбаться. И произнес:

- Ничего.

Офицер был слегка задет. Было достаточно одного его слова, чтобы отправить Кэреля в душ. Несколько секунд они оба, как бы в нерешительности, смущенно молчали. Наконец Кэрель произнес:

- Это все, что вы хотели мне сказать, лейтенант?

- Да. А что?

- Да нет, ничего.

Офицеру показалось, что ослепительно улыбающийся матрос держится с ним немного развязно. Чувство собственного достоинства подсказывало ему отослать Кэреля, но он не находил в себе сил сделать это. Если бы сейчас, не дай Бог, Кэрель сам решил спуститься в трюм, влюбленный последовал бы за ним. Присутствие в каюте полуобнаженного матроса сводило его с ума. Он погружался в ад, спускался по ступеням черного мрамора и уже почти добрался до дна колодца, куда сообщение об убийстве Вика ввергло его. Ему хотелось вовлечь в это торжественное сошествие и Кэреля. Участие того во всем этом было необходимо ему. Какое тайное желание, какое откровение, какое ослепительное сияние скрывалось у него под этими сверхъестественно черными штанами? И какая необычная материя покрывала все это? Без сомнения, это была всего лишь угольная пыль - все прекрасно знают, что это такое, - но это такое обыкновенное и простое, хорошо пристающее к рукам и лицу вещество придавало молодому белокурому моряку таинственное могущество фавна, идола, вулкана, меланезийского архипелага. Это был он, но уже как бы и не он. Лейтенант, стоя перед Кэрелем, которого он страстно желал и к которому не осмеливался даже приблизиться, сделал рукой нервный, едва заметный жест. Кэрель видел бушевавшее в глубине устремленных на него глаз волнение, отмечая про себя все его оттенки, и, как если бы этот давивший на Кэреля груз вынуждал его к этому, он улыбался под взглядом и массой нависшего над ним лейтенанта, хотя ему и приходилось напрягаться, чтобы вынести его. В то же время он понимал всю серьезность этого взгляда, принадлежавшего охваченному отчаянием мужчине. И все-таки, поведя в пустоте плечами, он подумал про себя:

"Педик!"

Он презирал офицера. Не переставая улыбаться, он попытался осмыслить эту плохо укладывающуюся в голове идею "педерастии".

-""Педик" - что это такое? Педик? Он педик?" - думал он. Его рот незаметно сжался, и губы скривились в презрительной гримасе.

Произнесенная им мысленно фраза ввергла его в легкое оцепенение: «Меня ведь тоже трахнули". Смутная и еще не уложившаяся в его сознании мысль не вызвала в нем протеста, но он почувствовал легкую грусть и поймал себя на том, что сжимает свои ягодицы - так ему, во всяком случае, показалось, - стараясь не касаться ими полотна штанов. От этой неопределенной, но

печальной мысли по его позвоночнику прокатилось несколько волн, которые, достигнув его черных плеч, покрыли их гусиной кожей. Кэрель поднял руку и пригладил волосы у себя за ухом. Этот жест, обнаживший бледную и напряженную, как живот форели, подмышку, был так прекрасен, что глаза доведенного до исступления офицера уже не могли вынести его. Его глаза молили о пощаде. Если бы он даже опустился на колени, он не смог бы выразить свою униженность сильнее, чем это сделал его взгляд. Кэрель чувствовал свое могущество. Хотя он и презирал лейтенанта, сейчас у него не было желания насмехаться над ним. Ему казалось бесполезным играть своим очарованием, ибо он ощущал в себе пробуждение новых, доселе неведомых ему сил. Казалось, они поднимаются из самого ада, но из той области ада, где тело и лицо остаются прекрасными. Кэрель ощущал на себе угольную пыль, как женщины на своих руках и бедрах ощущают складки ткани великолепных королевских нарядов. Этот неравномерно покрывающий его обнаженную кожу грим делал его всемогущим. Кэрель ограничился тем, что придал своему улыбающемуся лицу более суровое выражение. Он был уверен, что лейтенант никогда не решится заговорить с ним о часах.

- Ну и что вы собираетесь делать?

- Не знаю. Я в вашем распоряжении. Только там внизу ребята остались одни.

Офицер мгновенно сообразил. Послать Кэреля в душ значило разрушить все это волшебное очарование, подобного которому ему еще никогда не приходилось испытывать. Так как матрос снова будет завтра здесь, рядом с ним, было бы предпочтительней оставить его покрытым этой драгоценной пеленой. Может быть, офицеру в течение дня представится удобный случай спуститься в трюм, и он сможет застать там это напоминающее гигантский сгусток ночного воздуха существо за занятием любовью.

- Хорошо. Ладно, идите.

- Не беспокойся, лейтенант. Завтра я обязательно буду здесь.

Кэрель отдал честь и повернулся на каблуках. С тоской терпящего кораблекрушение, уносимого течением прочь от спасительных островов, преисполненный очарования от развязного и заговорщического тона, каким было произнесено это впервые обращенное к нему "ты", прозвучавшее в последних словах Кэреля, офицер смотрел, как этот ослепительный и точеный стан, эта талия, эти плечи и этот затылок безвозвратно удаляются от него, хотя бесчисленные протянутые им вслед невидимые руки продолжали удерживать и защищать все эти хрупкие сокровища. Кэрель вернулся в кочегарку, он делал это теперь после каждого совершенного им убийства. Если в первый раз он поступил так, чтобы возможные свидетели его не узнали, то в дальнейшем он стал испытывать потребность быть с головы до ног покрытым углем, чтобы снова обрести свою силу и чувство безопасности. Его сила заключалась в его красоте и в том, что он не побоялся скрыть ее под жестокой маской, он был преисполнен сознания собственной силы и, не видимый ни для кого, скрывался в тени своего могущества, в самом отдаленном уголке самого себя, он внушал окружающим страх и знал, что на самом деле он очень нежен, он чувствовал себя могучим негром из дикого племени, в котором убийство принято считать самым благородным занятием.

"К тому же, черт побери, у меня ведь теперь есть

драгоценности!"

Кэрель знал, что определенная сумма - особенно золотом - дает право на убийство. Убийство в этом случае становится "важным государственным делом". Он чувствовал себя негром среди белых, его чудовищность и недоступность для законов мира были еще более непостижимы оттого, что он был обязан этой исключительностью всего лишь едва наложенному гриму, причем из самой обычной угольной пыли - но сам Кэрель являлся доказательством того, что угольная пыль не так уж и обычна, если, попав на кожу, способна так переменить человеческую душу. Его сила заключалась в том, что, будучи для других абсолютно темен и невидим, для самого себя он оставался потоком света; его сила заключалась и в том, что он всегда мог погрузиться в глубину корабельного чрева. Суровость и скрытая нежность окружающих его тяжелых предметов волновали его. И потом, покрыв вуалью свое лицо, он как бы тайком облачался в своеобразный траур по своей жертве. Теперь, в отличие от предыдущих случаев, он не мог позволить себе говорить о деталях своего преступления. Особенно ему следовало опасаться одного из матросов в котельной, чья столь же броская, как и у него, красота была способна вырвать у него признание. По дороге в трюм он сказал себе:

- Про часы он помалкивает.

Если бы лейтенант в своем воображении не пытался приписать Кэрелю убийство Вика, возможно, ему и показалось бы удивительным, что в этот и без того необычный день его ординарец сам решил отправиться на работу в кочегарку. Но он был слишком взволнован, чтобы обратить внимание на это странное совпадение. И когда двое занимавшихся этим делом полицейских допрашивали на борту команду, он не высказал вслух предположения, что Кэрель мог быть в этом замешан. Но случилось следующее: в глазах остальных офицеров, привыкших к слащавым и жеманным манерам высшего света, изысканность речи и манер лейтенанта, неожиданные модуляции его голоса легко сходили за обычную светскую утонченность, полицейские же сразу безошибочно распознали в нем педика. Потому что если матросам он и старался пустить пыль в глаза суровыми интонациями голоса и подчеркнутой краткостью - иногда он доходил до телеграфного стиля - своих приказов, то полицейских он просто испугался. Увидев их, он так растерялся, что его поведение стало напоминать поведение истеричной девицы.

Первым к нему обратился Марио.

-Я извиняюсь, что побеспокоил вас, лейтенант...

-Вы абсолютно правы.

Эта, казалось бы, ничего не значащая фраза была произнесена им совсем не к месту и прозвучала развязно и цинично. Полицейский подумал, что он строит из себя умника, и это его разозлило. Лейтенант был испуган, и чувствовал смущение. Марио продолжал свой допрос более грубо. На довольно безобидный вопрос: "Вы не замечали, не испытывал ли в последнее время Вик страха перед кем-нибудь из своих товарищей?" - Себлон неожиданно ответил, причем допрашивающие заметили, как при этом судорожно сжалось его горло:

- А как, вы думаете, я бы мог узнать, что здесь кого-то трахают?

Эта оговорка заставила его покраснеть. Он испугался еще сильнее.

Ответы офицера показались Марио странными. Лейтенант знал, что в словах таится для него главная опасность, но в них же заключается и его спасение, и это побуждало его говорить еще больше. Он сказал:

- Зачем мне было интересоваться личными отношениями этих ребят? Если матрос Вик и был замешан в каком-нибудь темном деле, я ничего не знаю.

- Естественно, лейтенант, но иногда можно кое-что случайно услышать.

- Вы шутите. Я не шпионю за людьми. И поверьте мне, даже если эти молодые люди и поддерживают отношения с какими-нибудь подозрительными личностями, они не станут этим хвастаться. Я думаю, что самое главное происходит во время их встреч...

Он поймал себя на том, что сейчас начнет воспевать гомосексуальную любовь, и хотел было замолчать. Но подумав, что его внезапное молчание может показаться инспектору странным, небрежным тоном добавил:

- У этих подозрительных типов всегда такое волнующее сложение...

Это было уже слишком. Он сам заметил двусмысленность своего замечания, а слово "волнующее" прозвучало так, что главный акцент был сделан сначала на "волну", а потом оно как бы выбрасывало в радостном призыве крылья и требовало "еще". Для полицейских этого было достаточно. Не задумываясь особенно над тем, что, собственно, привело их к такому умозаключению, они решили, что офицер сам как-то связан с этими темными личностями. Сформулировать их общее впечатление можно было бы примерно так: "он говорит об этом с симпатией" или "кажется, ему на это не наплевать". Короче, он показался им подозрительным. К счастью, у него было алиби, так как в ночь преступления он находился на борту. Когда разговор был уже окончен, но два полицейских еще не успели уйти от него, лейтенант попытался набросить на себя синюю шинель, и в его жесте вдруг промелькнуло столько быстро и неловко исправленного кокетства, что сказать, что он ее просто надел, было бы слишком неточно. Тут больше подходит слово, которым он сам невольно обозначил свой жест: "облачился". Это окончательно смутило его, и он решил, что больше никогда не будет прикасаться к своей одежде при посторонних. Кэрель дал десять франков на венок Вику. Вот еще несколько взятых наугад отрывков из личного дневника.

"Этот дневник напоминает молитвенник.

Господи, позволь мне укрыться за моими зябкими жестами, подобно тому как усталый англичанин зябко кутается в свой плед, а случайная незнакомка - в свою шаль. Чтобы я безбоязненно мог глядеть в лица встречаемых мужчин, Ты дал мне позолоченную шпагу, галуны, ордена Почетного легиона, офицерское звание. Эти аксессуары помогают мне... Они позволяют мне ткать вокруг себя невидимое кружево с грубым рисунком. Эта грубость доводит меня до изнеможения и спасает меня. Когда я состарюсь, я наконец- то смогу избавиться от всего этого, спрятаться и превратиться в смешного блеющего маньяка в пенсне в железной оправе, с целлулоидным воротничком и накрахмаленными манжетами.

Кэрель жаловался своим приятелям, что он стал жертвой рекламной кампании. А я жертва рекламы и жертва жертвы рекламы.

Офицерская фуражка делает мое лицо суровым. Закрывая лоб, она подчеркивает решительность и жесткость складок вокруг моего рта. Кажется, лоб является знаком моей женственности: стоит мне снять фуражку, и эти складки становятся мягкими и безвольными. Они расплываются.

Какая неожиданная радость! Радость захлестнула все мое существо! Мои руки случайно обрисовали в пространстве, на уровне груди -- две женские груди, которые, казалось, неожиданно у меня выросли. Я был счастлив. Я снова и снова повторяю этот жест и исполнен блаженства. Вот настоящая полнота. Я переполнен. То есть нет: я переполнена. Я начинаю все сначала. Я опять ласкаю свои воздушные груди. Они прекрасны. Они тяжелы, мои руки взвешивают их. Я стояла тогда на борту лицом к ночному пространству и слушала гул Александрии. Я ласкала свои груди, свои бедра. Я касалась своих чувственных выпуклых ягодичек. За моей спиной был Египет: пески, сфинкс, фараоны, Нил, арабы, кварталы резерваций и чудесное приключение, сделавшее из меня ту, которой я теперь являюсь. Я хочу, чтобы они немного походили на груши.

И на сей раз я опять незаметно для себя увлек за собой дверные занавески. Я почувствовал, как они окутывают меня своими складками, и мне захотелось освободиться от них великолепным упоительным жестом, жестом раздвигающего воду пловца.

Я возвращаюсь. Моя сигарета еще дымит в пальцах матроса. Помятая сигарета. Она дымится и слегка шевелится, зажата неподвижными пальцами Кэреля, не подозревающего о странной жизни, которую он дает этому окурку. Я не мог оторвать взгляд не столько от пальцев, сколько от ожившего благодаря им предмета. И какая это утонченная, исполненная грациозных, элегантных и мерцающих движений жизнь! Кэрель слушает, как один из его приятелей рассказывает ему о своих похождениях в борделе.

"Меня никто не заметил". Способен ли я кого-нибудь очаровать? А кто еще, кроме меня, ощущает очарование Кэреля? Мог бы я стать им? Смог бы я забрать себе все его самые прекрасные украшения: его волосы, мошонку? Его руки?

Чтобы рукава пижамы не мешали мне драть, я засучил их. Этот простой жест делает меня похожим на борца, атлета, в таком виде я и предстаю перед Кэрелем, я кажусь себе укротителем. Но все завершается грустным ощущением полотенца на животе".

Мы не ставим перед собой задачу на примере двух-трех персонажей - или, вернее, героев, потому что их рождение напоминает рождение героев сказок, - последовательно показать все свойственные людям низменные наклонности. Скорее, нам хотелось бы проследить за тем, что происходит в наиболее скрытой и асоциальной части нашей собственной

души. Творец, создавший всех тварей, невольно отягощает их всеми грехами им же самим созданного мира, он стремится очистить, спасти их, тогда как сам остается над миром и над грехом. И пусть он будет безгрешен, мы же хотим, чтобы последовавший за нами читатель погрузился в собственную душу и открыл этих героев в самом себе...

"Кэрель! Все Кэрели Военно-морского флота! Вы чисты, как полевой овес!

На борту торжественный прием. По палубе корабля разостлан красно-зеленый ковер, повсюду снуют одетые в белоснежную форму моряки. Кэреля все это мало волнует. Я украдкой смотрю на него: он стоит, засунув руки в карманы, немного откинувшись назад и вытянув шею, как бык (или даже как тигр или лев?) с воткнутом в бок кинжалом на ассирийском барельефе. Праздник его не интересует. Он насвистывает и улыбается.

Кэрель тащил волоком по набережной тяжелую шлюпку: четыре матроса перекинули веревку через левое плечо и от усилий выпятили вперед грудь. Кэрель же развернулся и тащил, продвигаясь спиной вперед. Наверняка чтобы не походить на тягловое животное. Он заметил, что я смотрю на него. И я первым отвел глаза в сторону.

Прекрасные ступни Кэреля. Обнаженные ступни. Он ходит вразвалку и небрежно опускает их на палубу. Кэрель постоянно улыбается, но лицо его печально. От этого он похож на прекрасного, сильного и мужественного юношу, уличенного в тяжелом преступлении и ожидающего в камере для подсудимых сурового приговора. Несмотря на его неизменную улыбку, его красоту, его развязность, лучащуюся силу его тела и его храбрость, Кэрель кажется мне отмеченным тайным знаком глубокого унижения. Этим утром он был особенно подавлен. У него был усталый взгляд.

Кэрель дремал на палубе на солнце. Я стоял и смотрел на него. Я жадно пожирал его взглядом, но, опасаясь, что он может меня заметить, почти сразу же ушел. Вместо того чтобы спокойно и безмятежно, не ограничивая себя во времени, держать его в своих объятиях, я вынужден довольствоваться этими краткими ускользающими мгновениями, которые не могут продлиться дольше оттого, что, когда долго стоишь, наклонившись, ноги начинают болеть, оттого, что затекает неловко согнутая рука или плохо прикрыта дверь. Эти мгновения – моя тайна. Кэрель ничего не знает о них.

Лица прекрасных мальчиков, которых подозревают в том, что они спят с мужчинами, в глазах остальных, ненавидящих их людей окружены ореолом таинственности. В кафе решительной и легкой походкой вошел молодой человек с жестокими чертами лица. Поговаривают, что он "из таких". Сопровождавшие меня офицеры взглянули на него пристально, не без презрения. Любопытные взгляды моих товарищей сделали этого юношу еще более необычным.

На борту принимают адмирала А... Это высокий худой старик с очень белыми волосами. Он редко улыбается, но я знаю, что за его суровым, надменным видом скрывается нежная и добрая душа. Он прибыл в сопровождении морского пехотинца, высокого молодца, почему-то напялившего на себя походные гетры и португую. Это его ординарец. Их появление пробудило во мне удивительно сладостное волнение. Нежный силуэт слабого старика с утонченными жестами на фоне внушительной фигуры его ординарца. И я когда-нибудь стану старым, аристократически утонченным офицером, обвешанным орденами, с золотыми эполетами, опирающимся на крепкие мускулы двадцатилетнего солдата.

Мы вышли в море. Штормит. Как бы повел себя Кэрель во время крушения? Стал бы он меня спасать? Он ведь не знает, что я его люблю. Я, конечно, попытался бы спасти его, но мне бы хотелось, чтобы это он спас меня. Во время крушения каждый хватается то, что ему дороже всего: скрипку, рукопись, фотографии... Кэрель бы схватил меня. Я знаю, что на самом деле он спасал бы в первую очередь свою красоту, а мне оставалось бы лишь умереть.

Кэрель, твое золотое сердце...

Он наблюдал, как матрос моет палубу. Не имея другой точки опоры, Кэрель оперся двумя руками, положив их одна на другую, о собственный ремень над ширинкой. Верхняя часть его тела слегка наклонилась, и ремень (вместе с верхней кромкой брюк) натянулся под его тяжестью, как струна.

Я готов разрыдаться от невозможности прикоснуться к его члену. Я кричу о моей скорби морю, ночи, звездам. Я знаю, что совсем рядом на корме есть чудесное место, но оно недоступно мне.

Возможно, по приказу адмирала всюду сопровождающий его парень тайком входит в его каюту, расстегивает свою ширинку и подносит к его губам вставший навтыжку член. Я никогда не видел более элегантной, более гармоничной, уравновешенной пары, чем та, что составляют адмирал и его зверь. Они бесподобны.

Лиссабон. Я сошел на берег вместе с капитаном. Мы произвели некоторые покупки. В кафе я небрежно оставил свои пакеты на полу, довольно далеко от себя. Капитан все время следил за ними взглядом. Я заметил, что он боится, чтобы их не украли, и эта его боязнь пробудила во мне страстное желание, чтобы они были украдены. Я даже незаметно еще дальше отодвинул их ногой. Я вступил в сговор с преступником. Вульгарность капитана внушает мне отвращение.

Кэрель забыл свою майку у меня в каюте. Она так и осталась лежать на полу. Я долго не осмеливался к ней притронуться. Эта полосатая тельняшка казалась мне шкурой леопарда. Более того, он сам был животным, которое скрылось, растворилось в себе, оставив мне свою оболочку. "Нужно

поднять ее". Но стоит мне только протянуть руку, дотронуться до нее, как она вздуется всеми мускулами Кэреля.

Кадис. Танцующий негр с зажатым в зубах стебельком розы вздрагивает при первых же звуках музыки. Я пишу о нем: "он гарцует", как обычно говорят о лошади. Рядом с ним даже образ Кэреля поблек и отдалился.

Кэрель пришивает себе пуговицы. Я вижу, как он вытягивает руку, чтобы вдеть нитку в иголку. Это занятие не кажется мне смешным: ведь он еще вчера наверняка с победоносной улыбкой прижимал к дереву какую-нибудь девку. Когда Кэрель пьет кофе, он для того, чтобы растворить остатки сахара, взбалтывает чашку движением правой руки против часовой стрелки (то есть слева направо), как это обычно делают женщины, а всего пять минут назад он грубо, по-мужски рыгал. Таким образом, эти, казалось бы, совсем незначительные действия Кэреля как бы облагораживают его предыдущие поступки.

По поводу слова педераст. Цитата из Лярусса: "У одного из них обнаружили огромное количество искусственных цветов, гирлянд и венков, предназначенных, вне всякого сомнения, для того, чтобы служить украшениями во время оргий".

Когда лейтенант снова отправился на поиски случайных встреч, он был слегка взволнован. Он был преисполнен силы и нежности одновременно. Необычная сцена, случившаяся в клубе морских офицеров, сделала из него героя. А произошло следующее. Он сел за стол, за которым уже находилось несколько дам с другими офицерами, и еще был настолько поглощен мыслями о Кэреле, что ему казалось, будто тот стоит у двери салона. В этой сцене раскрывается деликатность лейтенанта в отношении к окружающему миру. Мы не думаем, что проявляемая им повышенная чувствительность явилась следствием любви к Кэрелю. Скорее, она проистекает из порожденного любовью страха и преклонения, которое Себлон всегда испытывал перед жизнью. Подчиняясь стремлению к своему, такому труднодоступному в этом мире, счастью, он старался склонить на свою сторону вещи и опасался, что они вдруг восстанут против него. Подобно тому как Жиль, убив в своей душе Тео и страдая от этого, безуспешно пытался найти утешение в окружающих его предметах. Едва заметным движением плеч лейтенант не отделился от тени Кэреля, а продемонстрировал свою верность ему, и если на судне он сам порой сталкивался с ним, то теперь он как бы превратился в него, противопоставив себя другим офицерам. Это перевоплощение совершилось в нем с такой гармоничной медлительностью, так незаметно и плавно, что он сам осознал происшедшую в нем перемену только по тому, как задрожал от гнева его голос, когда он обратился к даме:

- Что вы знаете об этом?

Тон и вызывающая резкость вопроса привлекли к нему всеобщее внимание.

- Но так все говорят...- сказала дама, немного смутившись, но по-прежнему продолжая улыбаться.

- Вы в этом уверены?

Она рассказывала, что коммунисты назвали улицу именем рабочего, который погиб, пытаясь спасти тонущую девочку. И добавила: "Говорят, он был пьян и просто упал в воду..."

-- Я в этом не уверена, но так все говорят...

Раздался кашель. Все сидевшие за столом замолчали и зашевелились.

Лейтенант пожалел, что вмешался в разговор, но прозвучавшая в его голосе дрожь, вызванная его застенчивостью и неуверенностью в себе, побудила его произнести подчеркнуто сухим тоном:

-В таком случае более великодушно было бы для поступка, побуждающая причина которого до конца не ясна, постараться найти наиболее благородное объяснение.

Чтобы осмысленно и четко произнести эту громоздкую фразу, которая первоначально родилась в его сознании в виде беспорядочного скопления слов, офицеру пришлось максимально напрячься и сосредоточиться, отчего, очевидно, она и прозвучала особенно жестко, благородно и почти торжественно. На мгновение он даже представил себе это трагическое происшествие. Дама пробормотала:

- Но...

Кто-то смущенно добавил:

- Мы ведь просто шутим между собой...

Окончательно убедившись в своей победе на моральном фронте, лейтенант встал:

- Боюсь, что я чрезмерно увлекся взятой на себя ролью судьи. Позвольте мне удалиться.

Он вышел. Проявленная им решимость вызвала у него необычайный прилив сил. Теперь он почувствовал себя настоящим мужчиной, настолько мужественным и сильным, что способен был бы трахнуть Кэреля, если бы тот только захотел. Проходя мимо сортиров, где он обычно оставлял свои карандашные надписи, он с нежной грустью вспомнил о своей презренной постыдной оболочке, об этих надписях в темных углах, об офицере, который отправлялся по ночам на поиски мужских членов, подобно тому как рыбаки отправляются на поиски затаившихся у прибрежных скал угрей. Подойдя к причалу, он заметил Кэреля. Огромное чувство мужского братства объединяло его теперь с его ординарцем. Но уже на следующий день его мужественность исчезала, растворялась под лукавым взглядом Кэреля, она не могла выдержать сравнения с этой ужасающей, непоколебимой, воплощенной в великолепном теле мужественностью. Он почувствовал себя униженным и вернулся на берег, стгорая от стыда. Он снова обнаружил в сортирах свои надписи, которые так и остались без ответа. Однако каждая из них пробуждала в нем такое чудесное волнение, какое цветок, перчатки или носовой платок любимой пробуждают в сердце молодого влюбленного.

Жиль спал, лежа на животе. Как и всегда в воскресенье, утром он проснулся поздно. Еще несколько привыкших подолгу спать в этот день рабочих тоже встали. Солнце уже высоко поднялось и пронизывало туман. Жиль испытывал нестерпимое желание помочиться, к которому

примешивалось чувство глубокой тоски от необходимости встречать этот день, атмосфера которого, он знал, вся уже дышала его позором, и, как бы стараясь быстрее вдохнуть ее в себя, он широко открыл рот. Он еще на мгновение задержался в постели. Он старался почти не шевелиться, потому что ему необходимо было тщательно продумать свое поведение, чтобы начать сначала свою жизнь, которая теперь была отмечена знаком всеобщего презрения. Таким образом, начиная с этого утра он должен был вступить в новые отношения со своими товарищами по верфи. Он лежал неподвижно, вытянувшись под простынями. Не потому, что собирался снова уснуть, - но потому, что хотел лучше обдумать все, что его теперь ждет, "подогнать себя" к своему новому положению, тщательно продумать все детали, прежде чем в действие вступит его тело. Тихонько, с закрытыми глазами, так, чтобы все подумали, что он еще спит, он повернулся в кровати. Луч солнца из окна падал прямо на его одеяло, которое облепили громко жужжащие мухи. Не видя еще, в чем дело, Жиль почувствовал неладное. Стараясь не привлекать к себе внимания, он спрятал под простыню трусы, которые были изнутри запачканы дерьмом и кровью и на солнце притягивали к себе мух. Они улетели с наполненным тишину комнаты адским жужжанием, сигналив о позоре Жилия, трубя о нем торжественно и величественно гудением органа. Жиль не сомневался, что это Тео продолжает ему мстить. Должно быть, он обнаружил эти отвратительные трусы в сумке Жилия. И пока молодой каменщик спал, вытащил их. Парни с верфи смотрели на действия Тео с молчаливым одобрением, ибо знали, что его все равно не остановить, к тому же это придавало их ощущениям недостающую остроту. И потом, им нравилось, что он поставил на место мальчишку, чего самим им сделать не удавалось. Солнце и мухи, на которых Тео не рассчитывал, чудесно довершили начатое им дело. Не поднимаясь с подушки, Жиль повернул голову налево и ощутил под своей щекой твердый предмет. Он осторожно протянул руки и тихонько под простыней подтащил к своей груди огромный баклажан. Он ощупал своей рукой этот замечательный, поразительно большой, крепкий фиолетовый овощ. Вся страшная озлобленность Жилия, которая подчеркивалась его сухими, под гладкой белой эпидермой мускулами, его застывшими без движения зелеными глазами, его тупой сосредоточенностью, его искривившимся ртом, этой незавершенной улыбкой, приоткрывавшей только несколько верхних резцов и натянутой, как жесткая резинка, которая, растянувшись, бьет вас по лицу и возвращается в исходное положение, его жесткими светлыми и не очень густыми волосами, его молчанием и бесстрастным ледяным тембром его голоса - иными словами, всем, что обычно позволяло сказать о нем: "Он взбешен", - вся эта озлобленность Жилия вдруг оказалась так деформирована и измята, стала до такой степени беззащитной и хрупкой, что парнишка неожиданно заплакал. На нее оказывалось такое давление, что она поникла, стала жалкой, нежной и теплой, готовой совсем исчезнуть. Все тело Жилия от большого пальца ноги до уголков глаз сотрясалось от рыданий, уничтоживших последние остатки его злобы. Ему все нестерпимей хотелось помочиться. Все внимание Жилия было приковано к мочевому пузырю. Но для того, чтобы пойти в туалет, ему необходимо было встать и пересечь полную насмешливых взглядов комнату. Он продолжал лежать,

поглощенный этой сильной биологической необходимостью. Наконец он смирился со своим позором. Движения рук, которыми он отбросил простыни, уже стали жалкими. Пальцы не слушались его, и его запястья с униженностью христианина, склоненного в покаянии, бессильно упали на простыню, кожа на руках была пепельного оттенка. Он униженно поднял голову и, не оглядываясь по сторонам, на ощупь подобрал свои носки и надел их под простыней. Двери напротив него распахнулись. Жиль даже не поднял глаз.

- Не жарко, ребята.

Это был голос вошедшего Тео. Он подошел к печке, на которой стоял котелок с водой.

- Это для супа водичка? А больше ничего нету?

- Это не для супа, а для бритья,- ответил кто-то.

- А! Извини, я думал...

И с притворной грустью в голосе он продолжил:

- Действительно, для супа было бы маловато. Придется подтянуть пояса. Я не знаю почему, но овощей больше нет.

Жиль покраснел и услышал несколько смешков. Один каменщик из самых молодых возразил:

- Это просто плохо ищут.

-Ты думаешь? - сказал Тео. - Ты и в самом деле мог бы их найти? Может, это ты их прячешь?

Раздался громкий смех. Каменщик со смехом ответил:

- Ошибаешься, Тео. Я подобными вещами не занимаюсь.

Неприятный диалог явно затягивался. Жиль натянул носки. Он поднял голову и минуту сидел неподвижно, согнувшись на кровати и уставившись перед собой. Он понимал, что жизнь теперь станет невыносимой, но драться с Тео было уже слишком поздно. Теперь ему противостояли все каменщики. Его обложили со всех сторон. Сонм мух, с легким жужжанием рассеявшихся на солнце, накалил атмосферу до предела. Злоба переполняла его, все каменщики должны были умереть. Жилю захотелось поджечь барак. Но это желание почти сразу же улетучилось. Его злоба и ярость требовали немедленного выхода. Нужно было выразить их хотя бы в жесте, даже если бы этот жест был направлен внутрь Жилия и вызвал в нем внутреннее кровоизлияние. Тео тем временем продолжал:

- Чего ты хочешь? Есть такие, которым это нравится. Они запихивают их себе в зад.

Желание помочиться стало еще сильнее. Его распирало, как котел паровой машины. Жиль должен быть предельно краток. Смутно он осознал, что у него просто нет другого выхода, и вся его смелость и отвага проистекают из этой необходимости быть кратким и сосредоточенным. Жиль по-прежнему сидел на кровати, спустив ноги на пол, постепенно его взгляд обрел осмысленное выражение и медленно, как луч, остановился на Тео.

-Ну, чего ты ждешь, Тео?

Он произнес это, скривив губы, и тихонько покачал головой.

-Ты решил? Ты еще долго собираешься меня обсирать?

- Я вовсе не собираюсь этого делать, дружок. Скорее, я мог бы помешать обосраться тебе.

И подождав, пока вызванный этой репликой приглушенный смех окончательно затихнет, он добавил:

- Потому что, если бы ты вдруг меня кое о чем попросил, я бы с удовольствием тебе помог.

Жиль выпрямился. Он был в одной рубашке. Бледный, трясущийся от злости, он босиком подошел к Тео и, глядя ему в лицо, произнес:

- Ты бы трахнул меня, ты? Так давай, не дрейфь!

И резким движением он повернулся к нему спиной, поднял рубашку и наклонился, подставив свои ягодицы. Каменщики наблюдали. Еще вчера Жиль был таким же рабочим, как и другие, и ничем от них не отличался. Они не испытывали к нему особой ненависти - скорее, даже дружеские чувства. Отчаянного лица парня они не видели. Они снова засмеялись. Жиль выпрямился, посмотрел на них и сказал :

- Вас это смешит, вы решили меня достать? Может быть, кто-нибудь из вас хочет меня трахнуть?

Эти слова были произнесены громким и резким голосом. Этот голос придал сцене фантастический характер, превратив юношу в участника магического обряда, напоминавшего своей откровенностью обряды колдунов, в которых цинизм необходим для снятия порчи. Жиль снова повторил свой жест перед каменщиками, усугубив его тем, что раздвинул ягодицы двумя руками. И глядя вниз, он выкрикнул истеричным голосом, который, как тяжелый туман, осел на землю:

- Давайте! Хотите знать, есть ли у меня геморрой, тогда давайте! Пощупайте там! Поройтесь в говне!

Он выпрямился. Он был весь красный. Высокий парень подошел к нему.

- Заткнись. Твои заморочки с Тео никого не интересуют.

Тео хмыкнул. Жиль взглянул на него и холодно сказал :

- Ты не можешь меня трахнуть. И от этого заводишься.

Он повернулся. В рубашке, босиком вернулся к своей кровати, молча оделся и вышел. Около барака стоял небольшой дощатый сарай, в котором каменщики оставляли свои велосипеды. Оказавшись на улице, Жиль направился к своему велосипеду с желтой рамой. Никель переливался на солнце. Жилю нравились его легкость и изгиб руля, вынуждавший его согнуться над ним во время езды, ему нравились его надувные камеры, деревянные ободы, щитки. Каждое воскресенье, а иногда и вечером, после работы, он чистил его. Со спадающими на глаза волосами и приоткрытым ртом он разбирал велосипед, поставив его на седло и руль, развинчивал гайки, снимал цепь и педали. Это занятие доставляло Жилю истинное наслаждение. Масляная тряпка или гаечный ключ преображались в его руках. Присев на корточки или согнувшись над крутящимся колесом, Жиль становился прекрасен. Все его движения были отточены и совершенны. Итак, он подошел к своему велосипеду, но, едва коснувшись рукой седла, почувствовал стыд. Сегодня он не мог им заниматься. Он был недостойн своего велосипеда. Он снова поставил его к стене и вышел. Отправился в уборную. Подтираясь, Жиль провел рукой у себя между ягодицами и, ощутив легкое увеличение геморроидальных шишек, испытал глубокое удовлетворение, ибо они напоминали ему о его гневе и ярости. Он еще раз тихонько, кончиками пальцев дотронулся до них. Он был счастлив и гордился сознанием того, что источник его силы находился там. Это было его сокровище, которое он должен был тщательно оберегать, потому что оно позволяло ему быть самим собой. Отныне, до тех пор, пока что-нибудь

снова не изменится, его геморроидальные шишки были как бы им самим. Обычная любовь, эти "контакты эпидерма", тоже не так проста и понятна, как принято думать. Для молодого пловца на пляже прикосновение прекрасной обнаженной девушки - то же, что для нас прикосновение ширинки или пальца солдата, это прикосновение груди, или бедра, или впадины затылка способно внезапно погрузить разум пловца во мрак. Темное желание захлестывает его. Итак, в нашем стремлении к наслаждению ничто не способно удержать нас от этого погружения во мрак. Мы говорим не о напускной таинственности, которой обычно стараются окутать эту тему, а о тех открывшихся нашему воображению туманных областях и о непроницаемости для нашего взгляда бездонного, вызывающего головокружение мрака. Наше погружение в него позволяет нам постичь смысл служения вечному культу. Солнце исчезло, и город потонул в тумане. Жиль был уверен, что встретит на эспланаде Роже. Уже несколько минут он шел по улице. В четыре часа дня в лавках зажгли свет. Улица Сиам вся тихо переливалась. Некоторое время Жиль прогуливался по бульвару Даждо почти в полном одиночестве. Он еще не принял окончательного решения. Ближайшее будущее оставалось для него абсолютно неясным, он с тоской глядел на окружающий его мир. Вселенная вокруг него была еще не оформлена и расплывалась. Ему казалось, что только удар стилета даст ему возможность вырваться в ясный и светлый мир, где можно будет ни о чем не думать. Позволим себе еще одно уточнение: только убийство при помощи инструмента острого, стального или просто металлического способно принести убийце облегчение, прорвав мучающий его гнусный нарыв, тогда как яд, например, не способен принести подобного облегчения. Жиль начинал задыхаться. Скрывая его, туман давал ему возможность немного отдохнуть, но он не мог укрыть его от того, что было вчера и, тем более, от того, что будет завтра. Будь у него хоть немного воображения, Жиль мог бы справиться со случившимся. Но он был начисто лишен воображения и не чувствовал ничего, кроме злобы. Завтра и все последующие дни он должен будет жить в окружении всеобщего презрения.

"Но почему я сразу же не разбил ему морду?"

В ярости он то и дело повторял про себя этот абсолютно риторический вопрос. Он представил себе насмешливую и злую физиономию Тео. Кулаки в его карманах внезапно так сжались, что ногти вонзились в ладони. Ему нечего было ответить самому себе, его одолевали тягостные мысли и, подходя к балюстраде в самом пустынном углу площади, он вдруг снова вспомнил момент своего наивысшего унижения. Тогда, повернув голову к морю, он так втянул в себя воздух, что из горла вырвался только хриплый крик:

-А!

На несколько секунд он почувствовал облегчение. Но через два шага черная тоска вновь овладела им.

"Почему я не разбил морду этой сволочи? На ребят мне плевать. Пусть думают, что хотят, мне все равно. А вот ему надо было бы..."

Когда Жиль появился на верфи, Тео всячески покровительствовал ему. Постепенно, соглашаясь пить за его счет, парень вынужден был признать авторитет каменщика. Это произошло невольно: Тео стал командовать им, потому что платил. Кэрель мог выказывать большее пренебрежение по отношению к офицеру, ибо они говорили на разных языках. Тот, конечно, тоже пытался подшучивать над ним, но сдержанность его шуток невольно наводила на мысли о его высокомерии или смущении, под которыми

Кэрель угадывал сильное неосознанное желание. Кэрель чувствовал, что сила на его стороне. Даже если бы офицер никак не проявил своего смущения, матрос все равно презирал бы его. Во-первых, потому что чувствовал его зависимость от себя из-за его любви, а во-вторых, потому что офицер пытался скрыть эту любовь. Кэрель мог позволить себе быть откровенным. Жиль же был безоружен перед цинизмом Тео, который изъяснялся на языке простых каменщиков, отпускал неприличные шутки и не опасался, что его за грубость могут выставить с верфи. Хотя Тео и согласился заплатить за несколько стаканов, Жиль ясно чувствовал, что за его любовь он не дал бы и одного су. И, наконец, возникшая между ними в течение месяца близость - пусть совсем небольшая - поставила его в еще большую зависимость от каменщика. По мере того как Тео убеждался в том, что эта близость ни к чему не ведет и никогда не станет окончательной, он становился все более желчным. Ему не хотелось понапрасну терять время, и он пытался уверить самого себя в том, что он связался с Жилем только для того, чтобы поиздеваться над ним. Он ненавидел Жилья, а оттого, что тот невольно заставлял его страдать, его ненависть становилась еще сильнее. Жиль же ненавидел Тео за то, что попал в зависимость от него. Однажды вечером, когда тот, выходя из бистро, небрежно похлопал его по заднице, Жиль не осмелился ударить его.

"Он ведь заплатил за мой аперитив", - подумал он.

Он только оттолкнул его руку, да и то с улыбкой, как бы в шутку. В последующие дни, так как он чувствовал, что каменщика влечет к нему, он иногда бессознательно кокетничал с ним. Принимал возбуждающие позы. Прогуливался по верфи с голым торсом, играл мускулами спины, сдвигал свою кепку на затылок, так, что из-под нее выбивались пряди волос, а когда замечал, что взгляд Тео с жадностью ловит все его жесты, улыбался. Когда же Тео снова взялся за свое, Жиль, стараясь не обидеть его, заявил, что ему это не нравится.

- Я согласен закорешиться с тобой. Что же касается остального, то меня это не интересует.

Тео разозлился. Жиль тоже, но опять не решился его ударить, потому что только что пил за счет каменщика. С тех пор на верфи во время работы и в обеденный перерыв за столом, а иногда и лежа в кровати Тео начал донимать его своими шутками, на которые Жиль не мог ответить. Понемногу вся бригада, смеясь над шутками Тео, начала посмеиваться и над Жилем, который попытался избавиться от своего кокетства, так как понимал, что оно провоцирует Тео на издевательства; однако свою естественную красоту устранить он не мог, ибо эти цветущие и благоухающие ветви были еще слишком зелены и полны сил, их питал сок молодости, и заставить их умереть было невозможно. Все каменщики невольно стали презирать парнишку. Постепенно почва уходила из-под ног Жилья. А вместе с ней незаметно исчезли и последние остатки его достоинства. Он становился всеобщим посмешищем. Благодаря вмешательству извне его уверенность в том, что он по-прежнему является самим собой, была сильно поколеблена. Эта уверенность теперь поддерживалась лишь стыдом, мертвенно-бледное пламя которого все сильнее разгоралось под ветром внутреннего протеста. Он позволил издеваться над собой.

Роже все не появлялся. Что он мог ему сказать? Полетта тоже не придет. Он не сможет ее увидеть. С тех пор, как она ушла из бистро,

он редко встречался с ней. А если бы, к несчастью, она вдруг и появилась, Жиль бы, наверное, провалился сквозь землю от стыда. Ему не хотелось, чтобы Полетта приходила. "И все это потому, что я не разбил ему рожу".

Невыносимая тяжесть давила на него. Его мужественность не помешала ему понять, что слезы не ослабят его, а скорее, принесут ему облегчение. Он не мог видеть своего лица и не знал, что бледность лиц уклонившихся от драки молодых парней напоминают лица униженных, отказавшихся от войны наций. Резким движением челюсти он изо всех сил сжал свои зубы.

- Надо было пообломать рога этому скоту.

Но ни на мгновение ему не приходило в голову, что это еще можно сделать. Момент был упущен. Эта фраза просто убаюкивала его. Он слышал ее мерное звучание в себе самом. Ярость постепенно превращалась в сильную гнетущую и воспаляющую боль, которая, рождаясь в его груди, обволакивала его тело и ум бесконечной грустью, в которой отныне ему суждено было жить. Он засунул руки в карманы и сделал еще несколько шагов в тумане, ему было приятно сознавать, что его всегда такая элегантная походка даже теперь, в одиночестве, нисколько не изменилась. Было маловероятно, чтобы он встретил Роже. Они ведь не договаривались о свидании. Жиль подумал о мальчишке. Он вспомнил его лицо, расплывавшееся в улыбке всякий раз, когда он слышал какую-нибудь песню. Это лицо не было точной копией лица Полетты, чья улыбка была не такой ясной, так как ее затуманивала женственность, которая нарушала и естественное сходство улыбок Жилия и Роже.

"Между ног, Боже мой! Представляю, что должно быть между ног у этой Полетты!"

Он подумал почти вслух: "Ее ласка! Ее ласочка! Ее узенькая щелочка!"

И прошептал, вкладывая в свои слова безумную нежность, превращавшую их в жалобный стон:

- Ее узенькая мокренькая щелочка! Ее ножки!

Он задержался на этих словах: "Не стоит говорить "ее ножки", у нее красивые ноги, у этой Полетты. У нее широкие бедра и маленький мохнатый бугорок". Он почувствовал, что у него встает. Где-то в самом центре его отчаяния - или, точнее, стыда, - разрушая его, пробуждалось ощущение новой, но уже более твердой уверенности. Он снова обретал самого себя. Все его существо напряглось, и член встал. Он снова становился самим собой, но теперь он был наделен чудовищной силой, силой провидения, способной окончательно рассеять его стыд. Более того, переполнявший его тело стыд проникал и в его член, отчего Жиль теперь ощущал его еще более твердым, и сильным, и решительным, способным войти в мягкую женскую плоть. В этот момент все его органы напряглись. Его рука в кармане прижала член к животу. Почти бессознательно он снова оказался в самом темном и уединенном месте на эспланаде. Улыбка Полетты сливалась с улыбкой ее брата. Взгляд Жилия с лихорадочной жадностью скользнул по бедрам и приподнял платье - там были подвязки. Над ними (мысленно он медленно продвигался дальше) была белая кожа, оттененная волосами, которые он тщетно пытался получше разглядеть, зафиксировать в своем воображении, осветив светом своего желания. Мгновенно пробежав взглядом по всему ее телу,

несмотря на платье и белье, он поднял свой член до уровня груди Полетты: пожалуй, головкой члена он видел бы лучше. Повернувшись лицом к морю, Жиль облокотился на балюстраду. Вдали слабо мерцали огни стоявшего на рейде "Дюнкерка". Жиль оторвался от белой и округлой груди и поднялся к подбородку, к улыбке (прежде всего это была улыбка Роже, а потом уже улыбка Полетты). Жиль смутно чувствовал, что женственность, затуманившая улыбку парнишки, как-то связана с тем, что спрятано там, внизу, между ног. Он чувствовал это родство улыбки - но не мог понять, с чем именно, - такое слабое и отдаленное и в то же время достаточно сильное для того, чтобы скрывающие ее волны могли прийти от этого далекого, скрытого между ног органа. Он снова мысленно вернулся к половой щели:

"Ох, сучка, как бы мне хотелось как следует отдрючить ее!"

Его внимание было одновременно приковано и ко рту, и к половым губам Полетты. Ему казалось, что он, прижавшись к ней, обнимает и целует ее. Вдруг перед ним возник образ Тео. Жиль на мгновение отвлекся от своих фантазий и снова преисполнился ненавистью к Тео. От этой непродолжительной заминки его член немного опал. Ему хотелось уничтожить в себе малейшее воспоминание о каменщике, чье присутствие он постоянно ощущал за своей спиной, тот ласкал его ягодицы своим огромным, в два раза большим, чем его собственный, членом. Потом он увидел приближавшийся к его лицу член Тео, и ярость охватила его с новой силой. Ему хотелось, чтобы у него снова встал, и он попытался опять пробудить в своей душе нежность, но от отвратительной мысли о том, как Тео его трахает, по его телу, начиная с члена, прокатилась волна протеста.

"Но я-то мужик,- вдруг осенило его в тумане. -Я сам могу трахнуть мужика! И я тебе вставлю!"

Но напрасно он пытался представить себе, как он будет трахать Тео. Ему удалось вызвать в своем воображении только пыльную расстегнутую одежду каменщика, стоявшего с задранной рубашкой и спущенными брюками. Для того, чтобы получить полное удовлетворение, ему необходимо было детально вообразить себе лицо или зад Тео, но оттого, что они и на самом деле были таковы, они все время являлись ему под покровом волос и щетины, постепенно на их месте появилось лицо и бархатная спина другого персонажа - Роже. По твердости своего члена Жиль понял, что замеченная им подмена доставляет ему еще большее удовольствие. Он постарался удержать образ мальчика, заслонивший собой образ каменщика. И громко, так, как будто бы он обращался к Тео, но с горечью и отчаянием сознавая, что на самом деле он должен трахнуть мальчишку, произнес:

- Подставляй свою задницу, зайчик, я тебе вставлю! Волноваться не стоит, это недолго!

Жиль схватил его сзади. И услышал, как тот поет среди разбросанных в беспорядке стаканов и разбитых бутылок:

"Это веселый бандит,  
Его ничто не тревожит..."

Он улыбнулся. Напряг свой торс и ногу. Перед Роже он чувствовал

себя настоящим мужчиной. Его рука замедлила свое движение. Кончить он не успел. Огромная, рожденная стыдом грусть снова захлестнула его, но Роже по-прежнему продолжал улыбаться ему.

"Надо было разбить рожу тому скоту".

На мгновение Жиль подумал, что ему следовало бы хоть немного отвлечься от этих навязчивых мыслей о каменщике, которые постоянно волновали и тревожили его. Роже не придет. Было уже слишком поздно. Даже если бы он пришел, в тумане Жиль все равно не заметил бы его. Не осмеливаясь даже подумать, что парнишка испытывает к нему влечение, тем более он не решался думать о том, что постоянно вспоминает жесты и слова Роже, потому что сам чувствует к нему любовь. Но стоило ему вспомнить о Роже, как тут же в его сознании возник образ Тео. Стараясь не думать об этом, он зашел в бистро.

- Стакан сухого, шеф.

Разглядывая бутылки, он немного отвлекся. Он стал читать этикетки.

- Еще один.

Он всегда пил только красное или белое вино и не испытывал особой тяги к алкоголю.

- Еще раз, пожалуйста.

Он выпил шесть стаканов. Его мозг прояснился, он почувствовал глубокое просветление, постепенно рассеивавшее его смятение и грусть; тяжесть, которая в последнее время давила его, исчезла. Он вышел. Он больше не боялся думать о своем влечении к Роже. Порой в его сознании всплывали отошедшие на второй план бледное матовое лицо и бедра Полетты, но все чаще улыбка парнишки заслоняла собой все. Однако он по-прежнему не мог избавиться от Тео, и сознание того, что он бессилён освободиться от мыслей о нем, раздражало его все больше.

- Пидор!

Спускаясь к Рекувранс, он думал только о парнишке.

- Здесь почти все ясно, - сказал он себе, невольно подумав о том, как мало теперь для него значит Тео.

- Стоит мне только захотеть, и он окончательно исчезнет.

Слезы выступили у него на глазах. На сей раз он ясно отдавал себе отчет в том, что каменщика раздражает его любовь к Роже. Он понимал, что эта любовь вытесняет Тео, но не совсем. Каменщик, уменьшившись до крошечных размеров, еще оставался где-то в углу его сознания. Жиль надеялся, что, сгущая свою любовь подобно газу, он сумеет окончательно подавить в себе, задушить последние остатки мыслей о Тео, личность которого, отождествившись с этими мыслями, постепенно становилась все меньше и меньше. Жиль, вероятно, очень скоро бы уже протрезвел, если бы вдруг, поднимаясь по лестнице на улице Касс, не натолкнулся в тумане на своего приятеля. Скорее всего, он опять вернулся бы к своей обычной, скрытой от посторонних глаз жизни среди каменщиков. Он радостно вскрикнул и одновременно смахнул тыльной стороной ладони невольные слезы.

- Роже, дружище, пропустим вместе по стаканчику!

Он обнял парня за шею. Роже улыбнулся. Он взглянул на холодное и влажное лицо за тонкой пеленой тумана, который рассеивался от их дыхания.

- Как дела, Жиль?

- Нормально, малыш. Мне это все до фени. Этот старый козел меня не колышет. Тоже мне, нашелся. Не на того напал. Он ведь не мужик, а просто пидор! Педрила! Слышь, Роже! Педрила! Дешевка, если так тебе больше нравится! Мы-то с тобой кореша. Мы можем делать, что захотим. Мы почти родственники. Наши отношения - это дело семейное. А он просто педрила!

Чтобы не заикаться, он старался говорить быстро и так же быстро шел, чтобы поддерживать равновесие и не шататься.

- Послушай, Жиль, ты что, надрался? Ты случайно не перебрал?

- Спокуха, приятель. Бабки мои. А он своими пусть подавится.

Пойдем, я тебя угощаю.

Роже улыбался. Он был счастлив. Он с гордостью ощущал на своей шее шершавую и нежную руку Жили.

- Его просто нет. Он всего лишь маленькая мошка. Поверь мне, маленькая мошка. И я раздавлю его.

- О ком ты говоришь?

- Об одной падле, если хочешь знать. Не бери в голову. Вот увидишь. Скоро ты все поймешь. Поверь мне, он больше не будет мне мешать.

Они спустились сначала по улице Сак, а потом по улице Б... Жиль направлялся прямо в бистро, где, по его мнению, наверняка должен был быть Тео. Они вошли. Услышав, как открылась стеклянная дверь, все посетители обратили к ней свои взгляды. Вдалеке Жиль, как в тумане, увидел каменщика, сидевшего в одиночестве перед стаканом и литровой бутылкой за столом у самых дверей. Жиль засунул руки в карманы и сказал, обращаясь к Роже:

- Ты видишь его, это он.

А потом к Тео:

- Здорово, приятель.

Он подошел. Тео улыбался.

- Не угостишь нас стаканчиком, Тео? Я с дружкой.

В то же мгновение он схватил бутылку за горлышко и быстро, молниеносным движением руки разбил ее о стол. Острым, как штопор, осколком он перерезал каменщику сонную артерию и завопил:

-Я же сказал, что тебя больше нет!

Прежде чем хозяйка и изумленные пьяницы успели вмешаться, Жиль был уже на улице. Он затерялся в тумане. К десяти часам вечера полиция явилась за Роже к его матери. На следующий день он был отпущен.

В архитектурных мотивах двойного герба Франции и Бретани, украшающего величественный фронтон брестской бухты, использованы атрибуты парусного мореплавания. Два этих расположенных рядом овальных каменных герба не плоские, а выпуклые, как бы надутые ветром. Высеченные архитектором подчеркнута небрежно сферы впечатляют, тем не менее, своей мощью и совершенством. Это две половины сказочного яйца, снесенного, быть может, самой Ледой после того, как она познала лебедя, и таящие в себе исток сверхъестественной и одновременно природной силы и богатства. Несмотря на линии и завитки, это вовсе не обычное, небрежно выполненное, предназначенное для детского

развлечения украшение, а явственно воплотившаяся земная мощь, подкрепленная силой морального авторитета и оружия. Будь они плоскими, они не казались бы столь внушительными. Ранним утром их золотит солнце. Потом его свет медленно растекается по всему фасаду. Обвешанные цепями галерники, выйдя из тюрьмы, стояли на этом мощеном дворе, простирающемся до зданий Арсенала, окружающего набережную Пенфелда. Может быть для того, чтобы сделать более зримыми и облегчить тем самым заточение каторжников, огромные каменные края символически прикованы друг к другу цепями, но цепями более тяжелыми, чем якорные, и кажущимися от этого мягкими. Здесь, на этой территории, каторжники, как скот, сгонялись в стадо, подгоняемые непонятными командами и приказами. Солнечный свет медленно скользил по граниту великолепного фасада, не уступающего по своему благородству и обилию позолоты фасаду венецианского дворца, и, проникнув во двор, разливался по мостовым, искореженным сильным пальцам и деформированным лодыжкам каторжников. Напротив, на Пенфелде, еще золотился густой туман, за которым скрывался Рекувранс с его низенькими домиками, а чуть дальше - сразу же за ним - узкий вход в брестскую гавань, с оживленно снующими лодками и высокими судами. Составленные морем архитектурные фантазии из парусов, дерева и канатов открывались утром перед еще затуманенными сном глазами скованных попарно мужчин. Галерники дрожали в своих полотняных серых изодранных в клочья одеждах. Им давали мутную теплую похлебку в деревянных мисках. Они протирали глаза, стараясь разлепить слипшиеся от сна ресницы. Руки у них были грубыми и красными. Они видели перед собой море, точнее, слышали в тумане голоса капитанов, вольных моряков, рыбаков, плеск весел и разносившиеся над водой ругательства, понемногу они начинали различать торжественные, помпезные паруса двойного каменного герба. Уже прокричали петухи. На рейде каждый новый рассвет кажется еще прекраснее. Ступая босыми ногами по гладкой влажной мостовой, галерники некоторое время идут молча или едва слышно перешептываясь между собой. Несколько минут спустя они должны будут подняться на борт галеры и начать грести. Капитан, облаченный в шелковые чулки, кружевные манжеты и жабо, важно прохаживается среди них. Он окружен сиянием. Его принесли на носилках внезапно возникшие из тумана носильщики, казалось, он является здесь воплощением самого Бога, ибо стоило ему появиться, как туман исчез. Его не было всю ночь, он растворялся в тумане, полностью сливаясь с ним (во всяком случае, в первое мгновение где-то, вероятно, оседала некая мельчайшая частичка радия, чтобы восемью или десятью часами позже вокруг нее смогли выкристаллизоваться самые прочные элементы тумана и появился этот жестокий и решительный человек, напоминающий своей позолотой и украшениями фрегат). Галерники давно мертвы. Их никто так и не заменил. Их несбывшиеся надежды исчезли вместе с ними. На Пенфелде теперь специализированные рабочие обслуживают стальные суда. Другая реальность - еще более жестокая - пришла на смену реальности лиц и сердец, делавших когда-то это место столь патетическим. Иногда красота только на мгновение пробуждается под воздействием мимолетной слабой вспышки внутреннего страха, но красота победителя непоколебима, ибо жизнь его совершенна и спокойствие незыблемо. От воды и тумана металл выглядит еще более сурово. Фасад и фронтон каторжной тюрьмы по-прежнему испещрены неровностями, но внутри там остались лишь мотки просмоленных канатов и крысы. Иногда появившееся из-за туч солнце освещает стоящую на

якоре перед скалой Рекувранс "Жанну д Арк", по палубе которой снуют юнги. Эти беспомощные дети являются как бы чудовищным, утонченным и слабым потомством прикованных друг к другу спаренных каторжников. На скале за учебным судном видны неясные очертания школы стажеров. А вокруг, справа и слева раскинулись верфи Арсенала, на которых сооружают "Ришелье". Сквозь стук молотков слышатся голоса. Стоящие на рейде тяжелые и громоздкие чудища слегка смягчаются сыростью ночи и первой застенчивой лаской солнца. Адмирал уже не является, как это было раньше, командующим французским флотом, он теперь всего лишь морской префект. Выпуклый двойной герб не значит уже больше ничего. Он больше не напоминает о поднятых парусах, изгибах деревянного корпуса, выгнутой груди носовых фигур, тяжелых вздохах галерников и торжественности морских сражений. Огромное гранитное здание каторжной тюрьмы, разделенное когда-то на камеры, где на соломе и камнях спали заключенные, отдано теперь в распоряжение фабрики канатов. В камерах из плохо обтесанного гранита еще сохранилось по два железных кольца, но теперь в них можно обнаружить лишь огромные кучи канатов, оставленные там без присмотра администрацией фабрики, уверенной в том, что под защитой гудрона они могут пролежать там еще несколько веков. Окна, в которых не осталось почти ни одного стекла, никогда не открываются. Главная дверь, та, что выходит на покатый двор, о котором мы уже говорили, закрыта на несколько оборотов, и огромный кованый ключ висит на гвозде в конторе Арсенала, о нем все забыли. Правда, есть еще одна дверь, закрывающаяся очень плохо, но это никого не волнует, ибо все убеждены, что сложенные за ней мотки канатов никто никогда не украдет. Эта дверь, тоже массивная, с огромной замочной скважиной, находится в северной части здания и выходит на узенькую, почти никому не известную улочку, отделяющую тюрьму от морского госпиталя. Улочка проходит перед зданием госпиталя и упирается в крепостные стены. Жилье знал это место. Слепленный видом крови, он бежал сперва очень быстро, но потом остановился, чтобы немного передохнуть; придя в себя и с ужасом осознав чудовищность содеянного им, он сразу же кинулся к этим мрачным и пустынным улицам, чтобы найти выход за стены города. Вернуться на верфь он не осмеливался. Тут он и вспомнил про старую заброшенную тюрьму и плохо закрытую дверь. На ночь он устроился в одной из камер. Дрожа от страха, он сел в углу за мотком каната. Он думал только о случившемся с ним несчастье.

Мадам Лизиана была женщина весьма утонченная и воспитанная ; находясь за стойкой, она всегда обворожительно улыбалась, в то время как ее глаза не забывали холодно фиксировать количество посетителей и следить за тем, чтобы запуганные девушки не зацепили за ножку стула или каблук своими платьями из тюля и розового шелка. Если она и прекращала улыбаться, то только для того, чтобы дать своему языку спокойно отдохнуть на деснах. Это повторяющееся, наподобие тика, действие служило доказательством ее независимости и самостоятельности. Иногда она подносила украшенную перстнями руку к своим светлым волосам, уложенным в великолепную прическу, дополненную накладными буклями. Она чувствовала себя как бы

вышедшей из роскоши окружающих ее зеркал, света и яванских мелодий, и в то же время эта пышность была ее собственным испарением, теплым дыханием, рожденным в пышной груди настоящей женщины.

Мужчина может быть пассивен (в той степени, в какой он бывает невнимателен, безразличен к почестям, собственному будущему и удовольствиям); тот, кто дает себя сосать, является существом менее активным, чем тот, кто сосет, в свою очередь и этот последний становится пассивным, когда его трахают. Впрочем, эта обнаруженная в Кэреле пассивность была присуща и Роберу, позволившему Мадам Лизиане любить себя. Он подчинился материнской опеке этой в равной мере сильной и нежной женщины. И это заставляло его порой забывать обо всем на свете. Что касается хозяйки, то ей наконец удалось найти опору, стержень, обволакивая который она как бы справляла "свадьбу мачты и паруса". В постели она терлась лицом и своими слишком тяжелыми грудями о тело безразличного, как алтарь, любовника. Робер возбуждался очень медленно, и Мадам Лизиана в прелюдии к любовному акту воссоздавала для себя самой некое его подобие: целуя основание носа своего возлюбленного, она внезапно с жадностью заглатывала весь этот орган целиком. От щекотки Робер постоянно вырывался, отстраняясь от влажного горячего рта и вытирая мокрый от слюны нос. Когда в дверях залы она заметила лицо Кэреля, она снова испытала то же волнение, что и тогда, когда впервые увидела вместе лица поразительно похожих друг на друга братьев. С тех пор размеренное и тихое течение ее жизни то и дело прерывалось приступами острой тоски, и Мадам Лизиане начало казаться, что ее затягивает какой-то омут. Сходство Кэреля с ее любовником было столь велико, что она, помимо своей воли, вдруг подумала, что это переодетый в матроса Робер. Приближение улыбающегося лица Кэреля раздражало ее, и вместе с тем она не могла оторвать от него глаз.

"Ну и что же? Ведь они же братья, это естественно", - сказала она себе, чтобы немного успокоиться. Но сходство было настолько - чудовищно - полным, что заставить себя больше не думать о нем ей не удалось.

"Я внушаю ему отвращение: я слишком любила его, а избыток любви всегда вызывает тошноту. Чрезмерно сильная любовь выворачивает человека наизнанку - а все, что слишком бросается в глаза, вызывает тошноту".

"Ваши лица - это цимбалы, они никогда не сталкиваются, но скользят в тишине, одно по поверхности другого".

Преступления обогащали личность Кэреля, причем каждое из них приносило в нее что-то новое, не охваченное предыдущими. Убийца, рожденный в момент последнего убийства, оказывался в одной компании со своими благородными друзьями из тех, что ему предшествовали и которых он уже превзошел. Тогда он приглашал их на церемонию, которую убийцы былых времен называли "кровавой свадьбой": все сообщники должны были вонзить нож в одну и ту же жертву, эта церемония чем-то

напоминает уже когда-то описанную :

"Роза сказала Ньюкору: "Это свой. Снимай носки и тащи водяру."

Ньюкор повиновался. Он положил носки на стол и засунул в один кусок сахара, поданный ему Розой, потом, плеснув водки на дно сосуда, поднял оба носка над ним и осторожно опустил в водку, стараясь замочить лишь самые кончики, после чего протянул их Дирбелю и сказал: "Решай, какой сосать: с сахаром или без. Не дрейфь. Тусоваться с нами в одной колоде - большая честь. Вора́м нужно держать масть до конца".

Последний Кэрель, родившийся в возрасте 25 лет, появившийся из самых темных областей нашего сознания, сильный и крепкий, бодро повел плечами и обернулся к своим более молодым, радостно улыбающимся ему родственникам. Все Кэрели смотрели на него с симпатией. В грустную минуту он чувствовал их поддержку. Они существовали только в его памяти и от этого были окутаны легкой дымкой, придававшей им особое очарование и какую-то девическую грацию. Будь он немного смелее, он мог бы даже назвать их своими "дочерьми", как Бетховен - свои симфонии. Под грустными минутами мы подразумеваем такие мгновения, когда все Кэрели собирались вокруг последнего атлета под парусом из крепа - но не из белого тюля, - когда тот уже начинал ощущать на своем теле едва заметные морщинки забвения.

- Неизвестно, кто нанес ему этот удар.

-А ты его знаешь?

-Наверняка. Мы все знаем друг друга. Но это не мой кореш.

Ноно сказал:

-Все каменщики похожи друг на друга. Возможно, это тот самый тип.

-Из каменщиков?

Кэрель говорил медленно, растягивая слова, особенно налегая на букву "а" в слове "каменщиков".

-Ты что, не в курсе?

Кэрель и его брат говорили теперь между собой. Хозяин стоял, облокотившись о стойку, и смотрел на них, особенно на Кэреля, которому Робер рассказывал про нападение Жилия. В душе Кэреля пробудилась надежда, от которой, как ему казалось, преобразился весь мир. По его телу разлилась чудесная свежесть. Он почувствовал себя исключительной, осененной благодатью личностью. Он ощущал в себе небывалый прилив сил, и вместе с тем движения его были исполнены грации. Он заметил, что становится по-настоящему изящным, и отметил это абсолютно серьезно, хотя и сохраняя на своем лице привычную улыбку.

Братья дрались уже пять минут. Стараясь обхватить друг друга и в то же время стремясь избежать захвата и предваряя движения противника, они безуспешно пытались сблизиться, забавно раскачиваясь при этом всем своим телом. Казалось, они не дерутся, а просто стараются уклониться друг от друга. Прелюдия закончилась. Кэрель неловко

поскользнулся и ухватился за ногу Робера. С этого мгновения драка ожесточилась. Дэдэ отошел в сторону, ибо его еще не развитый, едва пробудившийся в нем мужской инстинкт подсказывал ему, что не нужно вмешиваться в единоборство двух мужчин. Улица была узкая и темная, но несколько исполненных ненависти движений братьев как бы осветили ее жестоким светом, который всегда так хорошо чувствовал Марио. Происходящее на улице напомнило сцену из Ветхого Завета, когда два брата, направляемые двумя перстами единого Бога, преисполнились ненависти друг к другу по двум внешне разным причинам, за которыми на самом деле скрывалась одна. Для Дэдэ эта улица была как бы отрезана от остального Бреста. Он ждал, когда наступит кульминация. Двое мужчин дрались в полной тишине, тишина еще больше возбуждала их, их ярость все возрастала, и они слышали только то, как дыхание вырывается из их ртов, их мышцы были напряжены до предела; по мере того как их усталость увеличивалась, возрастал для них обоим и риск получить неожиданный последний удар, который, будучи нанесен плавно, почти нежно, окончательно освободит их обоим, ибо нанесший его тоже умрет от полного истощения. Три докера наблюдали за дракой, покуривая сигареты. Молча, про себя они ставили сперва на одного, потом - на другого. Предсказать исход было трудно, ибо сила дерущихся казалась равной, и равенство это подчеркивалось их внешним сходством, которое делало схватку сбалансированной и гармоничной, как танец. Дэдэ наблюдал. Он прекрасно знал, как выглядят мускулы его приятеля в спокойном состоянии, но никогда не видел их в драке - особенно против Кэреля, которого он тоже никогда не видел дерущимся, - Кэрель внезапно присел и, опустив голову, ударил Робера в живот, тот упал на спину. Именно тогда, когда он решил ударить брата, Робер познал ощущение абсолютной внутренней свободы, которое длилось всего одно краткое мгновение, в которое он должен был сделать выбор между дракой и отказом от нее. С одной стороны от кучки зевак валялся берет матроса, а с другой - кепка Робера. Чтобы подчеркнуть свое превосходство и правоту, Робер в пылу сражения решил вслух высказать свое презрение к брату. И первое, что пришло ему в голову, было:

-Грязный пидор.

Но у него вырвался лишь хрип. Все невысказанные, застрявшие у него в горле слова продолжали лихорадочно пульсировать в его мозгу:

"Дал себя трахнуть хозяину борделя! Вот мудака! Да еще и хвалится этим! Его опустили, а он считает себя паханом! Моему брату проконопатили очко, нечего сказать, приятное известие!"

В первый раз он думал такими грубыми словами, которых обычно старался никогда не употреблять.

"Приятно, очень приятно! А какая рожа была у этого подонка Ноно, когда он мне рассказывал об этом!"

Три докера отступили назад. На мгновение перед Дэдэ промелькнула голова Робера, зажатая между крепких ляжек Кэреля, который колотил по ней обоими кулаками. Вдруг обутая в фетровую туфлю нога Робера с силой лягнула Кэреля в лицо, и его ляжки разжались. Мгновение поколебавшись, Дэдэ наклонился и подобрал берет матроса. Подержав его секунду в руке, он положил его на тумбу. Робер был побежден, и вид этого пламенеющего, как факел, берета на голове его юного приятеля окончательно бы его добил, ибо в этом выразилась

бы благосклонность юноши к победителю, как бы увенчивающая его символической короной. Длившееся всего несколько мгновений колебание принесло ему чувство освобождения, и это удивило Дэдэ. К удивлению примешивалось какое-то тяжелое и одновременно почти сладострастное чувство окончательного разрыва. Его удивляло, что все зависит от одного его поступка, и этот поступок очень важен... На самом деле важно было то, что ребенок вдруг почувствовал себя самостоятельным. Он задумался. Накануне, когда он поцеловал Марио, он впервые вторгся в естественный ход событий, и этот первый смелый поступок, позволив ему на мгновение почувствовать свою свободу, опьянил и укрепил его настолько, что он мог теперь попробовать еще раз. Но эта удавшаяся попытка освободиться заставила на время отступить дремавшего в Дэдэ мужчину, которого он с помощью Марио и, особенно, Робера тщетно пытался разбудить в себе. Действительно, Дэдэ познакомился с Робером еще тогда, когда тот работал на доках. Вместе они совершили несколько краж в пакгаузах, а когда Робер ушел из докеров и сделался сутенером, Дэдэ затаился и стал осведомителем в полиции. Тем не менее из уважения к их прежней дружбе Дэдэ никогда не шпионил за Робером, хотя часто и получал от него сведения для Марио. Дробившиеся в многочисленных отражениях жесты братьев освещали улицу, затененную их ненавистью, дыханием и чернотой невидимых глаз. Кэрель выпрямился. Дэдэ заметил, как напрягся его мощный торс. Чей-то насмешливый, но восхищенный голос воскликнул:

-Ну сейчас начнется!

Дэдэ чувствовал, как перекатываются и напрягаются под голубым полотном брюк мускулы Робера, силу которых он хорошо знал. Все эти движения ягодиц, бедер и икр были известны ему. Фланелевая ткань не мешала ему видеть сгорбленную спину, плечи и руки. Казалось, что Кэрель дерется сам с собой. Подошли какие-то две женщины. Сначала они стояли молча и прижимали к себе свои хозяйственные сумки и буханки хлеба. Наконец они не выдержали и спросили, почему дерутся эти мужчины:

-Что случилось? Вы не знаете?

Но ответа они не получили. Никто ничего толком не знал. Причиной драки были какие-то семейные дела. Дальше же идти они не решались, так как дерущиеся загородили им проход, и они продолжали глядеть на растрепанные, потные, сплетенные в узел тела двух самцов. Братья становились все больше похожими друг на друга. Их взгляды утратили первоначальную жестокость. Со стороны можно было заметить лишь усталость и волю - даже не к победе, а просто волю - что-то вроде стремления не прекращать эту борьбу, которая одновременно их и объединяла. Дэдэ был спокоен. Ему было все равно, кто победит, в любом случае это будет одно и то же лицо, то же самое тело поднимется, отряхнет свою рваную запыленную одежду и небрежным движением руки пригладит растрепанные волосы. Эти два абсолютно похожие друг на друга существа вели героическую и возвышенную борьбу - подлинный смысл этой схватки был понятен лишь мужчине - за свою единственность. Казалось, им действительно больше хочется соединиться, раствориться в единстве, чем уничтожить друг друга, ибо, объединившись, эти две особи составили бы существо гораздо более

уникальное. Их драка напоминала любовную борьбу, в которую никто не осмеливался вмешиваться. Чувствовалось, что оба борца объединились против арбитра, который - в сущности - самоустранился от участия в этой оргии. Дэдэ смутно это осознавал. Он испытывал одинаковую ревность к обоим братьям. Но они наталкивались на сильное сопротивление. Они напрягались, колотили друг друга, избивали - и все это чтобы окончательно слиться, - но двойник не поддавался. Кэрель был сильнее. Когда он почувствовал, что одолевает брата, он прошептал ему на ухо:

-Повтори. Повтори, что ты сказал.

Робер задыхался под решительным натиском, зажатый в тисках мускулов Кэреля, которые невозможно было разжать. Он уткнулся в землю и глотал пыль. Другой же, сверкая глазами и обжигая ему затылок своим горячим дыханием, шептал:

-Повтори.

-Не повторю.

Кэрелю вдруг стало стыдно. И от стыда он наклонился над братом и ударил его сильнее. Не удовлетворившись тем, что враг был повержен, он постарался унижить и полностью уничтожить того, кто, даже лежа в пыли, продолжал ненавидеть его. Робер незаметно достал нож. Женщина громко вскрикнула, и вся улица буквально прилипла к окнам. На балконах появились растрепанные женщины в нижних юбках и с обнаженными грудями, свисавшими над поручнями, за которые они держались своими руками. Они были не в силах оторваться от этого зрелища и пойти набрать ведро воды, чтобы вылить его на этих двух самцов, как на бешеных, обезумевших от ярости собак. Даже Дэдэ стало страшно, однако он пересилил себя и сказал собравшимся было вмешаться докерам:

-Да оставьте их. Это же мужики. Они братья и сами разберутся между собой.

Кэрель отстранился. Ему угрожала смертельная опасность. Впервые жизнь убийцы сама оказалась под угрозой, он почувствовал, как его начинает охватывать глубокое оцепенение, с которым он с трудом справлялся. В свою очередь он тоже достал нож и, приготовившись к прыжку, отступил к стене, держа его открытым в руке.

-Кажись это братья! Разнимите их!

Но люди на тротуаре и на балконах не могли себе даже представить, что между ними в это время происходит волнующий диалог:

- "Я пересекаю покрытую тонким кружевом реку. Помогите мне причалить к твоему берегу."

- "Это будет тяжело, брат, ты слишком сопротивляешься..."

- "Что ты сказал? Я почти ничего не слышу".

- "Прыгай на мой берег. Цепляйся. Забудь о боли. Прыгай."

- "Не уворачивайся!"

- "Я здесь".

- "Говори тише. Я уже с тобой".

- "Я люблю тебя больше себя самого. Я притворился, что ненавижу тебя. Мои шумные скандалы отделяют меня от тебя, но тишина всегда слишком пугала меня. Мой смех - это солнце, прогоняющее тени, которые

ты отбрасываешь на меня. Я усеял ночь кинжалами. Я возвожу баррикады. Мой смех погружает меня в одиночество, отдаляет от тебя. Ты прекрасен".

- "Ты такой же, как я!"

- "Молчи. Мы рискуем раствориться в слишком тесном единстве.

Натрави на меня своих собак и волков".

- "Бесполезно. Каждый новый скандал делает тебя еще прекраснее, тебя озаряет болезненное сияние".

Послышались звуки труб.

- Они убьют друг друга!

- Мужчины, разнимите их!

Женщины визжали. Оба брата выпрямились с ножами в руках и смотрели друг на друга почти мирно, так, как будто они приближались друг к другу только для того, чтобы обменяться флорентийской клятвой, которую обычно приносят в кинжалом в руке. Возможно, им хотелось проткнуть друг друга, чтобы пришить, привить себя другому. В конце улицы показался патруль.

- Легавые! Смывайтесь поскорее!

Глухо и быстро произнеся это, Марио бросился к Кэрелю, который хотел было его оттолкнуть, но Робер, заметив патруль, уже сложил свой нож. Его трясло. Едва оправившись от волнения, тяжело дыша, он сказал, обращаясь к Дэдэ, потому что посредник был еще необходим:

- Скажи ему, пусть сматывается.

И тут же, так как времени уже не оставалось, он отбросил все трагические церемонии, сопровождавшиеся театральной торжественностью (от которой всегда так трудно избавиться), и, как император, который обращается к своему врагу напрямую, вопреки требованиям военного этикета и поверх голов своих генералов и министров, он обратился прямо к своему брату. Сухо и властно, так, что это мог слышать лишь Кэрель, что еще раз свидетельствовало об их тайной близости, исключавшей присутствие при их схватке каких-либо свидетелей и зрителей, он сказал:

- Подожди. Я еще найду тебя. И мы закончим.

На мгновение Роберу пришла в голову мысль одному встретить патруль, но тот приближался с опасной быстротой. Он сказал:

- Ладно. Потом разберемся.

И они, не разговаривая, даже не глядя друг на друга, отошли к тротуару на другой стороне улицы. Дэдэ молча шел за Робером. Изредка его взгляд обращался к Кэрелю, правая рука которого была в крови.

В присутствии Робера Ноно вновь чувствовал себя настоящим мужчиной, чего в присутствии Кэреля ему почувствовать не удавалось. Не то чтобы он становился внутренне или внешне похож на педика, но рядом с Кэрелем, которого он уже не считал нормальным, любящим женщин мужчиной, он невольно погружался в смутную тревожную атмосферу, всегда окружающую мужчин, испытывающих гомосексуальное влечение. Они существуют в своей особой вселенной (со своими законами и тайными, невидимыми отношениями), откуда мысли о женщине изгнаны навсегда. В момент наслаждения оба самца испытывают друг к другу нечто вроде нежности (особенно хозяин), но нежность - не совсем точное слово, лучше было бы сказать: нечто вроде смеси признательности к доставившему тебе удовольствие телу, всепоглощающего успокоения после пережитого

наслаждения, физической усталости, почти отвращения, захлестывающего вас и приносящего облегчение, опрокидывающего и поднимающего над землей, и, наконец, грусти и этой легкой, промелькнувшей, как слабая вспышка, нежности, неизменно оказывающей незаметное воздействие на обычное физическое влечение между мужчиной и женщиной или просто между двумя живыми существами, из которых одно женского пола, а отсутствие в этой вселенной женщины делает обоих самцов самих немного женственнее. Присутствие женщины совсем не обязательно, это перевоплощение лучше удается не более слабому и молодому или более чуткому, но более изощренному, который часто бывает и сильнее, и старше. Двух мужчин объединяет некий тайный сговор, предполагающий отсутствие женщины, отчего женщина как бы невольно связывает их своим отсутствием. Именно поэтому они абсолютно не нуждаются в том, чтобы притворяться или казаться чем-то иным, чем они являются на самом деле: два мужественных самца могут ревновать или ненавидеть друг друга, но любить друг друга им совсем не обязательно. Сам того не желая, Ноно все рассказал Роберу. Теперь он больше не испытывал такой ярости, когда вспоминал разговор двух братьев:

-А ты неплохо устроился.

-Ну, это не так уж и приятно.

Очевидно, признание явилось следствием стыда, который мучил его с того знаменательного вечера. Никогда Ноно не пытался избавиться от Робера. Никогда Робер, зная правила игры, не просил у него прислать хозяйку. Впрочем, даже когда он приходил в бордель в качестве клиента, он лишь тогда замечал Мадам Лизиану, когда та сама его выбирала. Отметив про себя, что Робер никак не отреагировал на то, что его брат спит с ним, Ноно почувствовал глубокое облегчение. В душе он желал, чтобы Робер больше привязался к нему, признав его за своего зятя. Два дня спустя он признался ему во всем. Начал он издали.

-Я считаю, что я выиграл. Твой брат оказался достаточно уступчив.

-Не может быть.

-Честное слово. Только не говори об этом ему.

-Мне все равно. Но ты ведь не хочешь сказать, что тебе удалось его трахнуть?

Ноно хихикнул, вид у него был довольно смущенный и в то же время победоносный.

-Кроме шуток, тебе удалось? Знаешь, это удивительно.

Мадам Лизиана была добра и нежна. К сладостной нежности ее бледной плоти добавлялась доброта женщины, основным занятием которой была слежка за развратными мужчинами, воспринимаемыми ею как нуждающиеся в опеке очаровательные больные. Она советовала своим "девочкам" быть ангельски терпеливыми с этими господами: с чиновником из супрефектуры, требовавшим, чтобы Кармен прятала от него варенье, со старым адмиралом, который любил прогуливаться с пером в заднице и кудахтать, в то время как переодетая фермершей Элиана преследовала его, - терпеливыми с господином секретарем суда, который хотел, чтобы его укачивали, терпеливыми с тем, кто, привязав себя цепью к ножке кровати, громко лаял, терпеливыми со всеми этими мрачными и скрытными господами, которых атмосфера борделя и нежность ангелочков Мадам Лизианы выворачивала наизнанку, заставляя

продемонстрировать все богатство и неземную красоту своей души. Иногда, пожимая плечами, Мадам Лизиана говорила, обращаясь к самой себе:

- К счастью, не все девушки на свете непорочны, это позволяет разным недоделкам познать, что такое любовь.

Она была сама доброта.

Робер все еще недоверчиво улыбался.

-А если я тебе скажу, что дело уже сделано? Но молчок, ладно?

-Я же сказал.

Пока хозяин излагал все детали происшедшего, рассказывая о том, как Кэрель смошенничал, бросая кости, Робер все больше погружался в апатию. Его душила ярость. Со сжатыми от стыда губами и бледными впалыми щеками он чувствовал себя перед Ноно жалким и слабым.

Помимо Пенфелда и моря, Брест отделен от окружающего мира мощными фортификационными сооружениями. Они состоят из глубокого рва и насыпи. Насыпь - с внешней и внутренней стороны - вся усажена акациями. Со стороны города вдоль них проходит дорога, где и был оставлен убитый Кэрелем Вик. Ров зарос густым кустарником и, местами, болотным тростником, в нем полно всякого хлама. Туда сбрасывают целые кучи мусора. В течение всего лета моряки, сошедшие вечером на берег и не успевшие вернуться на борт с последней шлюпкой в 22 часа, спят там до прихода следующей, в 6 часов утра. Они лежат прямо на траве, среди обломков. Ров и прилегающие к нему лужайки усеяны в это время спящими на листьях матросами. Расположение деревьев, корней, всевозможные ухабы и необходимость сохранить парадный мундир вынуждают их принимать самые причудливые позы. Предварительно поблевав и сняв с себя брюки, они вытягиваются во весь рост или сворачиваются калачиком, стараясь устроиться на краю испачканного места. Во рву повсюду валяются кучи говна. Среди них моряки и готовят себе гнезда для сна. Они засыпают под ветвями и просыпаются от утренней прохлады. Кое-где во рву виднеются повозки цыган, костры, слышатся споры и крики шивых ребятишек. Цыгане ходят по деревьям, где живут наивные бретонцы и кокетливые девушки, которых можно легко прельстить корзинкой обрезков машинных кружев. Стены выложены из твердого камня. В толстой неровной стене, идущей вдоль склона вокруг всего города, из-за проросшего в щели дерева несколько камней отсутствует. Именно на этом поросшем деревьями склоне, неподалеку и от госпиталя, и от тюрьмы, всю неделю по вечерам репетируют трубачи 28-го полка колониальной инфантерии. На следующий день после убийства, перед тем, как отправиться в "Феерию", Кэрель прогуливался среди этих древних укреплений, правда, не приближаясь к месту преступления, где полиция могла оставить часовых. Он искал место для тайника с драгоценностями. Его тайники были разбросаны по всему миру, их местонахождение было хитроумно помечено в хранившихся в его мешке бумагах. Китай, Сирия,

Марокко, Бельгия. Книжка с этими записями напоминала полицейский "реестр убийств".

"Шанхай. Французское консульство. Сад. Баобаб у решетки.

Бейрут. Дамаск. Женская фигура у пианино. Стена слева.

Касабланка. Банк Альфан.

Антверпен. Собор. Колокольня".

Кэрель прекрасно помнил, где хранятся его сокровища. Он скрупулезно фиксировал в своей памяти все детали, стараясь не упустить ни одной характерной особенности найденного им для тайника места. Он запоминал каждую трещину в камне, каждый корень, насекомых, запахи, время, расположение теней и солнца - стоило ему только захотеть, и в его памяти с удивительной точностью восстанавливались все мельчайшие подробности этих кратковременных эпизодов его жизни, которые все вместе начинали сиять в его сознании, освещенные ослепительным праздничным светом. Ему открывались вдруг все детали такого тайника. Они были выпуклы и ярко освещены, отчего казались выверенными с математической точностью. Кэрель помнил о тайниках, но старался забыть о том, что в них хранится, чтобы потом, когда он совершит кругосветное путешествие специально для того, чтобы снова их обнаружить, полнее пережить радостное удивление. Эта таинственная неопределенность скрытых богатств как нимб сияла над тайником, над этой обманчивой, обрамленной золотом щелью, и, понемногу удаляясь от своего источника, поднималась над миром, обволакивая его нежным и ласковым светом, в котором душа Кэреля чувствовала себя свободно и легко.

Богатство давало Кэрелю возможность чувствовать себя сильным. В Шанхае под корнями баобаба у решетки он захоронил плоды пяти ограблений и совершенного в Индокитае убийства русской танцовщицы, в Дамаске в руинах статуи женщины у пианино он зарыл добытое в результате убийства, совершенного в Бейруте. За это преступление его соучастник получил двадцать лет каторги. В Касабланке Кэрель припрятал украденное в Каире у французского консула. С этим связано воспоминание о гибели английского моряка, бывшего его соучастником. В Антверпене на колокольне собора он спрятал добытое в результате нескольких осуществленных в Испании краж, повлекших за собой смерть немецкого докера, его соучастника и жертвы.

Кэрель шел среди мусора. Как и тогда, после преступления, он снова слышал шум колеблемой ветром травы. Он не испытывал ни малейшего дискомфорта и тем более угрызений совести, и это не должно показаться удивительным тому, кто поймет, что Кэрель давно уже решил: не позволять преступлению поглотить себя, а всегда носить преступление в себе. Это требует краткого объяснения. Если бы Кэрель с манерой поведения, подходящей к обычной жизни, внезапно оказался в измененной вселенной, он бы испытал чувство одиночества и некоторый испуг - от ощущения собственной необычности. Но приняв идею убийства, вобрав ее в себя, сделав ее испарением своего тела, он подчинил ей весь окружающий мир. Его поведение было вполне созвучно этому состоянию. Кэрель испытывал чувство совсем иного одиночества: одиночества избранности творца. Однако следует иметь в виду, что все, о чем мы здесь говорим, переживалось нашим героем, скорее, бессознательно. Он осмотрел каждую щель в окружавшей ров стене. В

одном месте обломки были очень крупные и прилепали вплотную к стене. Их основание находилось под кладкой стены. Кэрель внимательно огляделся. Место ему понравилось. Сзади никто не шел. Вокруг, и на насыпи, и над стеной, никого не было. Во рву он был один. Чтобы защитить руки от колючек, он засунул их в карманы и вразвалку зашел в кустарник. На мгновение он неподвижно застыл у подножия стены, рассматривая кладку. Он выбирал камень, который нужно было сдвинуть, чтобы в стене образовалось углубление. Небольшой холщовый мешочек с золотом, перстнями, сломанными браслетами, серьгами и итальянскими золотыми монетами не должен был занять много места. Он долго смотрел. И вскоре впал в какой-то гипнотический сон, сомнамбулическое состояние, отчего окончательно слился с местом, в котором находился. Он прислонился к стене, все детали которой его сознание фиксировало с болезненной ясностью, и чувствовал, как его тело начинает проникать сквозь эту стену. Все его десять пальцев вдруг обрели зрение. И мускулы тоже. Вскоре он сам стал стеной и застыл так на мгновение, чувствуя, как в нем живут все крупницы камней, как его ранят трещины, из которых течет невидимая кровь и исходят его душа и безмолвные стоны, как паук щекочет крошечную впадинку между его пальцами, а листок нежно касается одного из его влажных камней. Наконец, очнувшись, он заметил, что прижат к стене, острые мокрые выступы которой ощупывает своими руками, и постарался отделиться от нее, выйти наружу, но он оторвался от нее уже навсегда помятый, отмеченный этим неповторимым местом насыпи, которое запечатлелось в памяти его тела, и Кэрель был уверен, что сможет найти его и пять, и десять лет спустя. Поворачиваясь, он вдруг вспомнил, хотя это и не имело для него особого значения, что в Бресте совершено еще одно преступление. В газете ему попала фотография Жилия, и он узнал улыбающегося певца.

На "Мстителе" Кэрель по-прежнему был отрешенно высокомерен и невозмутим. Обязанности ординарца не мешали ему сохранять свою пугающую грацию. Он выполнял все поручения лейтенанта с самым беззаботным видом, а тот, после того как Кэрель ответил ему с такой убийственной иронией и сознанием своей власти над влюбленным, больше не решался взглянуть ему в лицо. Кэрель выделялся среди товарищей своей силой, серьезностью и авторитетом, который еще больше вырос, когда они узнали, что по вечерам он навещает в "Феерию". Он ходил только туда, и все матросы заметили, что он здоровается за руку с хозяином и Мадам Лизианой. Хозяина "Феерии" знали на всех морях. Морякам не терпелось увидеть бордель, но когда они видели перед собой на темной и сырой улице этот грязный полуразвалившийся домишко с запертыми ставнями, они не могли прийти в себя от волнения. Многие из них так и не осмеливались шагнуть за утыканную гвоздями дверь. И то, что Кэрель был там своим человеком, еще больше увеличивало его значимость в их глазах. Им и в голову не могло прийти, что он бросал с хозяином кости. Авторитет Кэреля был настолько велик, что подобные посещения только подчеркивали его необычность и превосходство. И то, что рядом с ним никогда не видели шлюх, доказывало лишь то, что он приходил туда не как обычный клиент, а как особо приближенное лицо и кореш хозяина. Он был военным моряком, а наличие у него женщины сделало бы из него

обычного самца. Его авторитет ставил его вровень с теми, кто имел нашивки. Кэрель чувствовал себя окруженным всеобщим вниманием и от этого иногда забывался. Зная о тайной страсти лейтенанта, он порой бывал с ним дерзок. Кэрель не без лукавства пытался еще сильнее разжечь эту страсть, непринужденно принимая самые вызывающие позы: то он опирался на дверной проем, подняв руку и демонстрируя свою подмышку, то садился на стол так, что его ляжки сплющивались, а штаны задирались, открывая мускулистые волосатые икры, то выгибал спину или, разговаривая с офицером, принимал еще более вызывающую позу и шел по его зову, выпятив живот и засунув руки в карманы, натягивая ткань ширинки на члене и яйцах. Лейтенант был близок к безумию, но хоть как-то выразить свой гнев, недовольство или даже свое восхищение Кэрелем он не решался. Самым дорогим его воспоминанием, которое он бережно хранил - часто мысленно возвращаясь к нему - было воспоминание об Александрии в Египте, когда в полдень матрос внезапно появился на наружном трапе корабля. Кэрель смеялся, обнажив все свои зубы, но абсолютно беззвучно. У него было бронзовое, даже, можно сказать, позолоченное лицо, какое часто бывает у блондинов. В саду у араба он сорвал пять или шесть усыпанных мандаринами веток, а так как он не любил, чтобы в его руках во время ходьбы было что-нибудь, что мешало бы ему свободно поводить плечами, он засунул их в вырез своей белой куртки, откуда из-за его черного сатинового галстука они и торчали, касаясь его подбородка. Эта деталь заставила офицера почувствовать внезапную почти интимную близость к Кэрелю. Листва, высывающаяся из выреза его куртки, без сомнения, росла на его широкой груди вместо волос, и может быть, на одной из подобных драгоценных и скрытых веток росли и его великолепные, твердые и вместе с тем нежные яйца. На мгновение неподвижно застыв на трапе, Кэрель коснулся ногой обжигающей металлической поверхности палубы и направился к своим товарищам. Почти весь экипаж был на берегу. Оставшиеся же, разморенные солнцем, лежали в тени паруса. Один из парней крикнул :

-Вот зараза! Прямо, как стручок! Что, руки уже не держат?

-А тогда бы ты сказал, что я на свадьбу собрался.

Кэрель с трудом достал цеплявшиеся за его тельняшку и черный сатиновый галстук ветви. Он по-прежнему улыбался.

-Где ты это взял?

-В саду. Я туда зашел.

Убийства делали Кэреля недоступным для окружающих, образуя вокруг него великолепную изгородь, но иногда ему начинало казаться, что она блекнет и от нее остается один металлический остов. Это ощущение было ужасно. Покинутый своими могущественными покровителями - в реальности существования которых он вдруг начинал сомневаться, отчего перед ним и возникал этот образ обнаженных металлических стеблей, - он чувствовал себя среди других мужчин жалким и незащищенным. Но он мгновенно брал себя в руки. Стуча каблуками о грубую палубу "Мстителя", он как бы переносился на Елисейские поля и снова обретал подлинный смысл своих мрачных убийств. Но перед этим, опасаясь, что его авторитет может быть поколеблен, он становился особенно безжалостен к окружающим, тогда как ему самому казалось, что он с ними предельно ласков. Все в экипаже видели, что он

разъярен. Его же ошибочное ощущение было следствием того, что он не привык ни к дружбе, ни к товарищеским отношениям. Его шутки, которыми он пытался завоевать симпатии своих товарищей, на самом деле больно ранили их. И, уязвленные, они начинали лягаться и вставать на дыбы. Кэрель же продолжал упираться, разъярясь уже на самом деле. Но настоящую симпатию способны вызвать только жестокость и ненависть. Подлостью Кэреля восхищались, все его ненавидели, и эта направленная против него ненависть делала его красоту как бы высеченной из мрамора. Он заметил смотревшего на него лейтенанта и, улыбнувшись, направился к нему. Удаленность от Франции, взаимное расположение, установившееся среди мужчин в этот выходной день, изнуряющая жара и вся приподнятая атмосфера стоящего на рейде судна несколько ослабили строгость отношений между офицерами и матросами. Он сказал:

-Хотите мандарин, лейтенант?

Офицер, улыбаясь, приблизился. Тогда и совершился этот двойной, начатый одновременно акт: в то время как Кэрель поднес руку к плоду, стараясь его оторвать, лейтенант вытащил свою руку из кармана и медленно протянул ее матросу, который, улыбаясь, вложил в нее свой подарок. Синхронность этих двух жестов глубоко потрясла офицера. Он сказал:

-Благодарю вас, матрос.

-Не за что, лейтенант.

Кэрель повернулся к своим товарищам, сорвал еще несколько мандаринов и бросил их им. Лейтенант медленно удалился, он с деланной небрежностью очищал свой плод, радостно твердя про себя, что отныне его любовь к Кэрелю будет чиста, ибо первый объединивший их жест был исполнен такой трогательной гармонии, что она могла исходить только из их душ или даже из единственной сущности - любви, которая, покинув свое скрытое убежище, распалась на два луча. Внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что его никто не видит, он повернулся спиной к матросам и положил мандарин себе в рот целиком, на мгновение задержав его за щекой.

"Это напоминает яйца красивых мальчиков, предназначенные для того, чтобы их смаковали старые морские волки", - подумал он.

Он незаметно оглянулся. Кэрель стоял спиной к нему перед лежащими матросами, которые издали сливались в одну огромную массу сильных мужских тел. Лейтенант обернулся как раз в тот момент, когда тот, слегка согнув свои длинные, обтянутые белым полотном ноги и положив руки на бедра, напрягся (он даже представил себе налившееся кровью лицо ожидающего облегчения матроса, его выпученные глаза и застывшую улыбку), потом напрягся еще сильнее и, наконец, выпустил в его направлении серию звонких, бодрых, нервных и сухих выстрелов, как если бы его знаменитые белые штаны (Кэрель называл их своими "шкарами") вдруг разорвались сверху донизу; это было встречено криками "ура", радостными воплями и раскатами смеха его товарищей. Пристыженный лейтенант резко отвернулся и удалился. У Кэреля эта видимость веселья (мы говорим "видимость", потому что это веселье было неглубоким, всего лишь чем-то вроде легкого опьянения) на самом деле явилась следствием внутренней тоски. (Мы не считаем подобное поведение патологическим. Описанные выше реакции можно наблюдать у

всех мужчин.) Кэрель шел на свои самые рискованные дела, стараясь не совершать ошибок, но сразу же после кражи или даже убийства он всегда замечал допущенную им оплошность, а иногда и несколько. Часто это была какая-нибудь мелочь. Легкая заминка, неловко положенная рука, зажигалка, забытая в кулаке убитого, тень, отброшенная его профилем на светлую поверхность, на которой, ему казалось, она так и осталась, - конечно, все это было не так важно, но иногда он доходил до того, что начинал опасаться, как бы его глаза, запечатлевшие образ жертвы, не выдали этот образ посторонним. Всякий раз он снова и снова повторял в уме совершенное им преступление. Именно тогда он и замечал ошибку. Его удивительная способность к ретроспективному воспроизведению позволяла ему ее зафиксировать. (А хотя бы одна бывала всегда.) И для того чтобы не впасть окончательно в отчаяние, Кэрель с улыбкой полагался на хранившую его звезду. Он говорил себе: "Ладно. Я знаю, что сделал это нарочно. Нарочно. Так интереснее".

Страх не подавлял, а скорее, возвышал его, потому что укреплял его глубокую, страстную и вместе с тем такую непосредственную веру в свою звезду. Его улыбка была предназначена именно ей. Он не сомневался, что эта небесная покровительница убийцы преисполнена веселья, и грусть, которую он чувствовал в ней, была подобна той, какая порой проступала в его улыбке в минуты полного одиночества, в котором он оказывался по воле своей необычной судьбы, - под словами "полное одиночество" мы понимаем такое, которое к этому одиночеству стремится и является для себя самого источником и отправной точкой. Особенно остро одиночество ощущается по утрам, при пробуждении, когда опьяненные сном и духотой ночи матросы, согнувшись, ворочаются в гамаке, свесив грудь или ноги, как карпы в тине, которые бьются о землю или воду своим хвостом, и рот их, зевая, так округляется, что туда невольно просится член товарища, готовый проникнуть в него так же глубоко, как поток ветра. Он должен был улыбаться своей звезде. Хотя бы для того, чтобы скрыть от нее свои сомнения. Улыбаясь ей, он отчетливо ее видел.

"Что бы я делал, если бы ее не было?"

Это было равносильно вопросу: "Чем бы я был, если бы ее не было?" "Невозможно просто служить матросом, это профессия, в это можно верить, но надо именно быть им, если хочешь быть хоть кем-то". Предназначенная звезде улыбка пронизывала все его тело, опутывая его паутиной своих лучей, отчего в Кэреле расцветало целое созвездие. Подобную признательность Жиль Тюрко испытывал к своему геморрою. Когда Кэрель вышел из сада в Александрии, он уже не мог бросить на улице сорванные ветви. Куда их бросить? Любопытный в пыли нищий, любой арабский мальчишка заметил бы французского матроса, выбрасывающего ветви с мандаринами. Лучше было спрятать их на себе. И, стараясь привлечь к себе как можно меньше внимания, Кэрель довольствовался тем, что по дороге на корабль засунул ветви в вырез своей куртки, выставив листья и несколько плодов, воздвигнув тем самым в честь своей звезды скромный алтарь на груди. Но прибыв на борт, он вдруг почувствовал за своей спиной опасность, от которой долго бежал, хотя он и не думал постоянно о совершенном преступлении; тогда, поставив одну ногу на ступеньку трапа и болтая другой в воздухе, он и обратил

свою колдовскую улыбку к таинственной ночи. В кармане брюк у него лежало кольцо из золотых монет и два куса "руки Фатимы", украденные на вилле, где он рвал мандарины. Золото тянуло его к земле и вселяло в него чувство уверенности. Распределив листву и фрукты между изнывающими от жары и скуки матросами, он внезапно почувствовал себя таким невинным и прозрачно чистым, что по дороге от трапа до носа корабля едва удержался от того, чтобы на глазах у всех не достать ворованные сокровища. Подобная легкость, проистекавшая из веры в свою звезду, смешанной с сознанием того, что все пропало, помогла ему (слово "легкость" предполагает глагол "облегчить"), облегчила ему и путь с насыпей, когда внезапно в его мозгу с поразительной ясностью промелькнуло: полицейские обнаружили рядом с убитым матросом зажигалку, и эта зажигалка, как писали газеты, принадлежала Жильберу Тюрко. Обнаружение опасной улики возбудило его так, как будто бы оно противопоставляло его всему миру. Это позволяло ему снова пережить все совершенное им - а значит, и подвергнуть его сомнению; оттолкнувшись от этой детали, он мог расчленить его на отдельные действия, такие шумные и яркие, как будто весь этот акт был обращен к Богу или какому-то другому свидетелю и судьбе. Кэрель осознал, что допустил ужасную, смертельную ошибку. Он ощущал на себе дыхание Ада, и тем не менее уже брезжил рассвет, такой же чистый, как этот уголок неба, увенчанный голубой и наивной Девой, видневшейся в просвете тумана над каркасом церкви в Ля Рошели. Кэрель знал, что будет спасен. Постепенно он приходил в себя. Он погружался в глубины своего подсознания, желая вновь обрести там своего брата. Мы говорим не о нежности или братской любви, а скорее о том, что обычно называют предчувствием (приставка "пред-" употребляется здесь в своем прямом значении). Кэрель предчувствовал своего брата. Конечно, еще совсем недавно он был его противником в едва ли не смертельной схватке, но бросающаяся в глаза ненависть не мешала ему в глубине себя ощущать присутствие Робера. Подозрения Мадам Лизианы оказались справедливыми: их красота ощетинилась, показав свои зубы, ненависть исказила их лица, а тела сплелись в смертельной борьбе. У любовниц участников этой схватки не было никаких шансов выйти из нее живыми. Но еще в юности во время их драк невозможно было избавиться от мысли, что где-то там, в глубине, за их искаженными лицами их сходство сочетается тайным браком. Именно в глубине этого сходства Кэрель и мог вновь обрести своего брата.

В конце улицы Робер внезапно повернул налево, в направлении борделя, а Кэрель - направо. Он все еще сжимал зубы. В присутствии Дэдэ его брат, вне себя от ярости, почти вслух бросил ему :

-Сука. Тебя выеб Ноно. И угораздило же этого педика с корабля притащить тебя сюда. Ублюдок.

Кэрель побледнел и уставился на Робера:

-Мне случалось делать кое-что и похуже. Это никого не касается.

И вообще, вали отсюда, пока я тебе не показал, кто из нас двоих ублюдок.

Парнишка застыл, ожидая, что Робер захочет смыть нанесенное ему

оскорбление кровью. Началась драка. Тем не менее, когда Кэрель уже свернул направо, он все еще ждал, что ему представится возможность высказать все свое презрение брату в лицо и тем самым, схватившись с ним и обозначив свою - вполне реальную - ненависть к нему, он сможет наконец воссоединиться с ним в глубине самого себя. Выпрямившись, с высоко поднятой головой, с плотно сжатыми губами и устремленным вдаль взглядом, прижав локти к телу, собранной и сосредоточенной походкой, стараясь ступать как можно мягче, он пошел в направлении насыпей, а точнее, к стене, где были спрятаны его сокровища. И чем ближе он подходил к ней, тем легче становилось у него на душе. Он уже не помнил точно всех своих рискованных авантур, в результате которых он стал обладателем этих драгоценностей, - достаточно было того, что они находились здесь, рядом, свидетельствуя о его смелости и реальности его существования. Выйдя на лужайку вблизи священной, невидимой из-за тумана стены, Кэрель расставил ноги, засунул руки в карманы куртки и неподвижно застыл: он находился совсем рядом с этим зажженным им и излучавшим нежное свечение очагом. Его богатство служило ему убежищем, где он чувствовал себя могущественным и отдыхал; здесь Кэрель уже не испытывал прежней ненависти к своему брату. Единственно, что его беспокоило, - это то, что Дэдэ присутствовал при драке. Не то чтобы ему было стыдно перед мальчишкой, просто он опасался, что тот проболтается, а Кэрель знал, что он уже достаточно известен в Бресте.

"Стою лицом к морю. Ни море, ни ночь не успокаивают меня. Напротив. Достаточно промелькнуть тени матроса... Он, должно быть, красив. В этой тени и благодаря ей он может быть только красив. На борту корабля находятся великолепные облаченные в белые и лазурные одежды животные. Каждая промелькнувшая передо мной тень пробуждает во мне желание. Один самец прекраснее другого, кого из них мне предпочесть? Стоит мне расстаться с одним, как я уже хочу другого. Но меня успокаивает сознание того, что на самом деле существует только один-единственный моряк. И каждый индивидуум, которого я вижу, это всего лишь мгновенное воплощение - мимолетное и неполное - всего, что несет в себе Море. У него есть сила, твердость, красота, жестокость и т.д. - все, кроме универсальности. Каждый проходящий мимо меня матрос невольно соотносится с тем, что несет в себе Море. Все представшие передо мной одновременно матросы и каждый из них в отдельности не являются тем единственным моряком, которого они представляют и который существует только в моем воображении и может до конца воплотиться лишь во мне и через меня. Это меня утешает. Только я до конца обладаю тем, что несет в себе Море.

Кэрель оскорбляет боцмана. Боцман:

-Я налагаю на вас взыскание.

-Тоже мне, умник нашелся, может, дашь немного мозга жопу помазать!

Я с наслаждением подписал приказ о наказании Кэреля. Однако ему удалось избежать военного трибунала. Я хочу, чтобы он был мне

обязан и всегда помнил об этом. Он улыбнулся. И вдруг я до конца постиг весь ужасный смысл выражения: "Он еще жив", относящегося к раненому и бьющемуся в предсмертных судорогах человеку.

Складка на моих офицерских брюках не менее важна, чем мои нашивки.

Я люблю море. Бьющее по воде лошадиное копыто. Битва кентавров.

Кэрель бросает товарищам: "Ветерок!" Или: "Ветер!" И плавно и уверенно, как корабль под парусами, идет дальше.

Рука мастера коснулась каждого завитка, каждого мускула, глаза и ушной раковины, придав им совершенную форму. Из мельчайших складок и самых укромных уголков его тела исходят волнующие меня лучи: сгиб его пальца, пересечение линий руки и шеи пробуждают во мне волнение, в которое я сам добровольно погружаюсь, чтобы потом сильнее ощутить нежное прикосновение его живота, такого же нежного, как прикосновение усыпанной сосновыми иглами земли в лесу. Осознает ли он сам красоту своего тела? А его силу? Днем через порты и арсеналы он тащит на себе нагромождение теней и всю тяжесть сумерек, где отдыхают и набираются сил тысячи взглядов, ночью же на его плечи ложатся горы света, а его бедра победоносно разгоняют волны родного моря, океан затихает и ложится к его ногам, его грудь колышется и тонет в благоухании. На борту этого корабля его присутствие столь же удивительно - и столь же дико и бессмысленно, - как присутствие здесь кнута, извозчика, белки или пучка зеленой травы. Утром, проходя мимо меня - я не знаю, заметил ли он меня, - он двумя пальцами, в которых была зажата зажженная сигарета, сдвинул свой берет назад и сказал, обращаясь к кому-то неведомому, скрытому в дневном воздухе:

-Если хочешь выделиться, то носи его так.

Переливающиеся на солнце великолепные каштановые и светлые кольца его волос покрыли верхнюю часть его лба. Я смотрел на него с легким презрением. Конечно же, в это время он еще находился под впечатлением сияющих ночных гроздьев, сорванных им в беседках на берегу с тех самых лоз, которые какие-нибудь легкомысленные девы посадили в память о себе.

Я люблю его. Офицеры навевают на меня скуку. Почему я сам не матрос! Я стою на ветру. Холод и боль сжимают мою голову, увенчивая меня металлической тиарой. Я расту и таю.

Настоящим Моряком может быть только тот, кого я люблю.

Плакат был великолепен: одетый в белое матрос с винтовкой, опоясанный ремнем и кожаным патронташем. Гетры. Сбоку штык. Пальма. Павильон. Выражение лица суровое и презрительное. Ему восемнадцать лет. И смерть ему не страшна!

"Посылать этих крепких и гордых парней на смерть! Корабль с пробоиной медленно погружается в воду, а я один - сопровождаемый,

быть может, только этим вооруженным матросом, который должен умереть вместе со мною,- стоя на носу, наблюдаю, как тонут эти прекрасные юноши".

Говорят, что корабль идет ко дну.

Замечают ли остальные офицеры мое состояние и мое смятение? Я бы не хотел, чтобы это хоть как-то сказалось на моем служебном положении и моих отношениях с ними. Все это утро я был поглощен созерцанием воображаемых образов молодых людей: воров, жестоких воинов, сутенеров, улыбающихся кровавых грабителей и т.д. Вернее, я только пытался представить их себе, чем видел на самом деле. Они появлялись и тут же мгновенно рассеивались. Это были, как я уже сказал, образы молодых людей, которые на одну или две секунды мне удалось вызвать в своем воображении.

Пусть он подставит свои бедра, и, садясь, я облокочусь на них, как на ручки кресла!

Морской офицер. Подростком и даже в годы ученичества я и не думал о том, что профессия моряка предоставит мне такое великолепное алиби. Можно спокойно оставаться холостяком. Женщины не спрашивают вас, почему вы не женаты. Они даже вас жалеют, потому что вы не знали настоящей любви, а только - мимолетные увлечения. Море. Одиночество. "Женщины в каждом порту". Никто не интересуется, помолвлен я или нет. Ни товарищи, ни мать. Мы постоянно странствуем.

С тех пор, как я полюбил Кэреля, я стал не так взыскателен по службе. Любовь смягчила меня. Чем сильнее я люблю Кэреля, тем больше пробуждается во мне женщина, которую невозможность получить удовлетворение делает нежной и грустной. Думая о том, к чему могут привести мои странные отношения с Кэрелем, какие унижения и внутренние потрясения мне еще предстоит пережить, я невольно спрашиваю себя: "Зачем?"

Снова видел адмирала А... Кажется, вот уже двадцать лет, как он вдовец. Тихий и постоянно улыбающийся, он сам напоминает собственную вдову. Сопровождающий его повсюду молодец (его шофер, а не ординарец) знаменует собой приход его второй молодости.

Я вернулся из десятидневной командировки. Встреча с Кэрелем производит во мне и вокруг меня в переливающемся на солнце воздухе нечто вроде легкого сотрясения, трагического и нежного одновременно. Весь день плывет, как в тумане: я вернулся, я вернулся навсегда. Кэрель знает, что я его люблю. Он мог догадаться об этом по тому, как я смотрю на него, и я вижу, что он знает, по его пьянящей нагловатой улыбке. Он не сомневается, что я привязан к нему, и можно заметить, как он старается привязать меня еще сильнее. Охватившее нас смущение позволяет нам лучше почувствовать исключительную целомудренность

этого дня. Даже если бы представилась такая возможность, я бы не смог сегодня вечером заниматься любовью с Кэрелем. Как, впрочем, и с кем-нибудь другим. Радость возвращения наполнила меня огромным счастьем и вобрала в себя всю мою страсть.

Несмотря на туман, я шел и издали следил за Кэрелем. Он вошел в самый грязный здешний бордель, "Феерию". Наверняка он подвизается там в качестве сутенера. Спрятавшись в туалете, я наблюдал еще несколько минут. Он не вышел.

Сегодня мне исполнилось тридцать два года. Я устал. Я неплохо сложен, но до него мне далеко. Не расхохочется ли он, когда увидит меня обнаженным?

Вот уже два месяца Кэрель служит у меня ординарцем. Мне становится все труднее сдерживать себя, тщательно взвешивать каждое свое слово, соизмерять жесты. Мне хотелось бы броситься ему в ноги и дать ему себя растоптать, или же пусть любовь его самого бросит к моим ногам. Расшевелить этого утонченного юношу не так просто, его тело излучает какую-то непонятную силу, которая переполняет его и, не находя себе применения, производит пугающее впечатление; стоя перед ним, я испытываю такое же чувство, как если бы видел летящую на меня крепость. Что он со мной сделает? Куда он меня несет? К какой грандиозной губительной космической катастрофе?

Я нажимаю мизинцем на один рычаг. А если попробовать на другой?

"Мне снился кошмарный сон. Я могу восстановить только следующее: мы (десяток незнакомых между собой человек) находились в конюшне. Один из нас должен был его (я его не знаю) убить. Какой-то юноша согласился сделать это. Приговоренный к смерти был абсолютно невиновен. Мы наблюдали, как совершается убийство. Добровольный палач нанес в зеленоватую спину несчастного несколько ударов вилами. Над жертвой внезапно появилось зеркало, и мы увидели, как побледнели наши лица. По мере того как спину жертвы заливала кровь, они становились все бледнее. Палач колот из последних сил. (Я уверен, что верно передаю этот сон, потому что я его не помню и слова сами слагаются во фразы.) Безвинно осужденный на смерть, претерпевая жестокие страдания, помогал убийце. Он указывал, куда наносить удары. Он сам активно участвовал в этой драме, хотя в его глазах и застыл горький упрек. Еще я заметил, что убийца был красив и озарен каким-то дьявольским сиянием. Из-за этого сна весь день оказался как бы забрызган кровью. Можно было даже сказать: день получил кровотокающую рану".

Робер держался за Мадам Лизиану, которой он, к своему стыду, вынужден был все больше и больше подчиняться. Хозяйка уже не

сомневалась в своей власти над ним. Однажды вечером, когда она терлась о него своими пышными формами, он в раздражении отбросил щекотавшие его волосы. Продолжая ласкаться, она томно прошептала:

-Ты меня не любишь.

-Я тебя не люблю?

Испутив этот приглушенный крик протеста, Робер внезапно решил засвидетельствовать свою преданность следующим образом: обхватив двумя руками голову своей любовницы, он засунул свой нос ей в рот и поболтал им там. Когда он его вытащил, оба разразились смехом, пораженные неожиданностью и непосредственностью этого доказательства любви. Действительно, следует учесть, что Робер всегда ненавидел эту так нравившуюся Мадам Лизиане игру. Но именно ее он внезапно и выбрал, чтобы выразить свой протест против обвинения любовницы, и здесь явственно проявилась его по-детски нежная душа и стремление - воистину героическое, ибо этот жест был всего лишь провокацией - избавиться от материнской опеки "Феерии".

Рука у Кэреля была сильная и твердая, и Марио, протягивая ему свою, не был готов к этому, собираясь пожать руку женственную и слабую. Его мускулы не ожидали подобного рукопожатия. Он взглянул на Кэреля. Этот красивый парень с безупречным, несмотря на однодневную щетину, лицом не только своей внешностью, но и атлетическим сложением напоминал Робера, он был мужественен, решителен и даже немного грубоват. (Грубость и сила ощущались и в подчеркнутой скупости его жестов.)

-Ноно у себя?

-Нет, он вышел.

-Значит, ты пока вместо него.

-Есть еще и хозяйка. Разве ты не знаешь?

Задавая этот вопрос, Марио взглянул Кэрелю прямо в глаза и ухмыльнулся. Рот его скривился в улыбке, а взгляд по-прежнему оставался холодным и безжалостным. Но Кэрель ничего не заметил.

-Знаю...

Он протянул слово "знаю" нараспев, с подчеркнутой небрежностью, так, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся. Одновременно он скрестил ноги и достал сигарету. Он вел себя так, как если бы изо всех сил стремился кому-то показать, что все, о чем в данный момент говорится, его абсолютно не волнует.

-Хочешь сигарету?

-Если не жалко.

Они закурили, первые клубы дыма окутали их, Кэрель с победоносным видом выпускал его через нос, в душе тайно гордясь тем, что может "тыкать" легавому, почти офицеру.

В полиции сразу предположили, что оба убийства были делом рук Жилия. Это предположение подтвердилось, когда каменщики обнаружили и опознали найденную в траве рядом с убитым матросом зажигалку. Сперва полицейским пришла в голову мысль о мести, потом о любовной драме, наконец они остановились на идее сексуального извращения. Во всех

помещениях брестского комиссариата царила атмосфера безысходности, в которой, правда, было что-то успокаивающее. Нельзя сказать, что сами полицейские чувствовали себя в этой атмосфере очень уютно. К стенам было приколото несколько фотографий службы судебной антропометрии с изображением разыскиваемых преступников, подозреваемых в ограблении порта. Все столы были завалены папками с бумагами и важными уликами. Едва Жиль вошел в бюро комиссариата, как его буквально захлестнули волны беспощадной суровости. Впервые он столкнулся с этой беспощадностью в тот момент, когда Марио его арестовал: полицейский схватил его за рукав, Жиль вырвался, но он не ожидал, что Марио снова и еще сильнее вцепится в него, сжав его бицепс с такой властью, что молодой каменщик невольно вынужден был сдаться. Именно в этом кратком миге неопределенности между двумя крайностями - бесконечной свободой и полной безысходностью - и заключается все очарование игры, охоты, иронии, жестокости, возмездия, составляющих удивительную суровую сущность Полиции, душу полицейского и глубокое отчаяние Жилия. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы окончательно не поддаться этому очарованию, к тому же у сопровождающего Марио инспектора было такое юное, излучавшее гнев и удовольствие от удачной поимки лицо. Жиль сказал:

- Что вы от меня хотите?

И с дрожью в голосе добавил: "Мсье..."

Молодой инспектор ответил:

-Скоро ты увидишь, чего от тебя хотят.

Инспектор держался высокомерно, и Жиль вдруг внезапно почувствовал, что молодой полицейский был доволен тем, что Марио надел на руки убийцы пару наручников. Он мог теперь подойти, оскорбить и даже ударить гордого свободного хищника, оказавшегося вдруг полностью беззащитным. Жиль обернулся к Марио. Его детская душа, на мгновение встrepенувшись, вновь поникла. Так и не дождавшись тысячи легионов ангелов, которые должны были прилететь и защитить его, он понял, что должна свершиться воля Господня. Чувствуя необходимость произнести перед смертью красивую фразу - хотя и молчание порой тоже может восприниматься как красивая фраза,- которая бы завершала и царственно венчала его жизнь, вобрав в себя весь ее смысл, он сказал:

-В жизни все бывает.

В комиссариате было невыносимо жарко, и он уже не мог ни о чем думать и постепенно ослаб до такой степени, что почувствовал себя полностью опустошенным и бессильным перед комнатным радиатором, который постоянно вздрагивал и как бы готовился наброситься на него и окончательно задушить. Страх и стыд мучили его. Он упрекал себя в неспособности держаться достойно. Он знал, что эти стены хранят в себе тайны гораздо более кровавые и ужасные, чем его. Увидев его, комиссар был удивлен. Он не думал, что убийца может быть таким. Когда он советовал Марио, как надо вести следствие, он невольно рисовал в своем воображении соответствующего убийцу. Впрочем, в этой сфере деятельности всегда нужно быть готовым к неожиданностям. Сидя за столом и поигрывая линейкой, он пытался набросать портрет преступника-педераста. Марио слушал его с недоверием.

-Прецеденты у нас уже были. Вспомните Ваше. Подобных типов пороков доводит до безумия. Это настоящие садисты. А эти два убийства и совершены садистом.

Без особого труда комиссар нашел общий язык и с морским префектом. Они вместе попытались связать все известное им об извращениях и их внешних проявлениях с поведением убийц. Им кругом виделись одни чудовища. Комиссар пытался обнаружить какие-нибудь мерзкие подробности вроде знаменитой бутылочки с маслом, которой известный преступник пользовался, когда насиловал свои жертвы, или свежих испражнений на месте убийства. Не зная, что эти два убийства совершены разными людьми, он пытался привязать одно к другому, обнаружить у них общий мотив. Он не понимал, что каждое убийство по своим глубинным импульсам и по тому, как оно исполнено, напоминает произведение искусства и подчиняется своим особым законам. Духовное отчуждение Кэреля и Жилия углублялось одиночеством художника, неспособного найти себе равного в этом мире. (Именно поэтому Кэрель и был по-прежнему одинок.) Каменщики считали Жилия педерастом. Они сообщили полицейским сотни деталей, доказывающих, что убийца - "батон". Они сами не замечали, что описывают его не таким, каким он был на самом деле, то есть затравленным маньяком мальчишкой, а именно таким, каким и пытался представить его Тео, каким тот его изображал. Волнуясь в присутствии инспектора, они пускались в беспорядочные и сбивчивые описания - беспорядочные прежде всего из-за их волнения и лихорадочного возбуждения; по мере того как они говорили, они немного успокаивались и, конечно же, не могли не видеть, что все их утверждения не имеют под собой достаточных оснований и, по сути, являются всего лишь поэтическим бредом, позволяющим выразить их собственные непристойные желания и фантазии - наподобие того, как это иногда делается в песнях и стихах, - но в то же время это внезапное вдохновение их невольно опьяняло. Они чувствовали, что портрет получился чрезмерно раздутым, почти как труп утопленника. Вот некоторые черты, служившие в глазах каменщиков доказательством извращенности Жилия: красота лица, манера петь бархатным голосом, кокетство в одежде, лень и небрежность в работе, зависимость от Тео, белизна и гладкость кожи и т.д.... Всего этого им казалось вполне достаточно, потому что они постоянно слышали, как Тео и другие типы насмеваются над "батонами": "совсем как девочка", "у него смазливая мордашка", "он, как шлюха, работать не привык", "он предпочел бы трудиться лежа", "воркует, как голубка", "а сумочка у него совсем как у марсельских блядей, которые поджидают клиентов, повесив ее себе на локоть или плечо". Этими штрихами и был приблизительно обрисован в их воображении образ "батона", хотя сами каменщики их никогда и не видели. Они слышали о гомосеках и педиках только от Тео, да могли судить о них еще и по собственным шуткам: "Да, у него бы неплохо получилось!.. Ты как предпочитаешь: вдоль, поперек или по диагонали?.. Иди предложи себя, эй!.. Сходи к пахану, ты неплохо заработаешь!" Но эти брошенные вскользь фразы не значили абсолютно ничего. Никогда ни один разговор так и не позволил им толком понять, о чем, собственно, идет речь, настолько плохо они себе это представляли. Более того, они даже чувствовали

некоторую неудовлетворенность. Мы хотим сказать, что их неведение заставляло их испытывать некоторую неудовлетворенность, которую фактически невозможно было устранить, настолько неопределенной и вялой она была, отчего, постоянно возвращаясь к этому в мыслях, они даже не могли понять, что их на самом деле волнует. Они подозревали о существовании целой вселенной, отталкивающей и влекущей одновременно, войти в которую им не позволяла какая-то малость: примерно то же, что отделяет от того, чтобы быть выраженным, ускользающее от вас слово, когда вы говорите: "Оно вертится у меня на кончике языка". Когда они говорили о Жиле, подробно описывая его поведение, можно было подумать, что они действительно знают гомосексуалистов, но они представили нечто вроде грубой карикатуры, которая казалась им поразительно точным портретом типичного "батона". Они рассказали и об отношениях Жилия и Тео.

-Их всегда видели вместе.

-Только вроде бы они поссорились. Наверное, Жиль кокетничал с кем-нибудь еще...

Сначала они вообще забыли про Роже. Только тогда, когда один из инспекторов спросил: "А что за мальчишка был с Жилем в день убийства?.." - они вспомнили, что Роже приходил на верфь. Этот факт их заинтересовал. Им, то есть всякому сброду, что там находился, казалось вполне реальным, чтобы мальчик восемнадцати лет, едва покинув объятия сорокалетнего каменщика, мог крутить любовь с пятнадцатилетним ребенком.

-Вы никогда не видели его с матросом?

Они точно не помнили, но им казалось, что видели. В тумане плохо видно. Но в Бресте так много моряков, что Жиль просто не мог не познакомиться хотя бы с одним из них. Кстати, он носил матросские брюки.

-Вы уверены?

-Но вам же говорят! Настоящие матросские штаны. С "клапаном".

-Если вы нам не верите, то нечего и спрашивать.

Наконец-то получив возможность засвидетельствовать единственный по-настоящему достоверный факт, они сразу же решили, что не могут и дальше безропотно подвергаться унижительному допросу полицейских. Они стали заносчивы. И даже пытались отстаивать свое мнение. Указав полицейским на новый, доселе неизвестный им факт, они преисполнились сознанием собственного превосходства над ними. Всю ночь полицейские настойчиво допрашивали Роже. У него обнаружили только жалкий, грубо сделанный нож.

-Зачем он тебе?

Роже покраснел, и полицейский решил, что тот стыдится жалкого вида своего ножа. Больше он об этом не спрашивал. Ему было невдомек, что даже ненастоящее и практически непригодное к применению оружие, будучи символом, таит в себе серьезную опасность. В остроте настоящего оружия, в его предназначении и совершенном устройстве заключается возможность реального убийства, которая пугает и отталкивает ребенка (ребенок боится того, что обычно называется реальностью, и стремится укрыться от нее в мире условных игр), тогда как символический нож не несет в себе

практически никакой опасности, но, используя во множестве воображаемых преступлений, невольно приучает ребенка к мысли о них. Для полицейских же этот нож явился всего лишь косвенным подтверждением преступления Жилия и того, как он его совершил.

-Где ты с ним познакомился?

Мальчишка отрицал, что спал с убийцей, так же как и с Тео, которого впервые увидел в день его смерти. На мгновение Роже задумался. А потом вспомнил, что однажды вечером зашел за сестрой в бистро, где та работала. Жиль болтал с ней у стойки. В полночь она закончила свою работу, и Жиль проводил брата и сестру до дома. На следующий день он снова был там. Роже встречал его пять раз подряд. Иногда во время этих случайных встреч Жиль предлагал ему пропустить по стаканчику.

-А он никогда тебе не предлагал переспать с ним?

Роже от удивления широко открыл глаза, в невинность которых полицейские были вынуждены поверить.

-Спать с ним? Зачем?

-Он никогда ничего с тобой не делал?

-Как это делал? Нет.

Он продолжал спокойно смотреть на смущенных полицейских своим ясным взглядом.

-А вот так, за ширинку, он никогда тебя не трогал?

- Никогда.

От него невозможно было добиться, кого же все-таки на самом деле любил Жиль. Он был еще ребенком, и его детское воображение было глубоко потрясено случившимся. Преступление погрузило его в мир сильных страстей, а развязка драмы еще больше привязала к Жилю, без которого этой драмы просто не существовало. Но с преступником его связывало нечто гораздо более глубокое и серьезное - любовь. И от того, что Роже пытался обмануть полицию, любовь только усиливалась. Любовь позволяла ему чувствовать себя увереннее, и если сначала он обманул полицию просто для того, чтобы защитить себя и свою мечту, то очень скоро он понял, что, выступив против полиции, он невольно встал на сторону Жилия. Великолепие Жилия (из-за совершенного убийства и последующего исчезновения) достигло апогея, и, стараясь приблизиться к нему, Роже притворялся изо всех сил. Тень Жилия лежала у его ног, как собака. Роже захотелось поставить на него ногу. В душе ему было жаль, что тот убежал, а он сам не сопровождал его, как посланник и свидетель невидимого Бога. Ему хотелось, чтоб хотя бы тень покачнулась, вытянулась и дотянулась от Жилия до него. Очень быстро он обнаружил коварство любви, в которой незаметно все больше и больше запутывался. Чем изворотливее он себя вел, тем более невинным казался и тем более чистым и невинным он был на самом деле в своей любви и в своем сознании этой любви к Жилю. К утру его освободили. В полиции пришли к выводу, что Жиль является опасным сумасшедшим садистом. Его снова стали искать по всей Франции. В старинной морской каторжной тюрьме Жиль не чувствовал себя по-настоящему одиноким. Он чувствовал себя таким только в толпе, когда, как затравленный зверь, он ощущал, что раздувается и все его члены разбухают и предательски увеличиваются. В каторжной тюрьме, из

которой он не мог выйти, уверенность в том, что его не найдут, приглушала его тоску. Жиль жил жизнью, полной всевозможных лишений, но эта жизнь не была фальшивой. Ему не хватало еды. Он был постоянно голоден. Вот уже три дня, как он прятался, с ужасом вспоминая совершенное им преступление. Его сны были так же ужасны, как и пробуждение. Крысы его пугали, но иногда он ловил себя на мысли, что готов поймать одну из них и съесть прямо сырой. Протрезвление наступило почти сразу же, и ему открылась бессмысленность содеянного им. Он даже почувствовал к Тео какую-то нежность. Он вспомнил его первоначальную чуткость, стаканы выпитого вместе белого и мысленно попросил у него прощения. От терзавших его угрызений совести ему еще больше хотелось есть. Наконец он вспомнил и о своих стариках. Газеты и полиция, конечно, сообщили им обо всем. Что стало с его матерью? С его отцом? Они ведь тоже рабочие. Отец -- каменщик. Что мог подумать он о своем сыне, который в приступе любовной горячки убил своего товарища? А одноклассники? Жиль спал на камнях. На свою одежду - рубашку, брюки и куртку - он мало обращал внимания, и когда приседал на корточки, она распахивалась сама собой, и Жиль машинально, нежно и почти сладострастно - но сладострастно не в эротическом смысле - проводил пальцем по своим чувствительным выступам плоти, которые ему представлялись бледно-розовыми и которые однажды напомнили ему о том, что он мужчина, и помешали Тео его трахнуть. Эти геморроидальные шишки и теперь преданно служили ему, напоминая ту сцену и укрепляя его в сознании, что он существует.

«А Тео, наверное, уже похоронили. На работу ребята не пошли. Скинулись на венок».

Венок для Жилия. Это хоронили Жилия. Он скорчился, сжался в углу у стены, обхватив руками колени. Иногда он ходил, но очень тихо, с опаской, осторожно держась за стену, как барон Франк, по сложному переплетению цепей, тянувшихся от шеи до запястий и талии, а от щиколоток - к камням стены. Он осторожно тащил этот невидимый тяжелый металл, невольно удивляясь тому, что одежда на нем почти не держится, брюки у бедер и рукава куртки необходимо было подколоть. Кроме того, он старался ходить потише, потому что боялся, что малейшее дуновение от слишком быстрых шагов может потревожить привидения, которые поднимутся снаружи и, надув свои паруса, двинутся на него со всех сторон. Призрак был у него под ногами. Жилию хотелось раздавить его, растоптать своими тяжелыми шагами. Он ощущал присутствие призрака во всех своих членах. Жилию необходимо было его задушить, поэтому он старался двигаться как можно медленнее, ибо слишком резкий поворот может его потревожить и тогда у головы Жилия взметнется белое или черное крыло, а к самому его уху склонится невидимая бесформенная голова и начнет бормотать громовым голосом самые страшные проклятья. Призрак притаился в нем, и Жиль не должен был выпускать его наружу. Зря он убил Тео. Убитый человек может быть реальнее и опаснее, чем живой. За все это время Жиль ни разу не вспомнил о Роже, который только о нем и думал. Ему никак не удавалось восстановить в своей памяти обстоятельства происшедшей драмы. Он знал, что убил - и убил Тео - но был ли это Тео? Умер ли он? Жилию необходимо было самому спросить его: "Ты действительно Тео?" И если

бы тот ответил утвердительно, он бы испытал огромное облегчение, хотя на самом деле в этом нельзя было быть до конца уверенным. Призрак мог ответить так нарочно, из хитрости, желая убедить Жилия в совершении бессмысленного преступления. Такой тип, как Тео, мог испытывать к Жилию и метафизическую ненависть. Иногда, вспоминая тысячи крошечных морщин на коже и нежные складки губ своей жертвы, Жиль немного успокаивался. А потом вдруг его начинало трясти от страха. Он совершил преступление, которое даже не принесло ему денег. Ни сантима. Это преступление было пустым, как ведро. Это была ошибка. Жиль мучительно думал, как же ее теперь исправить. Сперва, скорчившись в углу между сырых камней и опустив голову, он пытался разрушить свой поступок, расчленив его на несколько составляющих его действий, каждое из которых было абсолютно безобидно. Открыть дверь? Каждый может открыть дверь. Взять бутылку? Можно. Разбить бутылку? Можно. Приставить режущие края к горлу? Это тоже не так страшно. Нажать? Еще сильнее? И это не так страшно. Выпустить немного крови? Можно. Еще немного крови, еще немного?... Все преступление могло быть сведено к нескольким составляющим, в которых терялась неуловимая грань, отделяющая дозволенное от недозволенного, но стоит ее переступить, как от этого уже не отвяжешься : убийство было совершено. Жиль постарался уменьшить свое преступление, сделать его вполне допустимым. Он мысленно сосредоточился в точке, отделяющей "еще можно" от " уже слишком поздно". Но он не мог ответить на вопрос: "Зачем мне было убивать Тео?" Это убийство было бессмысленно, оно было ошибкой, и эту ошибку уже нельзя было исправить. Оставив попытки сгладить свое преступление, Жиль начал думать именно об этом. Довольно быстро все посторонние мысли и воспоминания о его прошлой жизни отступили, и им полностью завладела новая идея - чтобы исправить это бесполезное преступление, нужно было совершить еще одно, такое же, но уже осмысленное. Преступление, которое принесло бы ему богатство и сделало бы предыдущее необходимым (как предваряющий акт) для его осуществления. Кого он собирался убить теперь? Богатых людей он не знал, это понятно. Значит, ему нужно было отправиться на поезде в Ренн или, может быть, даже в Париж, где богачи прогуливаются по улицам и с нетерпением ждут, чтобы грабитель их прикончил. Это предназначение богачей, их добровольное ожидание убийства не давало покоя Жилию. Он был уверен, что в больших городах богачи только того и ждут, чтобы преступник убил и ограбил их. А здесь, в этой дыре, в этой камере, он должен был изнывать под тяжестью своего первого бессмысленного убийства. Несколько раз у него промелькнуло желание сдать полицию. Но он с детства испытывал страх перед жандармами и их мрачной униформой. Он боялся, что его сразу же отправят на гильотину. Он с нежностью вспоминал свою мать и мысленно просил у нее прощения. Он снова вернулся в свою юность, в то время, когда он еще работал подмастерьем вместе с отцом, а потом уже самостоятельно, на южных стройках. Каждая деталь его прошлой жизни теперь обретала смысл и указывала на то, что ему всегда была уготована трагическая судьба. Ему не стоило большого труда убедить себя в том, что и каменщиком он стал лишь затем, чтобы совершить убийство. Страх перед этим актом - так же как и перед своей необычной судьбой - заставлял

его напрягать свое сознание, углубляться в себя, иными словами, думать. Отчаяние вынуждало Жилия глубже познавать самого себя. Сперва ему представилось следующее: глядя на море из каторжной тюрьмы, он вдруг почувствовал себя так далеко ото всех, как если бы внезапно перенесся в Грецию, на вершину скалы, и размышлял там, сидя на корточках и глядя на Эгейское море. Его отшельничество заставило его воспринимать внешний мир и окружающие предметы как нечто враждебное ему, отчего между ним и этими предметами в конце концов установились довольно сложные отношения. Он размышлял. Он казался сам себе великим, очень великим, потому что он противостоял миру. И прежде всего Марио, дежурства которого все больше становились похожи на апокалипсические бдения. Неспособность арестовать Жилия Тюрко, обнаружить место, где тот прячется, и связь, наличие которой между двумя убийствами он смутно чувствовал, вызывали у полицейского легкое недомогание, которое каким-то мистическим образом связывалось в его сознании и с угрозой Тони. Когда Дэдэ, так ничего толком и не узнав, вернулся, Марио овладела такая тоска, что, выйдя из комнаты парнишки, он невольно на мгновение задержался на лестнице. Дэдэ заметил это легкое колебание и сказал:

-Во всяком случае, тебе бояться нечего. Он не решится.

Марио с трудом удержался, чтобы не выругаться. Он специально пришел один, без своего напарника (молодого полицейского, увидев которого Дэдэ восторженно воскликнул: "Вдвоем вы составляете прекрасную пару". В глазах мальчишки он был чем-то вроде великолепного сексуального приложения), стараясь избавиться от стыда за пережитый им страх и в надежде окончательно заглушить своей храбростью опасность. Марио специально ходил по ночам в тумане, по самым безлюдным и удобным для преступлений улицам. Он шел уверенным шагом, засунув руки в карманы плаща или же на ходу неторопливо натягивая на пальцы коричневые кожаные перчатки. Этот простой жест позволял ему почувствовать связь с невидимым аппаратом полиции. Только в первый раз он отправился к ненавидевшим его докерам без револьвера, надеясь обезоружить их своим простодушным доверием, но уже на следующий день он взял с собой оружие, позволявшее ему чувствовать себя значительней и укреплявшее его веру в порядок, символом которого и является револьвер. Чтобы встретиться с Дэдэ, с этим малолетним стукачом, с наивным упорством пытавшимся разузнать, где же может состояться трибунал бандитов, собиравшихся судить полицейского, он незаметно писал на запотевшем стекле комиссариата название улицы задом наперед. Жиль же тем временем, пытаясь оправдать и узаконить свой поступок, заново проживал всю свою жизнь. Он рассуждал примерно так: "Если бы я не встретил Роже...если бы я не приехал в Брест... если бы... и т.д." - и приходил к заключению, что хотя преступление и было делом его рук, в нем участвовало его тело и ему сопутствовали обстоятельства его жизни, все же, тем не менее, подлинная его причина находилась вне него.

Подобная трактовка преступления сделала его фатально неизбежным, что лишало Жилия возможности избавиться от него, как бы ему этого ни

хотелось. В конце концов, однажды ночью он покинул тюрьму. Ему удалось дойти до дома Роже. Было совсем темно, к тому же все окутывал туман. Брест спал. Удачно обогнув наиболее опасные места и никого не встретив, Жиль вышел прямо к Рекувранс. Перед домом он в нерешительности остановился и стал думать, как сообщить Роже о том, что он пришел. Вдруг, сам не зная, удастся ли это, и в первый раз за последние три дня улыбнувшись, он начал тихо насвистывать :

Это веселый бандит,  
Его ничто не тревожит,  
Когда его голос звучит,  
Лягавый расплакаться может...

На первом этаже тихо приоткрылось окно. Послышался шепот Роже:

-Жиль!

Жиль осторожно приблизился. У самой стены, подняв голову, он еще раз, но уже совсем тихо, просвистел ту же мелодию. Туман был слишком густым, и он не мог видеть Роже.

-Жиль, это ты?...Это я, Роже.

-Выходи. Мне надо с тобой поговорить.

Роже осторожно закрыл окно. Через несколько мгновений дверь открылась. Он был в одной рубашке и босиком. Жиль бесшумно вошел.

-Говори тише, а то моя старуха иногда не спит. Полетта тоже.

-У тебя есть что-нибудь пожрать?

Они находились в большой комнате, где спала мать, и слышали ее дыхание. В темноте Роже схватил Жилия за руку и прошептал:

-Оставайся здесь, я схожу, принесу.

Он тихонько сдвинул крышку ларя и вернулся с куском хлеба, который на ощупь вложил в руку стоявшего неподвижно посреди комнаты Жилия.

-Слышь, Роже, не хочешь завтра зайти ко мне?

-Куда?

Слова сливались с переходящим изо рта в рот дыханием.

-В каторжную тюрьму. Я там прячусь. Иди через ворота Арсенала. Вечером я буду тебя ждать. Смотри только, чтобы тебя не заметили.

-Ну, об этом можешь не волноваться, Жиль.

-Ничего не слышно? Легавые с тобой говорили?

-Да, но я ничего им не сказал.

Роже приблизился, схватил Жилия за руку и прошептал :

-Я клянусь тебе. Я приду.

Юный каменщик обнял мальчика и, ощутив его дыхание у себя на ресницах, был так взволнован, как если бы поцеловал его в щеки или в губы. Он сказал :

-До завтра.

Роже осторожно открыл дверь на улицу. Жиль вышел. На пороге он еще на мгновение задержал Роже и, после некоторого колебания, спросил его:

-Он загнулся?

-Завтра все расскажу.

В темноте их руки разжались, и Жиль крадущейся походкой,

откусывая на ходу большие куски хлеба, снова вернулся в морскую тюрьму.

Роже приходил каждый вечер, в то время, когда туман был гуще всего. Он тайком таскал из дому съестное. Как-то он даже украл у матери немного денег и купил хлеба. Краюху он спрятал под куртку и через крепостные укрепления пробрался в морскую тюрьму. Жиль ждал его в шесть часов. Роже рассказал ему обо всех новостях. Газеты больше не писали ни о двойном убийстве, ни об убийце, все считали, что в Бресте его уже нет. Жиль ел один. Потом он закурил.

-А как Полетта?

-Да никак. Не работает. Сидит дома.

- Ты с ней никогда не говоришь обо мне?

-Я же не могу. Пойми. Тогда меня могут спросить, где ты, или начнут следить за мной!

Он был счастлив, что теперь у него появилась возможность хоть немного нарушить баснословную близость, существовавшую между его сестрой и Жилем. В этой гранитной, пропахшей гудроном камере он был рядом со своим другом и чувствовал себя удивительно спокойно. Он приседал на корточки рядом с ним на украденном на чердаке байковом одеяле и смотрел, как курит его кумир. Он рассматривал его лицо с гладкими и впалыми, уже заросшими щетиной щеками. Он восхищался им. Во время их первых встреч в тюрьме Жиль постоянно без умолку говорил, и для любого, кто оказался бы на месте этого все возвышавшего ребенка, подобная болтливость была бы лишь свидетельством тяжелого, почти болезненного потрясения. Роже же видел в ней только романтическое выражение глубокого внутреннего протеста. Так и должен был вести себя раздраемый страстями, негодованием и всевозможными порывами герой. Жиль, будучи на три года старше Роже, был по сравнению с ним уже взрослым мужчиной. Суровость бледного лица с проступившими желваками (один лишь вид которых заставлял Роже трепетать, как будто это были мускулы изготовившейся для удара руки боксера) свидетельствовала о крепких мускулах его тела и членов, способных выполнять на стройке тяжелую мужскую работу. Сам Роже еще носил короткие штанишки, и хотя его ляжки были уже достаточно сильными, они еще не обрели окончательной твердости ляжек Жилия. Лежа рядом с ним, опершись локтями о землю и стараясь приблизиться к нему как можно больше, он смотрел на его бледное, исказившееся от ненависти к этой жизни лицо. Роже положил свою голову на ноги Жилия.

-Надо еще подождать, как ты считаешь? Лучше мне еще здесь немного переждать?

-Ты думаешь? Жандармы тебя ищут. У них есть твоя фотография.

-А тебе они больше ничего не сказали?

-Нет, они к нам больше не заходили, только мне все равно нельзя оставаться здесь долго.

-О! Твоя сестренка, я сейчас ее так хочу! Она такая соблазнительная!

-Она похожа на меня.

Жиль сам знал об этом. Но ему не хотелось, чтобы Роже это заметил, и, желая его немного задеть, он сказал:

-Конечно! Ты почти как она, но пострашнее!

Даже в темноте Роже почувствовал, что краснеет. Но он все равно поднял к Жилию свое лицо и грустно улыбнулся.

-Я не хочу сказать, что ты страшный, нет. Напротив, у тебя мордашка совсем как у нее.

Он наклонился к лицу парнишки и обхватил его руками:

-Ах, если бы это ее я так держал. Уж я бы не растерялся.

Как-то само собой, помимо воли державших его рук, лицо мальчика приблизилось к лицу Жилия. Сперва Жиль, что-то пробормотав, коснулся лба Роже. Потом их носы встретились и секунд десять легонько терлись друг о друга. От внезапно обнаруженного им сходства брата и сестры его захлестнуло волнение, которое Жиль не смог сразу унять.

Приблизив на выдохе свой рот ко рту Роже, он прошептал:

-Жаль, что ты - это не сестра.

Роже улыбнулся:

-Правда?

В голосе Роже не было заметно никакого волнения, он звучал ровно и спокойно. Он любил Жилия уже давно, и хотел, чтобы в это мгновение, к которому он так долго готовился, его нельзя было заподозрить ни в чем, кроме дружеских чувств. Осторожность, благодаря которой ему удалось обмануть полицейских своим ясным взглядом, позволила ему и теперь ответить Жилию совершенно спокойным голосом. Смятение Жилия, которое тот выказал первым, дало возможность самолюбивому ребенку проявить хладнокровие. Кроме того, он вообще не привык выражать свои чувства при помощи страстных хрипов.

-Честное слово, ты почти такой же смазливый, как девчонка.

Жиль приник своим ртом ко рту парнишки, который с улыбкой отстранился.

-Боишься?

-О нет!

-Так что? Что, ты подумал, я собираюсь сделать?

Жиль был смущен этим неожиданным для самого себя поцелуем. Он ухмыльнулся:

-Ты, наверное, боишься находиться рядом с таким типом, как я?

-Почему? Да нет, я не боюсь. Иначе бы я не пришел.

-Что-то не верится.

И вдруг неожиданно серьезным тоном, как будто мысль, которую он собирался высказать, была настолько важна, что совершенно отодвигала предыдущую, он произнес:

-Послушай-ка, ты должен сходить к Роберу. Я все обдумал. Только он со своими друзьями способен вытащить меня отсюда.

Жиль наивно полагал, что сможет стать своим среди этих парней и они примут его в свою банду. Он верил в существование такой банды, настоящей тайной организации, изолированной от остального мира. В этот вечер Роже ушел из тюрьмы потрясенный. Он был счастлив, что Жиль (вероятно, оттого, что спутал его с Полеттой) какое-то мгновение хотел его, он злился на себя за то, что уклонился от поцелуя, и с гордостью думал, что величие его друга скоро будет признано всеми и что именно он, Роже, был призван способствовать этому. Между тем, как только ему предоставлялась такая возможность, Кэрель под прикрытием

сумерек тайком прогуливался неподалеку от места, где были спрятаны его сокровища. Лицо его было исполнено грусти. Ему казалось, что его тело уже одето в тюремную одежду, а к ноге привязано ядро и он, медленно проходя мимо диковинных пальм, погружается в потустороннюю область сна или даже смерти, откуда ни пробуждение, ни появление людей уже не способны его вызволить. Уверенность в том, что он обитает в мире, скрытом от посторонних глаз, делала его безразличным к окружающему, что неожиданно и позволяло ему проникать в суть вещей. Обычно безразличный к растениям и предметам - замечал ли он их вообще? - он теперь как бы впервые увидел их. Сущность всегда скрывается за какой-нибудь характерной деталью, на которую сперва и натывается глаз и которая его ослепляет: мы узнаем овес прежде всего по характерному серовато-белому цвету овсяных хлопьев, которые мы мысленно как бы пробуем на вкус. И это относится к любому растению. Но если глаз может ошибиться, то рот никогда, и Кэрель, медленно продвигаясь, как бы смаковал вселенную, заново открывая ее для себя. Однажды вечером он встретил Роже. Моряк сразу же узнал парнишку, и ему не составило большого труда проникнуть туда, где прятался Жиль.

## СЛАВА КЭРЕЛЯ

*Кэрелю казалось, что в его грудной клетке вибрирует и клокочет целое похоронное бюро. Присутствие ангела смерти заставляло его действовать с величайшей осторожностью. Он присел на корточки в черном бархате трав, арума и папоротника и, широко открыв глаза, растворился в бездонной темноте своего внутреннего океана. Жажда убийства коснулась своим нежным языком его открытого и томно приподнятого лица, но Кэрель даже не вздрогнул. Лишь его светлые волосы слегка шевельнулись. Овчарка, постоянно находящаяся у его ног, время от времени вставала на задние лапы, прикивала к телу хозяина, растворялась в нем, сливалась с его мускулистым торсом, рычала и готовилась к прыжку. Кэрель чувствовал приближение смертельной опасности. Он знал, что чудовище готово его защитить. И бормоча про себя: "Я зубами перегрызу ему сонную артерию...", он еще сам точно не знал, имеет ли он в виду сонную артерию пса или ту, что билась на белой шее проходящего мимо ребенка.*

Очувтившись в здании тюрьмы, Кэрель от страха и обрушившейся на него ответственности почувствовал себя легко и уверенно. Уже тогда, когда он молча шел рядом с Робером, он чувствовал, как в нем набухают почки, из которых вот-вот должны были появиться лепестки, окутав все его тело благоуханием захватывающей авантюры. Приближение опасности заставляло его расцвести. Он чувствовал себя по-настоящему легко только тогда, когда рисковал своей жизнью. Что ждет его в заброшенной тюрьме? Своей свободой он дорожил. Малейшее колебание настроения перерастало в страх перед морской тюрьмой, и он начинал ощущать на себе - даже его грудь стеснялась - давление массивных стен, он сопротивлялся, прогибаясь под их тяжестью, пытаясь их раздвинуть и успокоиться, невольно в это мгновение напоминая своей

напряженной фигурой вахтенного офицера, закрывающего обеими руками и тяжестью всего тела огромные ворота крепости. Он шел на встречу с жизнью, давно отошедшей и по-своему счастливой. Конечно, он не мог себя самого представить находящимся среди каторжников, ему и в голову не приходило ничего подобного, но все равно он испытывал сладостное, приносящее ему глубокое успокоение ощущение при одной мысли о том, что он может, оставаясь свободным и независимым, войти внутрь этих толстых мрачных стен, таящих в себе память о стольких длившихся годами мучениях, о физических и нравственных страданиях закованных в цепи, скорчившихся от боли и обезображенных злодеяниями тел, единственной радостью для которых оставалось воспоминание о совершенных ими чудесных преступлениях, закрывающих, подобно тени, последние проблески света или, наоборот, разрывающих ярким лучом мрак, которым они были окутаны. Что могли сохранить в себе камни тюрьмы от этих притаившихся в углах и витающих в сыром воздухе убийств? Хотя подобные размышления и не имели у Кэреля формы законченной определенной мысли, они все равно повергали его в глубокое смятение и наполняли его душу неясной тоской. Наконец-то впервые в своей жизни Кэрель встретится с таким же, как он, преступником, близким ему по духу. Он уже рисовал в своем воображении убийцу, с которым они смогут обсудить все дела. Это был юноша одинакового с ним роста и сложения, похожий на его брата - несколько секунд ему действительно так казалось, но его брат слишком напоминал его собственное отражение, - он был знаменит своими преступлениями, непохожими на те, что совершил Кэрель, но такими же прекрасными, страшными и жестокими. Он был не уверен, что смог бы узнать его, встретив на улице, и иногда, правда, очень редко, в минуту, когда одиночество становилось особенно невыносимым, в нем вдруг пробуждалось желание быть арестованным и посаженным в тюрьму, где он смог бы встретиться со знакомыми ему по газетам убийцами. Но это желание быстро исчезало: в этих убийцах не было ничего загадочного и таинственного, они ему были неинтересны. Сходство с братом иногда заставляло его забывать о своем неведомом друге. Глядя на Робера, он невольно задавался вопросом, является ли тот преступником. Он боялся этого и одновременно об этом мечтал. Он мечтал об этом, ибо было бы так прекрасно, если бы подобное чудо было возможно. Но он боялся, что тогда утратит чувство превосходства над Робером. Любить друг друга они не могли. Ему было трудно себе представить, чтобы двое молодых людей - конечно же, братьев - любили друг друга и были объединены убийством, т.е. не только кровью, которая текла в их жилах, но и той, которая обагрила их руки. Труднее всего Кэрелю было представить именно любовь. Мужчинам незачем любить друг друга. Для этого существуют женщины. И для того чтобы спустить - тоже.

Всерьез он мог думать только о дружбе. Только дружба в его глазах делала мужчину по-настоящему полноценным, ибо без нее он был как бы расщеплен сверху донизу. Кэрель знал, что никогда не сможет до конца довериться своему брату - "он недостаточно умен для этого", - и замыкался в своем одиночестве, воздвигнутом им как своеобразный монумент, которому дисгармония и несбалансированность, вызванные отсутствием друга-преступника, придавали неповторимое очарование.

Впрочем, в заброшенной камере он должен был встретить парня, совершившего убийство. Мысль об этом переполняла его душу нежностью. Убийца был всего лишь неопытным дилетантом, профаном. Но благодаря Кэрелю он прославится настоящим преступлением, потому что все считали, что моряк был убит с целью ограбления. К Жилю, даже еще не видев его, Кэрель испытывал почти отцовские чувства. Он дарил ему, доверял одно из своих убийств. Но Жиль был еще мальчишка и, конечно, не мог стать для Кэреля достойным другом. Все эти мысли (не в таком законченном виде, как мы их излагаем, а гораздо более хаотично), путаясь, исчезая, вытесняя друг друга, стремительно проносились, причем скорее в членах и теле Кэреля, чем в его голове. Он шел по дороге, и этот поток бесформенных мыслей как бы подталкивал его, заставлял идти еще быстрее: он их не запоминал, но они оставляли после себя тяжелое чувство дискомфорта, незащищенности и страха. Неизменная улыбка на лице Кэреля помогала ему никогда не отрываться от земли. Она не позволяла Кэрелю поддаться каким-нибудь пустым и тщетным мечтам и подвергнуть свое тело опасности. Кэрель просто не умел мечтать. Отсутствие воображения удерживало его, привязывало к конкретным событиям. Роже обернулся:

- Подожди, я сейчас вернусь.

Мальчик отправился в качестве посланника к своему владыке, императору, ему хотелось удостовериться, все ли готово для встречи монархов. Кэрель почувствовал, как в нем что-то меняется. Он был не готов к подобной предосторожности. Входа в пещеру ему было не видно. Деревьев здесь было не больше, чем в любом другом месте. Просто дорога поворачивала и скрывалась за небольшим пригорком. Исчезнувший же Роже осуществлял "таинственную связь" и благодаря этому приобретал в глазах Кэреля значимость, какой до сих пор не имел. Исчезновение придавало этому ребенку такую исключительную ценность и значимость, что Кэрель невольно улыбнулся, хотя он и был поражен тем, что именно ребенок стал этой подвижной стремительной черточкой, осуществлявшей связь между двумя убийцами. Он носился по дороге, он был ее духом и по своему желанию мог сократить или удлинить ее. Роже пошел еще быстрее. Оторвавшись от Кэреля, он как бы повзрослел, ибо понимал, что должен донести до Жилиа душу Кэреля, точнее, ту часть его существа, которая, как он смутно догадывался, желала приблизиться к Жилю. Он знал, что он, мальчишка в коротких, задранных на толстых ляжках штанишках, должен исполнить все обряды церемониала, которые обычно выполняют послы, - и серьезность, с какой этот ребенок относился к своей миссии, делает понятным, почему обычно на одежде у послов больше украшений, чем у их хозяев. К его хрупкой, сгибавшейся под тяжестью орденов личности было обращено пристальное внимание сидящего в своем убежище Жилиа и внимание неподвижно застывшего у ворот Государства Кэреля. Кэрель зажег сигарету и снова засунул руки в карманы бушлата. Он ни о чем не думал. Ничего не хотел. Его вялое, бесформенное, хотя и слегка задетое внезапным исчезновением мальчишки сознание застыло в ожидании.

-Это я, Роже.

Шепот Жилиа прозвучал совсем близко:

-Он там?

-Я попросил его подождать. Ты хочешь, чтобы я его привел сюда?

Жиль ответил с некоторым раздражением :

- Ну конечно. Надо было его уже привести. Давай же.

Когда Кэрель подошел к месту, где скрывался Жиль, Роже громко и отчетливо произнес:

-Ну вот, он здесь. Жиль, он здесь.

Мальчик с болью почувствовал, что перечеркивает этими словами всю свою жизнь. Он уменьшался и терял право на существование. Сокровища, которыми он обладал в течение нескольких минут, стремительно таяли. Он знал, что все мужчины тщеславны и бесчувственны. Он сделал все, что мог для сближения, которое должно было его уничтожить. Он был рожден только для исполнения этой великой миссии, продолжавшейся всего десять минут, и вот его сияние меркло, исчезало, унося вместе с собой только что переполнявшую его горделивую радость. Жилю этот мальчик был нужен только потому, что он рассказывал о Кэреле, передавал ему его слова. Кэрелю же был нужен Жиль.

-Держи курево.

Это были первые слова Кэреля. В темноте он протянул Жилю пачку сигарет. И тот на ощупь взял ее. Передавая пачку, они пожали друг другу руки.

-Спасибо, старик, ты настоящий друг. Я этого не забуду.

-Да ладно, брось. Чего уж тут.

-Вот еще мясо и хлеб.

-Положи на ящик.

Кэрель достал сигарету из другой пачки и зажег спичку. Ему хотелось видеть лицо Жили. Он был слегка удивлен, увидев худое, грязное, со впалыми щеками, заросшее светлой редкой щетиной лицо. Глаза Жили блестели. Волосы были растрепаны. В свете дрожащего пламени спички лицо казалось взволнованным. Кэрель видел перед собой убийцу. Он осветил спичкой вокруг.

-Паршивое местечко.

-И не говори. Но что поделаешь? Куда мне еще податься?

Кэрель засунул руки в карманы брюк, и все трое на мгновение замолчали.

-Ты не ешь, Жиль?

Жиль был голоден, но ему не хотелось, чтобы Кэрель это заметил.

-Не бойсь, можно зажечь свечу.

Жиль сел на угол ящика. И начал небрежно есть. Мальчик пристроился у его ног, а Кэрель стоял, расставив ноги, курил сигарету, почти не касаясь ее губами, и глядел на них:

-У меня, наверное, рожа вся в грязи?

Кэрель хмыкнул.

-Да, видок у тебя что надо, но это же ненадолго. Зато здесь ты в безопасности.

-Конечно, если меня не заложат, меня здесь не найдут.

-Насчет меня можешь быть спокоен. Я еще никогда в жизни не стучал. Только что ты собираешься делать дальше? Тебе ведь надо сматываться. Другого выхода нет.

Кэрель почувствовал, что внезапно его лицо приняло такое же суровое выражение, как во время боевых учений на корабле, когда

эту суровость подчеркивал треугольный стальной штык, прикрепленный к стоящей рядом с ним винтовке. В такие мгновения его лицо само как бы становилось стальным. В этом штыке воплощалась душа Кэреля. Для проходившего перед выстроившейся на палубе командой офицера штык находился как раз напротив левой брови и левого глаза Кэреля, за которым, казалось, скрывался целый оружейный завод.

-Будь у меня бабки, я мог бы слинять в Индию. Я знаю там одного типа из Перпиньяна. Я ведь там работал.

Жиль продолжал есть. Он и Кэрель не знали, что еще сказать друг другу, но Роже чувствовал, что в установившихся между ними отношениях ему места не было. Это были взрослые мужчины, и они говорили о таких вещах, о которых в его возрасте можно лишь мечтать.

-Слушай, ты ведь брат того самого Робера, что ходит к Ноно?

-Да. Ноно я тоже знаю.

В это мгновение Кэрель даже не вспомнил о своих особых отношениях с Ноно. Говоря о том, что хорошо его знает, он просто констатировал факт.

-Нет, серьезно, это твой кореш?

-Я ж те сказал. А что?

-Как ты думаешь, он...(Жиль собирался сказать : "Он захочет мне помочь..." - но вдруг подумал, что тогда было бы слишком унижительно услышать в ответ: "Нет".) Он секунду поколебался и произнес:

-Он не сможет мне помочь?

Оказавшись благодаря своему убийству вне закона, Жиль, естественно, стремился найти защиту среди сутенеров и проституток, то есть, среди тех, кто сам жил - как он полагал - на грани закона. Зрелого рабочего подобное убийство наверняка сломило бы. Жилия же этот поступок только укрепил, как бы осветив его изнутри и придав ему значимость, которой без него он вряд ли достиг бы и отсутствие которой обрекало бы его на постоянное страдание. Конечно, сознание своей возросшей значимости было у Жилия сильно поколеблено его стремлением путем логических умозаключений оправдать свое преступление и освободиться от него, но когда, исчерпав все свои доводы, ему так и не удалось избавиться от преступления и терзавших его угрызений совести, которые заставляли его дрожать и склонять голову, он понял, что ему необходимо стремиться -- уже не к оправданию, а наоборот, к признанию и утверждению этого убийства. Для этого ему необходимо было кардинально изменить направление своих мыслей, отказаться от оправданий - и объяснений - и, обратившись к будущему, опереться на сознательную волю к убийству. Жиль был начинающим каменщиком, и он еще не успел настолько полюбить свое ремесло, чтобы полностью отдаться ему. Его одолевали еще всевозможные смутные желания, которые вдруг осуществились самым неожиданным образом. (Об осуществлении подобных смутных желаний свидетельствуют все эти вызывающие детали, содержащие в себе намек на нечто необычное: покачивание бедрами и плечами, выпускание дыма из угла рта, подтягивание пояса тыльной стороной ладони, отдельные словечки, любовь к жаргону. И, наконец, особая манера одеваться: плетеный ремень, ботинки на тонкой подошве, карманы на самом животе - все это вместе свидетельствует о том, что и подростку не чужда свойственная мужчинам склонность с гордостью намекать на свою принадлежность к преступному миру.) Однако парнишка был не готов к тому, что его желания осуществляются в такой мере. Каждый мальчик мечтает

стать со временем вором или сутенером, и к чему-то подобному он был вполне готов. Но стать убийцей в восемнадцать лет - это слишком. По крайней мере, теперь он должен был до конца воспользоваться своим возросшим в результате этого в глазах окружающих престижем. Он наивно полагал, что другие преступники с радостью примут его в свою среду. Кэрель придерживался противоположного мнения. Поступок, делающий обычного человека убийцей, настолько необычен, что тот, кто его совершает, становится чем-то вроде героя. Ему удается возвыситься над человеческой низостью. Преступники это чувствуют, и убийцы в их среде встречаются крайне редко.

-Посмотрим. Я поговорю с Ноно. Надо с тобой что-то делать.

-А ты-то сам что думаешь? Ты мне веришь?

-Да. Вполне. Во всяком случае, на меня можешь рассчитывать. Я буду держать тебя в курсе.

-А Робер? Робер возьмет меня к себе?

-Ты знаешь, с кем он связан?

-С Дэдэ, я знаю. Это мой дружок. Я знаю, что они вместе. И Марио это одобряет. Хотя он и помалкивает об этом. Если увидишь Робера, узнай, может, он и меня возьмет к себе. Только не говори им, где я.

Кэрель ощутил прилив нежности, но не потому, что перед ним разверзлась бездна зла, а потому, что ему приоткрылась тайна гораздо более глубокая, чем та, о которой ему только что поведал Жиль.

За обитой железом дверью находилась потайная комната. Там, в клетке, помимо нескольких жалких собак, обитает и несколько настоящих чудовищ, самое страшное из которых находится в самом центре клетки и является живым упреком нам. Оно заключено в огромную хрустальную вазу, его тело принимает ее форму, ибо оно страшное, но мягкое, почти студнеобразное. Его можно было бы принять за огромную рыбу, если бы не грустное, почти человеческое выражение его лица. Надзиратель, присматривающий за этими чудовищами, исполнен глубокого презрения ко всем, кто может найти утешение в объятиях себе подобных. Но подобных ему не существует. Остальные чудовища хоть немного, но отличаются от него. Оно одиноко и любит нас, ожидая от нас сочувственного взгляда, который мы никогда ему не пошлем. Кэрель постоянно ощущал себя столь же безнадежно одиноким.

Стараясь говорить как можно небрежнее, Кэрель произнес:

-Но зачем ты пришел матроса? Это уж совсем непонятно.

Он привык облекать свои мысли в грубую форму, а эта фраза, начинающаяся с "но", звучала так тягуче лицемерно, что невольно напомнила ему лейтенанта Себлону с его скользкими манерами и неловкими попытками подступить к нему. Жиль почувствовал, что бледнеет. Казалось, что вся его жизнь прихлынула к его глазам, высушила их, вытекла через его взгляд, исчезла, растворилась во мраке камеры. Он медлил с ответом, но не потому, что взвешивал все "за" и "против", а просто потому, что из-за усталости, переходящей в полное изнеможение, и сознания бессмысленности какого-либо отрицания он был не в состоянии открыть рот. Это обвинение было настолько серьезным,

что он не сразу смог до конца осмыслить его: он молчал, пытаясь полностью сосредоточиться на своем взгляде, который теперь занимал его до такой степени, что он даже чувствовал, как незаметно пульсируют мускулы его глаза и века. Его взгляд был неподвижен. Губы же сжимались все сильнее.

-А? Что тебе матрос-то сделал?

-Это не он.

Жиль как сквозь сон услышал вопрос Кэреля и ответ Роже, звук их голосов оставил его равнодушным. Он полностью сосредоточился на неподвижности своего взгляда и реально ощущал только его неподвижность.

-Кто же тогда, если не он?

Жиль устремил свой взгляд на лицо Кэреля.

-Честное слово, это не я. Я не могу тебе сказать, кто это, потому что сам не знаю. Но клянусь тебе своими предками, это не я.

-В газетах написано, что это ты. Я-то тебе верю, а легавым ты, я думаю, сможешь все объяснить. Твою зажигалку нашли возле трупа. Ну ладно, я тебе все равно советую сидеть и не высовываться.

В конце концов Жиль смирился и с этим преступлением. Чудовищность этого преступления помутила его рассудок, и первое, что пришло ему в голову, было пойти и сдать полицию. Он подумал, что как только он снимет с себя подозрение во втором убийстве, его тут же отпустят, чтобы он мог продолжать скрываться из-за первого. Он думал, что полиция должна соблюдать правила игры. Но безумие этой затеи довольно быстро стало ему понятным. Постепенно Жиль начинал осознавать, что означало для него убийство моряка. Он искал алиби. Иногда ему казалось, что убийцей действительно мог бы быть он. Он не мог понять, как он умудрился потерять на месте преступления свою зажигалку.

-Интересно, кто же это мог быть. Я даже не заметил пропажи своей зажигалки.

-Я ж те сказал, ты должен сидеть тихо. Мы среди своих решим, что с тобой делать. Я приду к тебе, как только освобожусь. Я оставлю немного бабок, и твой кореш сможет купить тебе жратвы и курева.

-Послушай, ты настоящий друг.

Но Жиль перед этим потратил слишком много сил, чтобы сосредоточиться, сконцентрироваться на своем взгляде, раствориться вместе с ним в темноте, и уже не мог снова собраться и вложить в выражение благодарности тепло всего своего существа. Он устал. Глубокая печаль сковала его лицо и опустила уголки его губ, которые Кэрель по-прежнему видел поющими и улыбающимися. Сидя на краю ящика, он бессильно сгорбился и всем своим видом как бы говорил: "Что же мне теперь делать?" Его охватило оцепенение, не отчаяние, а именно оцепенение, напоминающее оцепенение ребенка, оставленного на мгновение в темноте. Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Он больше не был убийцей. Ему было страшно.

-Ты думаешь, если меня поймут, мне кранты?

-Не знаю. Это как повезет. Но не нужно паниковать. Тебя не поймут.

-Знаешь, ты мне нравишься. Как тебя зовут?

-Джо.

-Ты хороший парень, Джо. Я обязан тебе до гроба.

Теперь вся его душа устремилась к Кэрелю, который в его глазах один был сильнее ста миллионов мужчин и который скоро должен был уйти и вернуться к нормальной жизни.

Стены не позволяли Жилю видеть, что происходит за пределами

тюрьмы, однако грохот и крики, доносившиеся с верфи и как бы отфильтрованные камнем, вызывали в его воображении чудесные образы. А воображение запертого в четырех стенах, подавленного совершенным им убийством и молодостью, задыхающегося от тоски и запаха гудрона юноши развивалось с необычайной силой. Необходимость бороться с препятствиями шла ему на пользу. Среди доносившихся до него звуков Жиль отчетливо различал скрежет подъемных кранов и лебедок. Его бригада работала в Бресте совсем недолго, и оживление верфи все еще сильно волновало его. Отчетливые ясные звуки напоминали ему о сверкающей на солнце меди капитанского мостика, о стремительном скольжении украшенной флагом шлюпки с блестящими позолотой офицерами, о парусе на рейде, о плавном маневре крейсера с рядами по-детски грациозно застывших в строю юнг. В тюрьме все эти картины рисовались ему в тысячу раз более красочными. Море всегда было символом свободы, любой образ, связанный с ним, отягощен этой символической значимостью моря и как бы замещает собой все его целиком, и чем банальнее родившийся в душе узника образ, тем болезненнее его воздействие на него. Нет ничего удивительного в том, что сознание ребенка, внезапно увидевшего плывущий в открытом море корабль, бывает глубоко потрясено, однако в данном случае море и корабль входили в сознание не сразу, а постепенно: сперва слышался характерный скрежет цепи (возможно ли, чтобы скрежет самой обычной ржавой цепи был способен потрясти душу?). Но Жиль постепенно (сам того не подозревая) с мучительным трудом обучался поэзии. Образ цепи пробивал маленькую брешь в его душе, которая затем увеличивалась и в нее уже мог пройти корабль, море, целая вселенная, что в конце концов грозило разрушить Жюль, вытеснить его из этого мира, окончательно растоптать, уничтожить. Сидя целыми днями на корточках за большим мотком каната, он постепенно начал испытывать к этому канату привязанность, что-то вроде дружбы. Он привык к нему. Полюбил его. Ему был нужен именно этот канат, и только он. Жиль уже не мог оторваться от него, он покидал его только на несколько секунд, чтобы подойти к окнам без стекол (или со стеклами, но ставшими из-за слоя грязи опаловыми). Охваченный отчаянием, он сидел в его тени и слушал золотую песнь порта. Он постигал ее смысл. Море за стенами было таким величественным и близким, беспощадным и нежным к таким, как он, ко всем, кому не повезло в этой жизни. Застыв в неподвижной позе, Жиль подолгу, не отрываясь, смотрел на конец каната, который перебирали его пальцы. Его взгляд был прикован к нему. Все его внимание было поглощено этой штуковиной, напоминающей огромную пропитанную гудроном женскую косу. Это было печальное зрелище, лишавшее убийство Тео всякого великолепия, ибо тот, кто его совершил, теперь с самым жалким видом перебирал грязными пальцами черный липкий канат. Сосредоточившись на этом занятии, Жиль стремился перебороть свое отчаяние и обрести покой. Поглощенный созерцанием просмоленного каната, его взгляд иногда - из-за невыносимо тягостного чувства, вызванного этим зрелищем, - все-таки отрывался от него, а в душе пробуждалось какое-нибудь счастливое воспоминание. Потом Жиль снова возвращался к канату, свой интерес с которому он уже не способен был себе объяснить, - и продолжал молча изучать его. Эта привычка позволяла ему развивать наблюдательность. Увы, к несчастью для себя Жиль приобретал способность внезапного и непосредственного постижения сути вещей и медленно продвигался в этом направлении все дальше и дальше - он постигал суть гранита, суть ткани, шершавость железной тарелки,

край которой резал ему губы,- к окончательному постижению обнаженной сути жизни. Иногда у него на глазах проступали слезы. Он вспоминал своих родителей. Допрашивали их уже легавые или еще нет? Днем он часто слышал, как военные барабанщики и горнисты, упражняясь, по несколько раз повторяют отрывки маршей. Для постоянно пребывающего в темноте Жилия эти репетиции были чем-то вроде чудовищного пения петуха, весь день предвещавшего восход солнца, которое никогда не всходило. Эти неспособные разорвать мрак ночи звуки окончательно повергали Жилия в отчаяние. Предвещавшие зарю знамения оказывались ложными. Внезапно, без всякой причины Жиль вставал. И начинал ходить взад-вперед по камере, стараясь избежать мест, куда падал свет. Но вечером он с нетерпением ждал появления Роже, приносившего ему пищу и утешение.

-Бедный мальчик. Только бы он меня не бросил. Только бы его не поймали. Что тогда со мной будет?

Ножом, оставленным ему Роже, Жиль выцарапал на граните свои инициалы. Он много спал. Просыпаясь, он всегда сразу же вспоминал, что скрывается, прячется от полиции всех стран мира из-за убийства или даже целых двух. Униженность его положения заставляла его осознавать свое одиночество. Жиль утвердился в нем и сказал себе:

"Это я, Жиль, Жильбер Тюрко, и я совсем один. Чтобы стать настоящим Жильбером Тюрко, надо быть одиноким, а чтобы быть одиноким, надо, чтобы я был совсем один. А это значит быть брошенным всеми. Черт! Плевать я хотел на своих предков! Какое мне до них дело? Мой папаша спустил в дырку моей мамаше, и через девять месяцев оттуда вылез я. Мне на это насрать. Я появился на свет в результате неосторожной струйки малафьи. Моим старикам я не нужен. Они самые обыкновенные скоты".

Он старался как можно дольше поддерживать в себе это агрессивно-кошунственное настроение, ибо оно позволяло ему дать выход накопившемуся в его душе озлоблению и помогало держаться прямо и не склонять головы. Жилю хотелось навсегда сохранить в себе это чувство, ему были необходимы ненависть и презрение к родителям, чтобы жалость к ним окончательно не раздавила его. Вначале он все же позволял себе немного расслабиться, и тогда, съезжившись, со склоненной на скрещенные руки головой, он снова становился послушным, обожаемым своими родителями ребенком. Отвлечшись от содеянного, он представлял свою дальнейшую жизнь спокойной и беззаботной, не отягощенной никакими преступлениями. Но потом процесс саморазрушения снова в нем возобновлялся.

"Прикончив Тео, я правильно поступил. Если бы мне пришлось начать все сначала, я сделал бы то же самое".

Жиль стремился уничтожить (точнее, ему этого очень хотелось) в себе малейшую жалость, ибо она угрожала его существованию.

"Бедняга. Он здоров, силен, но есть ли в нем хоть что-нибудь по-настоящему крутое? Абсолютно ничего. Одна видимость", - думал он о Кэреле. Он старался убедить себя, что презирает его, но что-то в самой глубине его подсознания заставляло его испытывать симпатию с этому здоровяку, чьи спокойствие, возраст и стабильное положение в обществе невольно поддерживали Жилия и не позволяли ему окончательно впасть в отчаяние. Во время своего второго визита Кэрель казался более оживленным. Он отпускал шутки по поводу смерти, и у Жилия сложилось впечатление, что для матроса человеческая жизнь не представляет никакой особой ценности.

-Ну так что ж, тебя совсем не волнует, что я замочил того типа? (В отсутствие Роже Жиль чувствовал себя немного свободнее. Ему не нужно было постоянно изображать из себя мужчину.)

-Меня? Послушай, приятель, чтобы меня испугать, нужно кое-что покруче. Пойми же, наконец. Во-первых, это он сам тебя доставал. Он задевал твою честь. А честь - это святое. Ты просто обязан был убить его.

-И я тоже так думаю. Да только судьи все равно не поймут.

-И не надейся, что они поймут. Это же полные кретины, особенно в этой дыре. Вот почему тебе надо сидеть тихо и ждать, пока ребята не вытащат тебя отсюда. Если хочешь, чтобы они считали тебя за своего.

При свете свечи Жиль заметил на лице Кэреля подернутую легкой дымкой нежную улыбку. Он почувствовал к нему доверие. Больше всего на свете он хотел, чтобы его считали за своего. (Больше всего на свете, потому что улыбка Кэреля вызвала в нем такой прилив энтузиазма, что он впал в состояние крайней экзальтации и самозабвения.) Присутствие Кэреля успокаивало, а его дружеские наставления напоминали советы, которыми обмениваются между собой спортсмены - иногда даже соперники - во время тренировки: "дыши глубже", "закрой рот", "согни колени"; за ними скрывается стремление к гармоничной согласованности действий.

"Что мне теперь терять? Нечего. Родичей у меня больше нет. Ничего нет. Мне надо начинать жизнь сначала". Он сказал, обращаясь к Кэрелю:

-Мне больше нечего терять. Я могу делать все, что хочу... Я абсолютно свободен.

Кэрель невольно вздрогнул. Внезапно он увидел перед собой точную копию самого себя, каким он был пять лет назад. Тогда он тоже случайно убил одного типа в Шанхае. Этого требовали его матросское самолюбие и национальная гордость. События развивались стремительно: молодой русский оскорбил его, Кэрель его ударил и ножом выколол ему глаз. Чтобы избавиться от ужаса и отвращения, он перерезал пареньку горло. А так как драма произошла ночью на освещенной улице, он оттащил труп в тень и прислонил к стене так, что казалось, будто тот просто присел. Внезапно, как бы желая подразнить только что дышавшую ему в лицо смерть, он вытащил из кармана брюк убитого вересковую трубку и вставил ее ему в зубы.

Мадам Лизиана запрещала своим девушкам носить черные кружевные комбинации. Они могли носить розовые, зеленые, кремовые, но зная, как ей самой идут темные кружева, она не могла позволить этим дамам наряжаться в них. Она любила черное белье не столько потому, что оно подчеркивало молочную белизну ее кожи, сколько потому, что этот цвет делал белье наиболее фривольным - придавая ему некую суровость, - а Мадам Лизиане и нужна была именно эта сверхфривольность. Поясним почему. У себя в комнате она обычно раздевалась очень медленно. Стоя неподвижно (как бы пригвожденная к полу своими высокими каблуками) перед зеркалами у камина и расстегивая платье по дуге, начинавшейся у левого плеча и идущей от ворота до талии, она производила своей правой рукой стремительные вращательные движения, стремясь сосредоточить в своих полных ловких пальцах все, что в ней было

сладострастного, привлекательного и утонченного. Начинался камбоджийский танец. Мадам Лизиана любовалась движением своей руки, острым углом своего локтя и была уверена, что обычные шлюхи не способны на столь грациозный жест.

-Как они вульгарны, боже мой! Разве Регина в состоянии понять, что не нужно причесываться под жучку? Подумать только! Все они, все до одной считают, что клиенту нравится проститутский жанр, но они ошибаются. Напротив.

Говоря это, она строила глупую физиономию. Время от времени она бросала взгляд в зеркало на Робера, который тоже раздевался.

-Ты меня слышишь, дорогой?

-Разве ты сама не видишь?

Он действительно ее слушал. Он искренне восхищался ее элегантностью и благородством, отличавшими ее от вульгарных девок, но он на нее не смотрел. Мадам Лизиана выskalывала из своего платья, и оно падало к ее ногам. Она стаскивала его с себя, как кожу. Сперва обнажались ее белые плечи со следом от врезавшейся в них бархатной или шелковой черной и узкой бретельки ее комбинации, потом – прикрытые темными кружевами и розовым лифчиком груди. Наконец Мадам Лизиана перешагивала через спустившуюся к ее ногам юбку: она была готова. Не снимая своих туфель на высоких и тонких каблуках в стиле Людовика XV, она подходила к кровати. Робер уже лежал. Некоторое время она смотрела на него, не думая ни о чем. Потом, резко повернувшись и воскликнув: "Ах!", направлялась к туалетному столику из красного дерева и теми же плавными движениями рук, предварительно сняв со своих пальцев четыре кольца, распускала волосы. Подобно тому как вся окрестная природа содрогается до самых небес, когда лев встряхивает своей гривой, содрогалась вся комната от ковра до тяжелых штор, когда Мадам Лизиана встряхивала своей пышной шевелюрой. Каждый вечер она должна была вновь покорять уже много раз покоренного ею самца. Она возвращалась на берег ручья, под пальмы, где, уставившись в потолок, курил Робер.

-Ты не мог бы приподнять одеяло?

Он небрежно отбрасывал угол простыни, чтобы его любовница могла скользнуть в постель. Мадам Лизиана была слегка задета подобным отсутствием галантности, но всякий раз ей это было приятно, ибо заставляло почувствовать ее, что ей снова предстоит упорная борьба. Это была женщина отважная, но уже поверженная. Ее физическая привлекательность, роскошная грудь, волосы, все бесценные сокровища ее тела -- и именно в силу их бесценности, ибо любое бесценное сокровище беззащитно, - были уже завоеваны и больше ей не принадлежали. Мы специально не говорим о ее красоте. Красота может служить препятствием более серьезным, чем ограждение из колючей проволоки: она способна выпускать шипы и колючки, посылать пулеметные очереди и поражать на расстоянии. Пышные формы Мадам Лизианы были исполнены благородства. У нее была нежная белая кожа.

Раскинувшись (Мадам Лизиану коробило от слова "ложиться", из уважения к ней мы не будем его употреблять, говоря о ней, мы постараемся использовать только те слова, которые ей самой казались наиболее "изысканными"), - раскинувшись в постели, она осматривала комнату.

Она окидывала взглядом все свое богатство, стараясь не упустить ни одной детали: комод, зеркальный шкаф, туалет, два кресла, овальные столики с позолоченным обрамлением, хрустальные вазы, люстру. Это была ее раковина

из нежного переливающегося перламутра, а она была ее королевской жемчужиной: в перламутре голубого шелка, граненых зеркал, занавесок, бумаг и света. Жемчужины ее грудей (это сравнение кажется наиболее убедительным, если представить ее себе шаловливо улыбающейся своей лукавой улыбкой и с пальчиком на губах) и, если так можно сказать, двойная жемчужина ее ягодиц. В ней в полной мере воплотились черты тех, кого можно было бы назвать: падшими, кающимися, наслаждающимися, распущенными, выточенными из камня, способными привлечь к себе внимание самого Людовика ХУ, блестящими, сияющими, искромётными, строгими, не принадлежащими себе, несчастными, способными на все. Каждый вечер перед тем, как забыть обо всем, предавшись любви, Мадам Лизиана должна была удостовериться в существовании своего земного богатства. Ей необходимо было точно знать, что при пробуждении она вновь увидит свое чудесное убежище, достойное утонченных изгибов ее тела, и богатство, благодаря которому утром она сможет вновь обрести рассеянную в самых укромных уголках комнаты любовь. Медленно, как бы нехотя, так, как будто это были морские волны, она опускала свою ногу между волосатых ног Робера. Три ноги - невозможно даже представить себе подобное огромное существо, каждая нога которого олицетворяла бы противоположный и враждебный пол,- три ноги слабо шевелились и переплетались на краю кровати. Робер, раздавив сигарету о мраморный столик, поворачивался к Лизиане и целовал ее, но она после первого же поцелуя, сдавив двумя ладонями его голову, отодвигала и рассматривала ее:

-Знаешь, ты красив.

Он улыбался. Чтобы ничего не отвечать, он снова пытался ее поцеловать. Он не мог скрыть своей любви к ней, и эта неловкость в выражении чувств подчеркивала его внешнюю суровость и мужественность. А слегка дрожащий влюбленный взгляд его любовницы, растекаясь по его лицу, заставлял его чувствовать себя сильным.

"Он может себе это позволить", - думала она.

Она хотела сказать: он может себе позволить оставаться бесстрастным, он достаточно силен для этого. Таковым он и оставался. Горевшие безумной страстью прекрасные глаза женщины натыкались на эти неприступные скалы и ласкали их (у Мадам Лизианы действительно были очень красивые глаза).

-Мой милый.

Она тянулась за новым поцелуем. Робер постепенно возбуждался. По мере того как это происходило, он все больше успокаивался, и к нему возвращалась уверенность в том, что все богатства комнаты по-прежнему принадлежат ему. По его члену разливалось тепло, и он вставал. Никогда и ничто - до самого оргазма - не могло ему напомнить, что он был всего лишь ленивым и тощим докером и что он когда-нибудь может снова им стать. Он чувствовал себя королем, цезарем, его кормили и одевали по-королевски, он был наделен безграничной и непоколебимой властью, не отягощенной тайным страхом завоевателя. Его член вставал. При его твердом и трепещущем прикосновении Лизиана вздрагивала всем своим белым телом.

-Ты так красив!

Она с нетерпением ждала того мгновения, когда Робер спустится под простыни и ртом, как кабан, который ищет в черной благоухающей ночной земле трюфели, раздвинет волосы, откроет ее вагину и кончиком языка пощекочет там внутри. Она ждала этого, но старалась особенно об

этом не думать. Ибо ей хотелось оставаться чистой и быть выше тех женщин, которые находились у нее в подчинении. Она смотрела сквозь пальцы на извращения других, но себе она не могла позволить ничего подобного. Ей необходимо было оставаться нормальной. Она как бы опиралась на свои тяжелые и полные бедра. Неустойчивость аморальности и бесстыдства была ей глубоко чужда. Она чувствовала себя сильной оттого, что у нее были такие великолепные бедра и зад. Ей нечего было бояться. Слово, которое мы собираемся употребить, не раздражало ее, потому что она сама часто повторяла его про себя, его бросил ей как-то вслед один докер: у нее был "стиль". Необходимость выдерживать этот стиль заставляла Мадам Лизиану быть деловой и уверенной в себе.

Она еще сильнее прижалась к Роберу, который слегка придвинулся к ней и осторожно, без помощи рук, вставил свой член ей между ног. Мадам Лизиана втянула в себя воздух. Она улыбнулась, даря переполнявшую ее бархатную усеянную звездами ночь, точно так же, как она дарила свою белую усеянную голубыми венами перламутровую плоть. Она по привычке забывалась, хотя вот уже несколько дней и особенно сегодня вечером она не могла избавиться от боли, которую ей причиняло сходство двух братьев. Это беспокоило ее и мешало быть счастливой любовницей, тем не менее она протянула руку и очень эффектным жестом выключила свет.

*"Вы одиноки в мире, огромная площадь тонет в беспредельном мраке ночи. Статуя - это ваш двойник, она двоится в ночи и отражается в ней. Вы одиноки, и ваше одиночество двоится".*

Больше она этого вынести не могла. Мадам Лизиана приподнялась и включила свет. Робер смотрел на нее с удивлением.

-Не волнуйся так, золотко... (Неловкость Робера, его презрение к женщинам не позволяли ему хотя бы из вежливости говорить в определенном роде. Проявление нежности к женщине, даже обращение к ней в женском роде сделали бы его смешным в собственных глазах...) Золотко, но ты сама все усложняешь (все-таки он употребил конечное "а", и это напомнило ему о присутствии женщины в речи), ты все усложняешь. Джо и я такие, какие есть. Мы всегда были такими...

-Но это меня смущает. Почему я должна скрывать это?

Все-таки хозяйкой здесь была она. Уже слишком долго это сходство терзало ее, умерщвляло ее прекрасное тело. Она была здесь хозяйкой. Дом стоил дорого. Если Робер и был красивым самцом - "который может себе это позволить..." - она сама была сильной самкой, сильной своими деньгами, своей властью над девками и выдержанностью своего стиля.

-Я не могу больше вынести! Не могу! Не могу больше вынести вашего сходства!

Она заметила, что ее крики были такими же слабыми, как у восковой куклы.

-Ну ладно, замолчи. Я же тебе сказал, что с этим ничего нельзя сделать.

Робер был резок. Сначала он подумал было, что его любовнице просто хочется продемонстрировать ему, что только такая утонченная женщина, как она, способна на подобные необычные чувства, но сцена слишком затягивалась, и его все это начало раздражать. Подобные тонкости его не интересовали.

-Я ничего не могу сделать. Нас путали с самого детства.

У Мадам Лизианы от волнения перехватило дыхание. Произнося эту фразу, Робер смутно чувствовал, что причиняет ей ужасную боль, но, помимо своей воли, с каким-то тайным наслаждением он приводил все новые и новые подробности, заставляя страдать свою любовницу и желая укрепить свои позиции и укрыться от всех вместе с Кэрелем, которого он во второй раз обнаружил в глубине самого себя. Эти подробности терзали Мадам Лизиану, но она сама же их и требовала. Остановиться она не могла. Ей хотелось докопаться до самых чудовищных фактов. Сами того не осознавая, оба любовника чувствовали, что выздоровление наступит лишь тогда, когда вся болезнь будет выжата из них, как сок. Гной должен был выйти. По какому-то странному наитию Робер сумел несколькими словами передать весь ужас своего одиночества: "Когда мы были еще сопляками, его постоянно путали со мной. У нас была одинаковая одежда, одинаковые штанишки, одинаковые рубашки. Одинаковые мордашки. Мы все время были вместе". Он ненавидел своего брата - или думал, что ненавидит,- но тот бесцеремонно навязывал ему себя, их отношения завязались давно и, постепенно запутываясь, теперь представляли собой нечто вроде клубка, в котором переплетались и два их тела. Вместе с тем он боялся, что Мадам Лизиана вдруг обнаружит то, что он считал страшным недостатком своего брата, и это заставляло Робера преувеличивать значимость этих отношений. Прикидываясь простачком, он на самом деле всячески старался придать им демонический характер.

-Но мне надоело, Робер! Надоело копать в вашем дерьме!

-Какое дерьме? В этом нет ничего такого. Мы просто братья...

Мадам Лизиана сама не ожидала, что произнесет слово "дерьмо".

Ведь, действительно, не было ничего плохого (в том смысле, в каком "плохое" отождествляется с чем-то "грязным") в том, что братья были похожи друг на друга. Зло заключалось в этом незаметно осуществлявшемся прямо у вас на глазах слиянии двух существ в одно (подобное слияние, когда два существа непохожи, называется любовью) или, наоборот, в появлении, благодаря волшебству любви, из одного существа двух, как в ее любви (всякий раз, думая об этом, Мадам Лизиана буквально спотыкалась на предлоге "к": к Роберу или к Кэрелю?). Секунду она пребывала в замешательстве:

-Да, в вашем дерьме. Именно дерьме. Ты что думаешь, я вчера родилась? Или я не знаю, что происходит в моем собственном доме? Мне это надоело.

Последние ее слова были адресованы Богу и даже еще дальше, еще выше, чем Он, самой жизни, грубость которой ранила нежную белизну ее тела и ее младенчески чистую душу. Она была уверена, что теперь они настолько сильно любят друг друга, что им просто необходим некто третий, кто мог бы немного отдалить их друг от друга и ослабить их связь. Но ей было неприятно, что она знает - хотя она и не могла в это до конца поверить,- кто этот третий. При произнесении последних слов ее голос жалобно задрожал. Она умоляла.

-Вы смотрите только друг на друга. Меня просто не существует. Меня больше нет! Где же я? Может быть, я вам мешаю? Ну скажи же, скажи! Ну?

Она кричала. Ей было больно оттого, что она кричит так громко и в то же время так слабо. Слова, которые она выкрикивала своим высоким пронзительным голосом, звучали как-то невнятно. Робер смотрел на нее с улыбкой.

-Тебе смешно? Мсье думает только о своем брате. О своем Джо. Ах!

Его ведь зовут Джо? Мсье полностью поглощен свои братом...

-Не преувеличивай, Лизиана. Об этом не стоит даже говорить.

Она отбросила простыни и встала. Робер снова увидел перед собой уютную и одновременно таящую в себе какую-то опасность комнату. Все сокровища принадлежали ему и, подчиняясь его воле, приближались, но тут же, поблекнув, удалялись, уносимые волной скорби. Обнаженная Мадам Лизиана, выпрямившись, стояла среди своей жалкой мебели. Внезапно проснувшись в Робере ненависть подействовала на его сознание. Он стал искать и нашел недостатки: его любовница была смешна и уродлива.

-Ты кончила верещать?

-Ты и твой брат. Вы интересуетесь только друг другом.

Сухость голоса Робера и внезапная нечеловеческая холодность его глаз задели ее еще сильнее. Ей хотелось довести его до такого состояния, чтобы в конце концов в приступе гнева он выплеснул вместе с ним на простыни всю свою любовь к брату и сходство с ним.

-Ну конечно, мне здесь места нет. Меня вы просто игнорируете. Я должна удалиться. Я слишком толстая. О... ну да, конечно, слишком толстая!

Она стояла на ковре босиком, и ее тело не имело больше той импозантности, которую придавали ему туфли на высоком каблуке. На ее бедрах больше не колыхались складки тяжелого шелка, отчего их ширина тоже больше не имела значения. В ее груди уже не было прежней отваги. Она мгновенно почувствовала все это, равно как и то, что выражению негодования должно сопутствовать трагическое напряжение, создаваемое котурнами и подтянутостью тела, на котором ничего не висит. Мадам Лизиана пожалела об эпохе, когда женщины восседали на тронах. Она пожалела о корсетах, корсетных пластинках и китовом усе, которые придавали телу твердость, торжественность и непреклонность, необходимые для того, чтобы вершить правосудие. Она предпочла бы, чтобы ее тело было затянато в плотный розовый корсет, внизу которого свисали бы, ударяясь о ее ляжки, четыре подвязки. Но она стояла голая босиком на ковре. Она ощущала в себе чудовищный разлад, причины которого были ей до конца неясны, отчего она страдала еще сильнее:

"Неужели мне придется признать себя Бертой в шлепанцах на больших ногах? Но я-то - Давид..."

Вдруг в ее мозгу возникло смутное, ускользающее от нее самой видение двух напряженных и мускулистых тел, которые являли собой полную противоположность бесформенной массе ее слишком рыхлого тела. Она надела туфли, и к ней частично вернулось утраченное благородство ее осанки.

-Робер... Робер... Робер, взгляни на меня! Я твоя любовница! Я люблю тебя! Ты даже не смотришь на меня.

-Я не понимаю, чего ты хочешь, ты все слишком драматизируешь.

-Но, милый мой, мне нужен только ты один. Я не могу больше видеть вас вдвоем. Я боюсь за тебя. Мне начинает казаться, что ты больше не принадлежишь самому себе. Пойми же.

Она стояла голая под зажженной люстрой. Улыбка на лице Робера почти погасла, и теперь о ней напоминала только легкая складка в углу его рта. Он уже ничего не замечал перед собой, и его рассеянно скользящий по бедрам Лизианы взгляд был на самом деле устремлен куда-то вдаль.

-Почему ты сказала "в нашем дерьме"? Ты ведь только что сказала: "Мне надоело копаться в вашем дерьме".

Робер говорил ровным и таким же отрешенным, как его взгляд, голосом, но Лизиана, успевшая хорошо изучить своего любовника, уловила в нем стремление получить исчерпывающее объяснение, казалось, внутри этого голоса находится инструмент - или даже орган,- способный видеть. Голос обладал глазом, способным видеть во мраке. Лизиана не ответила.

-А? Ты сказала: "Мне надоело копаться в вашем дерьме". Почему "в дерьме"?

Его голос по-прежнему звучал спокойно. Но оттого, что он так спокойно произнес слово "дерьмо", Робер вдруг почувствовал какое-то странное волнение. Сперва это было просто легкое замешательство. О брате он даже не вспомнил, все его внимание было поглощено этим "дерьмом". Робер ни о чем не думал. Его взгляд и неподвижное тело были слишком напряжены, и он был не в состоянии на чем-то сосредоточиться. Он вообще не умел думать. Но медлительность его речи, внешне спокойное звучание его голоса, вздрагивающего от едва уловимого волнения, и повторение слова "дерьмо" усиливали его замешательство, подобно тому как монотонное пение нищего будоражит притаившееся в самом укромном уголке нашей души страдание. Он не мог спокойно думать о "дерьме", ибо это слово пачкало его детские воспоминания. Он с горечью подумал: "Семья - это навозная куча". Он смутно чувствовал себя виноватым, и вина его была достаточно серьезна, хотя бы потому, что он рассказал своей любовнице, как в детстве, отправляясь всей семьей на воскресную прогулку, все прикалывали себе на лацкан пиджака или на корсаж веточку мимозы.

-Мне это не нравилось, но я не выбрасывал букетик, а, сделав вид, что вполне доволен, брал его в зубы. Пройдя так метров двадцать, я его проглатывал.

-И этого ни разу не заметили? - спросила она.

-О нет, заметили и довольно быстро. Больше мне букетика не давали.

Он боялся, что она может вспомнить об этом его признании и решить, что таким образом он сам пытался обвинить свою семью в чем-то постыдном. Лизиана молчала. По ее лицу блуждала рассеянная и глупая улыбка. Она смотрела на своего любовника, и ей невольно казалось, что тот говорит из глубины смерти. Она вдруг испугалась, что может его потерять. Всякий раз, когда Кэрель в одиночестве в сумерках бродил вокруг мест, где были спрятаны его сокровища, он испытывал нечто похожее на то, что теперь переживал докер: "Кто-то запустил руку в мою корзину!" Гуляя по траве среди окутанных туманом деревьев, он казался уверенным в себе и невозмутимым, а между тем он не мог избавиться от этой фразы, которая постоянно крутилась у него в мозгу. Его ограбили. Он чувствовал себя одинокой Красной Шапочкой, и сутенер, который был сильнее ее, запускал руку в ее корзинку с провизией, в его корзиночку, мальчишка вырывал из рук очаровательной продавщицы цветов гвоздики, смеясь, рылся в ее товаре, хотел докопаться до ее сокровищ, приближаясь к ним, и, думая об этом, Кэрель невольно содрогался всем своим существом. От ужаса по его телу пробежали мурашки. И Мадам Лизиана видела, как болезненно Робер переваривает ее фразу, как будто это была горькая пилюля, которую он только что с трудом проглотил. Она опасалась, что он окончательно себя изведет.

-Ты сказала "в дерьме".

Идея дерьма медленно выкристаллизовывалась в сознании Робера, постепенно смешиваясь с идеями сходства и красоты. Откуда-то издали, из глубин его подсознания перед Робером возникло лицо Джо: это было его собственное лицо. С бесконечной нежностью (он почувствовал, как увлажнились его глаза, хотя даже не моргнул) он подумал: "Брат". Видение не исчезло, а неподвижно застыло, идентифицируясь то с тем, то с другим. Это был то он, то его брат. В приливе нежности он готов был окончательно смешать два этих образа, в то же время что-то вроде легкой тошноты не позволило ему сделать это. Его по-прежнему устремленный вдаль взгляд скользнул по неподвижным бедрам Лизианы и остановился на ее волосатом лобке. Глядя на эту шерсть, Робер невольно подумал:

-Какая огромная дырка.

Однако двоящееся изображение его и брата не исчезло.

-Я сказала это просто так. Не обращай внимания. Знаешь, милый, я так несчастна.

Он взглянул на нее. Привыкшая повелевать самка и хозяйка разжала когти и ослабила свою хватку. Ее лицо обмякло. Теперь это была просто не накрашенная и некрасивая зрелая женщина, дрожавшая от переполнявшей ее нежности, готовой выплеснуться к ногам влюбленного Робера и растечься по комнате теплыми плавными волнами с плещущимися в них маленькими шустрыми рыбками. Лизиану трясло.

-Иди под одеяло.

Наступила мертвая тишина. Робер прижался к своей любовнице. На какое-то мгновение он забылся, и ему показалось, что он является ее сыном, а не любовником. Его плотно сжатые губы коснулись напудренной щеки, по которой текли слезы.

-Как я люблю тебя, дорогой! Мне нужен только ты.

Он прошептал:

-Погаси свет.

Ее ноги были холодны как лед. Эта деталь мешала любовникам окончательно раствориться друг в друге. Он еще теснее прижался к ней. Тело Мадам Лизианы горело и член у него встал.

-Я вся твоя, милый, ты же знаешь.

Больше ее ничто не сдерживало, и для того, чтобы до конца воспользоваться открывшимися перед ней возможностями, Мадам Лизиана постаралась, чтобы ее голос прозвучал как можно более соблазнительно. Этим вечером она окончательно избавилась от сковывавших ее долгое время оков. В свои сорок пять лет она как бы впервые по-настоящему лишалась девственности и, как и все девственницы, осмеливалась в это мгновение на неслыханные по цинизму поступки.

-Можешь делать со мной, что хочешь, милый.

И еще раз втянув в себя воздух, стараясь придать фразе неровное и прерывистое от дыхания звучание, с особым ударением на последнем слове, она произнесла:

-Что тебе больше нравится.

В то же мгновение ее тело скользнуло под простыни. Странная смесь грусти, нежности и презрения переполнила ее душу. Ее любовь подсказывала ей, что она не сможет соединить свою судьбу с этим непостижимым переплетением судеб двух братьев до тех пор, пока сама не спустится на самое дно бытия к его истокам и не вернется в то

неопределенное, зачаточное, протоплазматическое состояние, которое позволит ей выйти за пределы своей оболочки и смешаться с другими, наподобие того как яичный белок, просочившись сквозь разбитую скорлупу, смешивается с другими яичными белками. Любовь Мадам Лизианы должна была растопить эту оболочку. Уничтожить ее, стереть в порошок - иными словами, она должна была разрушить моральную арматуру, которая позволяла ей чувствовать себя непохожей на других и осознавать свое превосходство над ними. В то же время по мере того, как ею овладевал стыд (точнее было бы сказать, что она сама отдавалась стыду), ей все больше хотелось, чтобы рядом с ней был мужчина, на которого она могла бы опереться и который не был бы столь чудовищен, как эта половина двойной статуи, а был бы обычным самцом, умеющим считать деньги и крепко стоящим на ногах, она даже испытала смутную тоску по Ноно. Осознав себя поверженной и униженной, она почувствовала некоторое облегчение, ибо теперь ее жизнь стала более подлинной, насыщенной и определенной. Привязанность братьев друг к другу больше ее не интересовала. Она думала лишь о собственном счастье. Прильнув губами к запрокинутой шее Робера, она прошептала:

-Послушай, милый, я сделаю все, что ты хочешь.

Робер с силой сжал ее, но потом слегка ослабил объятия, чтобы его любовница могла соскользнуть вниз. Она осторожно опустилась. Тело Робера немного напряглось и приподнялось в противоположном направлении. Лизиана спустилась еще. Робер опять приподнялся. Наконец Робер решительно и властно схватил ее за плечи и подтолкнул вниз. Мадам Лизиана стала неловко сосать у своего любовника. Сперму она проглотила. Робер подавил стон: он был самцом и должен был "держаться в руках". Когда ее лицо снова появилось из-под простыней, сквозь неплотно задернутые занавески уже пробивался свет. Она взглянула на Робера. Он казался холодным и невозмутимым. Сквозь спадавшие на лицо спутанные волосы она улыбнулась ему так грустно, что Робер из жалости поцеловал ее (она это поняла, и ее охватило отчаяние), потом он встал. И только тогда она до конца осознала, насколько все изменилось: в первый раз в жизни после занятий любовью - доставив наслаждение самцу - она не мылась, не вставала с постели вместе со своим любовником и не отправлялась к биде. Это не укладывалось у нее в голове: остаться лежать в кровати - которая теперь вся принадлежала ей, - когда Робер мылся. Зачем ей было мыться? Полоскать рот и горло, проглотив сперму, было смешно. Она чувствовала себя грязной. Она наблюдала за тем, как Робер тщательно моет свой член, сперва намылив его, отчего тот полностью потонул в пене, а потом сполоснув и старательно вытерев. В другой момент это могло бы показаться ей забавным, но теперь она с грустью подумала: "Он боится, что мой рот его отравит. Как будто яд испускает не он, а я".

Она почувствовала себя старой и покинутой. Робер мылся в умывальнике из белого фарфора. Она видела, как проступают мускулы на его спине, плечах и икрах. В комнате становилось все светлее. Мадам Лизиана представила себе тело Кэреля, которого всегда видела только в морской форме. "Оно точно такое же...это невозможно, наверняка есть какое-то место...может, у него другой член..." (она все время думала об этом). Тоска и усталость охватили ее. Робер повернулся к ней, спокойный и

уверенный в себе и своем брате. Она сказала:

-Раздвинь занавески...

Ей хотелось сказать "дорогой", но сознание своей униженности, родившееся из чувства собственной нечистоплотности, заставило ее сдержаться и не ранить оскорбительной интимностью этого лоснящегося и еще не отошедшего от ночных признаний и наслаждений мужчину. Не заметив паузы, Робер отдернул занавески. Бледный дневной свет хлынул в неубранную комнату, своим беспорядком напоминая растрепанные волосы или неумытое, отмеченное печатью болезни или тошноты лицо. Мадам Лизиана ощутила привкус смерти. Ей захотелось умереть, ее левая рука стала огромным акульим плавником, свернулась в него. Нечто подобное испытывал лейтенант Себлон, желая облачиться в черную суконную пелерину, под складками которой он мог бы незаметно заниматься онанизмом. Это одеяние скрывало бы его, придавая ему священный и таинственный вид. Он как бы лишался своих рук... В его дневнике мы читаем:

*"Облачиться в пелерину, накидку. Не иметь больше рук и почти не иметь ног. Стать чем-то вроде личинки, куколки и в то же время тайно сохранить все свои члены. Я погрузился бы в это одеяние, как в волну, которая уносила бы меня прочь от мира со всеми его страданиями".*

Убийства, безнаказанность, хладнокровие, с которым эти убийства совершались, и жизнь в постоянном окружении теней крайне ожесточили Кэреля. Это ожесточение коснулось даже его мыслей. Кэрель был уверен, что достиг предела опасности и ему больше нечего бояться, он превзошел самого себя. Против него все были бессильны. Никто не мог обнаружить его следы, разгадать, например, смысл знаков, которыми были отмечены некоторые деревья у насыпи. Иногда на влажной коре акации он вырезал ножом свои витиеватые инициалы. Таким образом, вокруг тайника, где дремало - как сказочный дракон - его сокровище, постепенно сплеталось кружево, которое охраняло его благодаря своей особой, неповторимой чистоте. Кэрель окружил себя двойной охраной. Он возродил давно утратившие свое первоначальное значение обряды. Хоругви и вышитые церковные одежды постоянно окружали его. Точками на них были отмечены все мысли, посвященные Святой Деве. Вокруг собственного алтаря Кэрель натянул защитный покров, на котором золотом, как на голубых салфетках, была вышита его монограмма, знаменитое М.

Всякий раз, когда Мадам Лизиана его встречала, она невольно опускала свои глаза на его ширинку. Она понимала, что не сможет проникнуть взглядом за плотную синюю ткань, но ее глазам все равно было необходимо убедиться в этой невозможности. А вдруг этим вечером ткань окажется не такой плотной и незаметно обрисует член и яйца, позволив Мадам Лизиане обнаружить существенное различие между двумя братьями. Она надеялась, что у матроса член окажется меньше, чем у Робера. Иногда она воображала себе противоположное и даже пыталась себя в этом убедить.

"Ну и что. Если у него (Робера) меньше, что это значит..." (она не могла до конца сформулировать свою мысль, но чувствовала, как в

ней пробуждается материнское чувство по отношению к Роберу, не столь хорошо оснащенному, как его брат).

Конечно, я скажу ему об этом, чтобы он позлился... Но только если он посмотрит на меня печальным взглядом и ответит тихим и доверительным голосом: "Я в этом не виноват",- если он мне так ответит, это будет плохо. Это будет означать, что он сам осознает свою неполноценность и хочет спрятаться под мое крыло, потому что его крыло сломано. Что мне тогда делать? Если я сразу же поцелую его, улыбаясь, так же как он улыбнулся мне тогда, когда поцеловал меня после того, как я высунула свою растрепанную голову из-под простыней, он поймет, как это плохо, когда тот, кого ты любишь, тебя жалеет. Любит ли он меня? Конечно, я буду с ним еще нежнее, но прежнего волшебства уже не будет".

Мадам Лизиана чувствовала, что это желание быть еще нежнее (или просто желание любить) может оказаться гораздо менее сильным, чем неудержимое влечение, способное бросить ее в объятия более мужественного из двух парней, особенно если у того такое же тело, такие же лицо и голос, что и у ее поверженного любовника.

Кэрель отбросил зажженную сигарету. Она упала далеко от него, и все-таки довольно близко, маленькая белая, дымящаяся бомба, фатальный знак того, что война уже развязана и он не в силах помешать тому, что скоро весь мир взлетит на воздух. Кэрель не смотрел на нее, но помнил, что только что ее бросил. Беспощадность этого жеста отсекала ему пути к отступлению и подталкивала его - неумолимо, ибо огонь был уже поднесен к пороху - не останавливаться и идти вперед. Он засунул руки в прорезанные на животе карманы, нахмурил брови, пристально и зло глядя на Марио, и произнес, скривив рот:

-Что ты хочешь этим сказать? Да. Ты. Что ты хочешь этим сказать? Ты спрашиваешь, не можешь ли ты заменить Ноно.

Невозмутимость матроса подействовала на Марио. Как полицейский он имел право задавать вопросы, но если он и дальше будет продолжать настаивать на своем, то не добьется ничего. Для Кэреля он был всего лишь преследовавшим его легавым. Бессознательно догадываясь, что его могут подозревать в контрабанде или даже в воровстве (это все, что мог вынести легавый из посещения "Феерии", ведь наверняка какие-нибудь женщины натрепали ему об этом), Кэрель намеренно решил сгустить краски. Он специально выставлял напоказ свои незначительные поступки, чтобы отвлечь внимание от убийств, которыми легавый – хотя бы по долгу службы - постоянно должен был заниматься. Именно поэтому сперва и нужно было должным образом его настроить, а потом с блеском защищаться. Кэрель поначалу как бы брал всю вину на себя. Он старался привлечь внимание Марио необычностью своего поведения : приглушенным звучанием голоса, скрежетом плотно сжатых зубов, мрачным блеском глаз, злобным выражением лица.

- Ну... отвечай.

Марио мог отделаться какой-нибудь фразой вроде: "Я хотел тебя просто спросить, не найдется ли у тебя и для меня немного дури", - но сила, которую он ощущал в Кэреле, невольно передавалась ему и заставляла быть храбрым и твердым до конца. Неожиданное хладнокровие и решимость Кэреля вынуждали

его самого вести себя благородно, что вполне его устраивало, ибо это удерживало его от слов, которые означали бы его полную капитуляцию и бегство. Кэрель заворожил легавого. Глядя прямо в глаза Кэрелю, как бы заглушая модуляциями своего голоса отголоски только что отзвучавшего голоса Кэреля, Марио ответил:

-Я сказал то, что ты слышал.

Кэрель не шевельнулся и не проронил ни звука. Сжав губы, он втянул воздух через нос, и его ноздри затрепетали. Марио вдруг нестерпимо захотелось трахнуть этого разъяренного тигра. Кэрель несколько секунд молча рассматривал Марио, чтобы еще сильнее сконцентрировать на нем всю свою ненависть и лучше подготовиться физически и морально к предстоящей драке. Ему необходимо было полностью сосредоточиться на этом инциденте, явившемся результатом подозрения его в причастности к краже или к контрабанде, так чтобы мысль о преступлении отпала сама собой под воздействием сильного давления на психику и убеждения в беспочвенности выдвинутых против него обвинений. Он приоткрыл рот, и оттуда вырвался порыв воздуха с такой силой, как будто это был внезапно напрягшийся цилиндрический огромного размера член. При этом он сказал:

-А!

-Да.

Кэрель вонзил свой жесткий, как спица зонтика, взгляд в Марио:

-Ну что, выйдем на минутку. Поговорим.

-Харэ.

Марио специально употреблял слова из лексикона блатных, на которых ему порой хотелось походить. Они вышли. Оказавшись в темноте, Кэрель молча пошел в направлении, противоположном центру города. Рядом с ним, немного позади, шел Марио, засунув руки в карманы, и сжимал в одной из них скомканный носовой платок.

-Еще далеко?

Кэрель остановился и посмотрел на него.

-Что тебе от меня надо?

-А ты не догадываешься?

-У тебя что, есть доказательства?

-Того, что сказал мне Ноно, вполне достаточно. А если тебя трахает Ноно, то почему бы и мне не попробовать.

Кэрель почувствовал, как все его члены немеют и кровь приливает к сердцу. В темноте он побледнел, став почти прозрачным. И только безумная надежда билась в его груди вместе с сердцем, захлестывая его, и уносила с собой. Легавый не был больше легавым. Кэрель не был ни убийцей, ни вором: он был вне подозрений. Готовый расхохотаться, он открыл рот. Но он не засмеялся. Только громкий вздох вырвался у него изо рта, так, как будто затычка из пакли вылетела из его горла. Ему хотелось обнять Марио, отдаться ему, закричать и запеть: все это он и проделал про себя в ту же секунду.

-Ах это...

Его голос звучал приглушенно. Ему казалось, что он хрипит. Он отвернулся от Марио и сделал несколько шагов. Он не собирался прочищать свое горло. Все-таки гнев полицейского должен был найти себе выход и послужить развязке хоть какой-нибудь драмы, которая неминуемо - а теперь даже в гораздо большей степени неминуемо - должна была произойти. Атмосфера была накалена до предела, и гроза

должна была принести флюиды облегчения. Если Марио, думая совсем не о том, что предполагал Кэрель, выглядел таким суровым и сосредоточенным, значит, это тоже требовало подобной сосредоточенности.

-Послушай, ты далеко собрался? Если ты чем-то недоволен, то говори, не тяни резину.

-Да я...

Кэрель ударил Марио кулаком в подбородок. Он дрался с удовольствием (потому что дрался голыми руками) и был уверен, что в драке кулаками и ногами ему нет равных. Марио парировал второй удар и ответил прямым ударом в лицо. Кэрель отступил. И после секундного колебания прыгнул вперед. Несколько минут оба мужчины дрались молча. Оторвавшись друг от друга, они отступили на дистанцию, с которой уже не могли достать один другого, но, понаблюдав какое-то время за противником с расстояния два метра, они внезапно бросались вперед и снова сцеплялись. Кэрель с удовольствием думал о том, как побьет легавого, он чувствовал, что превосходит его - благодаря своей молодости и гибкости, - и его поведение во время драки невольно напоминало поведение кокетливой девушки, которая, чтобы набить себе цену, сначала упорно сопротивляется, а потом вдруг неожиданно отдается. Он действовал решительно, смело и мужественно, и вовсе не для того, чтобы сломить Марио и заставить его раскаяться, а ради сознания того, что он сумел победить мужчину, медленно, с наслаждением унизив его, постепенно лишив всех атрибутов самца. Драка продолжалась. Благородство поведения Кэреля требовало от Марио такого же благородства. Сперва полицейский, заметив, что в драке он не так красив и чувствует себя не так уверенно, как матрос, испытал глубокое отвращение и к этой красоте, и к этому благородству, дабы не начать презирать самого себя за то, что он не обладает этими качествами. Он пытался убедить самого себя, что именно против этой красоты он и борется, что именно ее он и хочет победить, и, как бы желая противопоставить себя ей, он старался казаться как можно более вульгарным и грубым. Но именно это и делало его красивым. Драка продолжалась. Кэрель выглядел более ловким и даже более сильным. Марио подумал было, не вытащить ли ему револьвер, ведь благодаря своей профессии он всегда сможет оправдать убийство Кэреля: он просто хотел его арестовать, а матрос оказал ему сопротивление. И тут чудесный цветок с ароматом неба, вокруг которого жужжали золотые пчелы, расцвел в нем, а он все еще стоял, смешно согнувшись, грязный и униженный, с перекошенным ртом, вздымающейся от прерывистого дыхания грудью, и неуклюже размахивал руками. Он достал свой нож. Кэрель скорее почувствовал, чем увидел, что в руках у легавого нож, он догадался об этом по его внезапно изменившемуся поведению, ставшему более расчетливым и осторожным, по тому, как напряглась его кошачья походка, во всем облике Марио Кэрель различал очевидно давящую ему ценой тяжелой внутренней борьбы непреклонную волю к убийству; о причинах происшедшей перемены он не думал, но понимал, что это было равносильно тому, что он столкнулся с легавым, в руках которого был бы револьвер калибра 6-35, ибо теперь его противник стал беспощаден и жесток (и эта адская жестокость уже не имела никакого отношения к жажде мести, к борьбе или оскорблениям, брошенным ими друг другу), и Кэреля охватил страх. Именно в это мгновение он угадал во взволнованном и слегка ускользающем облике Марио присутствие таящего в себе смертельную опасность острого металлического лезвия. Только это невидимое присутствие могло придать согнутой в запястье руке легкость и

какую-то отстраненную уверенность, телу - напряжение аккордеона, готового развернуться для заключительного аккорда, а взгляду - твердость и непреклонность. Кэрель не видел ножа, но он не мог думать ни о чем другом, кроме этого столь важного для исхода схватки (способного поразить сразу двоих) огромного, молочного, как будто сделанного из какого-то текучего материала лезвия. Ибо нож страшен не своей способностью резать, а тем, что является символом смерти в ночи. Именно этот разящий уже одним своим видом символ больше всего и пугал Кэреля. Одна мысль о ноже вызывала у него ужас. Он открыл рот и, услышав как дрожит его голос, с тайной радостью почувствовал, что его охватывает спасительный стыд:

-Ты же не собираешься пустить мне кровь...

Марио застыл в неподвижности. Кэрель тоже. Упоминание крови и жалобный тон, каким была произнесена эта фраза, слегка взбудрили его. Он боялся пошевелиться. Он чувствовал себя скованным по рукам и ногам, ибо всего одно - а даже самое слабое дуновение способно нарушить зыбкое равновесие и повлечь за собой самые фатальные последствия, которые всегда являются следствием нарушенного равновесия, - всего одно его неосторожное движение могло вызвать ответное движение со стороны Марио. Они находились в самой гуще тумана, ножа было не видно, он притаился, но не исчез. У Кэреля с собой оружия не было. Тихим, проникновенным и неожиданно необыкновенно выразительным голосом он обратился к стоявшему рядом с ним Принцу Ночи и Деревьев:

-Послушай, Марио, я совсем один. И я безоружен...

Произнося вслух имя Марио, Кэрель почувствовал к нему глубокую нежность, его волнение может до конца понять только тот, кто хоть раз, находясь ночью в номере отеля, был внезапно разбужен истошным мальчишеским криком за стеной: "Отстань, грязная скотина! Мне всего семнадцать лет!" Он вложил в имя Марио всю свою душу. Первое слово этой фразы напоминало слабое, едва прорывающееся сквозь покровы тишины и тумана пение (или, точнее, даже легкое сотрясение воздуха), потом голос зазвучал увереннее, и хотя внешне в этой фразе не было ничего необычного, она казалась частью магических обращенных к смерти заклинаний, произносимых трагическим актером, который, возможно, сам не понимая того, что говорит, просто повторял случайно прочитанные им в дневнике морского офицера обращенные к какому-то незнакомцу слова. Кэрель повторил еще раз: "Я безоружен. Абсолютно".

Один. Два. Три. Четыре. Пауза длилась четыре секунды.

-Я даже шабера с собой не взял. Если хочешь, можешь заделать меня начисто. Мне все равно...

Марио не шелохнулся. Он чувствовал себя полным хозяином чужой жизни, которую он по своему усмотрению мог оборвать или продлить. А это уже выходило за пределы полномочий, какими был наделен обычный легавый вроде него. Но он не способен был в полной мере насладиться своим могуществом, ибо никогда не был склонен к самокопанию и подобные тонкости его мало волновали. Он не шевелился, потому что не знал, что предпринять, и, упиваясь этим победоносным мгновением, он опасался, что следующее может оказаться не только не столь ярким и счастливым для него, а, возможно, даже и роковым. Предприняв хоть что-либо, он лишал себя выбора. Марио хотелось оставить за собой это право выбирать. Продлить это мгновение

абсолютной свободы. Он готовился к... только это не могло длиться вечно. Стоило ему выпрямить ногу, слегка ослабить какой-нибудь мускул - и выбор будет сделан, его свобода будет ограничена. Следовательно, он должен был сохранить это зыбкое равновесие неопределенности до тех пор, пока у него хватит на это сил.

-Я ведь только спросил, что ты имеешь в виду, и все...

Красивый голос прозвучал томно и мелодично. Кэрель понимал, какую опасность таит в себе неопределенность, в которой пребывал Марио. Эта неопределенность пугала его, но вместе с тем невольно забавляла, позволяя ему играть со смертью, балансировать на краю гибели, чувствовать себя беззащитным и сильным одновременно. Он казался себе акробатом, который из последних сил цепляется своими хрустальными когтями за трапецию, летящую над клеткой с пантерами. Там, внизу, его подстерегала смерть, а ведь до сих пор он сам обычно был хищником, подстерегающим добычу. В стоявшем перед ним Марио он видел самого себя. Присевший на полусогнутой ноге полицейский со стальным торсом, обтянутым майкой цвета небесной лазури, вобрал в себя ушедшую из Кэреля силу. Яд, которым обычно Кэрель поражал в тумане свою жертву, этой ночью угрожал ему самому. Кэрелю было страшно, он боялся смерти, которая всегда была его союзницей, и оттого, что теперь она его оставила, ему было страшно вдвойне. Марио сложил свой нож. Поверженный Кэрель облегченно вздохнул. Оружие, являющееся изобретением трусливого человеческого ума, может быть облагорожено, оказавшись в руках отважного сильного воина. Марио выпрямился и засунул руки в карманы. Кэрель, который еще не успел отойти от пережитого им недавно унижения, невольно повторил вслед за ним этот жест. Они сошлись поближе и смущенно посмотрели друг на друга.

-Я ведь тебя не трогал, ты сам ко мне прицепился. Мне плевать, что ты трахаешься с Ноно. Мне-то что? Распоряжайся своей жопой как хочешь, только успокойся...

-Послушай, Марио, если я и трахался с Ноно, то это касается только меня, и нечего было орать об этом на весь бордель.

-А я и не орал. Я просто спросил в шутку, не могу ли я его заменить. И имей в виду, это действительно была только шутка. Кроме того, никто ведь ничего не слышал.

-Ладно, пусть даже никто не слышал, но ты сам понимаешь, что так шутить не стоит. То, чем я занимаюсь, никого не касается, и пусть только кто-нибудь попробует сунуться в мои дела. И если бы на этот раз, Марио, у тебя не оказалось с собой пера, то еще неизвестно, чья бы взяла.

Они углубились в туман, который вынуждал их идти рядом, бок о бок, почти по-братски заговорщически, вполголоса переговариваясь между собой, и повернули налево к насыпи. Кэрелю больше не было страшно, постепенно смерть, так внезапно покинувшая его, снова к нему вернулась, и он снова почувствовал себя надежно защищенным упругой непроницаемой броней.

- Ну ладно, брось, не сердись на меня. Я сказал это в шутку. И вовсе не для того, чтобы тебя разозлить. И потом, заметь, если бы я хотел тебя замочить, то зачем мне было доставать нож, мне вполне хватило бы этой дуры калибра 6-35. Я спокойно мог тебя шмальнуть, а потом все на тебя же и свалить, мне бы ничего не было. Но я этого не сделал.

Кэрель снова почувствовал, что идет рядом с полицейским. Он уже полностью успокоился.

-Хорошо ли я знаю Ноно? Да если хочешь знать, я даже в "Феерию" хожу как его кореш, а не как легавый. Но не подумай только, что у меня есть какие-то отклонения. Спроси кого хочешь. Это исключается. Я никогда не трахался с мужиками, ты слышишь, никогда. Хотя это, в общем-то, не имеет никакого значения. Ты моряк, а я, приятель, за свою жизнь насмотрелся, какие шутки порой откалывали моряки! И это, поверь мне, не мешало им оставаться мужчинами.

-Да, конечно, и потом Ноно тоже не стоит особенно доверять.

Марио рассмеялся звонким мальчишеским смехом. Он достал из кармана пачку сигарет и молча предложил одну Кэрелю.

-Ну, ну... только мне-то не надо компостировать мозги...

Кэрель тоже засмеялся и со смехом ответил:

-Я и не компостирую...

-Я же тебе сказал, можешь делать все, что тебе нравится. Я столько видел в своей жизни, что меня уже ничем не удивишь. Твой брат не такой, он специалист по бабам. Его не тянет на извращения, видишь, я и это знаю, тут даже говорить не о чем.

Они почти дошли до насыпи, не встретив по дороге ни одного человека. Кэрель остановился и рукой, в которой была зажата сигарета, дотронулся до плеча полицейского:

-Марио.

Глядя ему прямо в глаза, Кэрель серьезно произнес:

-Ладно, я спал с Ноно. Но только не думай. Я не гомик, мне нравятся бабы. Ты что, не веришь?

-Пусть так. Только если верить тому, что говорит Ноно, это он вставил тебе в жопу. Этого ведь ты отрицать не будешь? Не ты же его трахнул?

-Конечно, он мне вставил, но...

-Ну ладно, хватит гнать тюльку, я же сказал. Мне это до фени. Тебе нет нужды доказывать мне, что ты мужик. Я в этом не сомневаюсь. Будь ты педиком, ты бы обосрался и не стал драться. А ты не сдрейфил.

Он положил руку на плечо Кэреля и шел рядом с ним. Он улыбался, Кэрель тоже.

-Послушай, мы двое мужиков. Мы можем быть откровенны друг с другом. Ты трахаешься с Ноно, это не страшно. Главное, что он доставил тебе удовольствие. Только не говори мне, что ты не словил кайф.

Кэрель снова хотел возразить, но, сам того не желая, улыбнулся.

Я и не отрицаю. Любой бы на моем месте поймал кайф.

-Ну, вот видишь. Главное, что тебе это понравилось. И Ноно тоже, наверное, возбуждился, как осел. А скажи, приятель, хорошо он трахается?

-Послушай, Марио, оставь это.

Но он сказал это с улыбкой. Рука полицейского по-прежнему лежала на плече Кэреля, и казалось, он потихоньку подталкивает его к столбу.

-А все-таки, скажи мне... он хорошо работает?

-Почему ты меня об этом спрашиваешь? Это что, тебя возбуждает? Может, тебе самому хочется попробовать?

-А почему бы и нет, если это приятно? Расскажи мне, как он это делает?

- Он это умеет. Ты был бы доволен. Послушай, Марио, ты отъебешься от меня или нет?...

-Да мы же просто говорим. Никто ведь не слышит. Мы же друзья. А тебе понравилось? Тебе было приятно?

-Ты можешь сам попробовать!

Они оба рассмеялись. Марио сжал плечо Кэреля и сказал:

-А почему бы и нет? Только ответь мне, приятно ли это.

-Ничего. Сперва, когда он вставляет, это не слишком приятно, а потом нормально.

-В самом деле, приятель?

-Честное слово. Со мной это было в первый раз. Я и не думал, что так может быть.

На сей раз он засмеялся уже немного смущенно. Он и так был смущен, а увесистая рука полицейского на его плече и вовсе сбивала его с толку. Кэрель еще не понял, что Марио его хочет. Его смущал этот допрос с пристрастием, эти намеки и начальнический голос, который требовал от него какого-то признания. Уединенное место, густой туман и темнота объединяли полицейского с его жертвой, невольно делая их соучастниками, и это тоже смущало Кэреля.

-Инструмент у него, наверное, что надо. Ведь он же здоровенный мужик. Тебе понравился его член?

- Что ты, заикнулся? Мне это без разницы. Я еще не до такой степени извратился. Ну ладно, завязывай.

-Почему? Это тебя задевает? Ну если тебе не нравится, я не буду больше об этом говорить.

-Нет, это меня не задевает. Просто смешно.

-А вот у меня, когда я про это говорю, встает. Честное слово.

-О! Да не может быть!

Кэрель понимал, что этим восклицанием - так же как и фразой "Нет, это меня не задевает", - в той игре, в которую он оказался невольно втянут, он как бы сглаживает впечатление от первоначальной растерянности и демонстрирует свою свободу от предрассудков. Он чувствовал, что ступил на скользкий путь, и сам удивлялся своей хитрости и тому, как ловко он изворачивается и добивается исполнения своего тайного желания. Хотя ему и было немного стыдно оттого, что он позволяет себе говорить с самцом так, как будто был педиком, ибо до сих пор он мог бы себе позволить такое только в исключительных обстоятельствах.

-Что, не веришь?

Кэрель еще мог сказать "верю" и прекратить игру, но он улыбнулся:

-Да ну! Не может быть, чтобы у тебя от этого вставал. Расскажи это кому-нибудь другому.

-Честное слово, я же говорю.

-Ты шутишь. Я не верю. Сейчас так холодно. Он, наверное, у тебя совсем съезжился.

-Посмотри сам. Засунь туда руку.

-Нет... не может быть. У тебя его, наверное, совсем нет. Он отмерз.

Они остановились и, улыбаясь, посмотрели друг на друга. Марио высоко поднял брови и сморщил лоб, совсем как мальчишка, который удивляется, что у него встал в такое время, в таком месте и из-за таких пустяков.

-- Потрогай и увидишь...

Кэрель не двигался. Он улыбнулся еще раз (более нежно и более насмешливо), постепенно сводя свою улыбку на нет, при этом его нижняя губа дрожала.

-Нет уж. Я же сказал, что этого не может быть.

-А я тебе говорю - посмотри. Он отлично стоит. Как палка.

Не отрывая взгляда от Марио и продолжая улыбаться, Кэрель дотронулся кончиками двух пальцев до ширинки легавого, сначала только до ткани, но потом, слегка надавив, нащупал горячий и твердый член. Дрожь пробежала по его телу, и он сказал, невольно понизив голос:

-Ничего нет. И это называется встал!

-Ты ведь даже не дотронулся. Сожми посильнее. Увидишь, какой он здоровый.

-Конечно, вместе со штанами. Ткань ведь толстая...

-Засунь руку и увидишь...

Кэрель протянул руку, и едва его пальцы коснулись натянутой ткани, как дрожь снова пробежала по его телу (эта дрожь взволновала обоих).

-Расстегни. Сам убедишься, что я не хвастаюсь...

И тот, и другой, хотя им это вроде бы было и не нужно, старались казаться невинными. Слишком откровенное и быстрое признание пугало их. По-прежнему продолжая улыбаться своей наивной улыбкой, прекрасно понимая, что Марио не верит в его наивность, Кэрель медленно, как бы нехотя, в шутку, глядя прямо в глаза легавому, протянул руку и расстегнул три пуговицы. Засунув руку в ширинку, он снова осторожно нащупал член и зажал его между мизинцем и указательным пальцем, а потом обхватил всей рукой, как бы взвешивая на ладони. Стараясь говорить как можно более невозмутимым голосом и не показать своего смущения, он сказал:

-Что ж, это действительно неплохо.

-Тебе нравится.

Кэрель, продолжая улыбаться, вытащил свою руку.

-Я же сказал тебе, что меня это не интересует. Здоровый он или нет - мне все равно.

Опустив одну руку в карман - другая по-прежнему лежала на плече матроса, - полицейский вытащил из ширинки свой член и, расставив ноги, встал прямо перед матросом, который, улыбаясь, смотрел на него. Он прошептал:

-Потрогай меня немного, ну давай.

-Не здесь. Ты что, не мог найти места поудобнее?

Ночью со всех концов света, по всем заброшенным пыльным тропинкам преступления сходятся к нему. Кэрель слышал, как они приближаются. Он привык к поклонению. Волхвы уже в пути. Он наклонился: головка огромного члена Марио блестела в темноте.

Кэрель услышал, как возле самого его уха клокочет во рту полицейского слюна. Влажные губы приоткрылись для поцелуя, а язык готовился проникнуть в ухо и начать там свою пылкую работу. В ночи засвистел поезд. Кэрель слышал, как он, тяжело дыша, приближается. Двое мужчин подошли к самому краю железнодорожной насыпи. Лицо полицейского было совсем близко. Кэрель еще раз услышал, как клокочет у него во рту слюна. Это напоминало ему таинственную подготовку к

любовному неистовству, раньше с ним такого никогда не было. Его слегка смущало то, что он видит Марио так близко от себя и может проникнуть в самые потаенные сферы его жизни. Шевеля губами и языком во рту, полицейский, казалось, уже предвкушал наслаждение от грядущей оргии. Звуча переливающейся рядом с его ухом слюны оказалось достаточно, чтобы Кэрель окончательно почувствовал себя заброшенным во вселенную молчания, нарушить которое был не в состоянии даже шум приближающегося поезда. Скорый с ужасным грохотом пронесся мимо. Кэрель почувствовал себя таким одиноким, что позволил Марио делать с собой все, что тот хочет. Поезд стремительно удалялся в темноте. Он бежал навстречу будущему, неизбежному и реальному, так не похожему на то, что ждало впереди матроса. Спящие пассажиры были свидетелями его близости с легавым: они бросили их, легавого и его, на берегу, как прокаженных или нищих.

-Слушай, ну давай.

У Марио ничего не вышло. Кэрель резко развернулся и присел. Член полицейского вошел в его рот как раз в тот момент, когда скорый вошел в туннель перед вокзалом.

В первый раз в своей жизни Кэрель целовал мужчину в губы. Ему казалось, что он стукнулся лицом об отражающее его образ зеркало и двигает языком внутри гранитной головы. И все-таки это был акт любви, и любви греховной, ибо он знал, что этого делать нельзя. Его член напрягся. Их рты слились, а языки столкнулись и давили друг на друга, но ни один из них не решался коснуться губами шероховатой щеки другого, ибо подобный поцелуй был бы выражением нежности. Широко открытые глаза смотрели с легкой иронией. Язык у полицейского был очень жестким.

То, что Кэрель служил ординарцем, несколько не унижало его и не делало смешным в глазах товарищей. Он выполнял все свои обязанности с простотой и присущим ему благородством. По утрам его можно было застать на палубе за чисткой обуви лейтенанта. Голова его была опущена, и волосы спадали на глаза, иногда он поднимал голову и улыбался: в одной руке щетка, в другой - башмак. Потом он резко выпрямлялся, быстро, как бы жонглируя, собирал все свои принадлежности в коробку и уходил. Он шел быстрым и упругим шагом, вся его фигура выражала радость.

-Готово, лейтенант.

-Прекрасно. Не забудьте сложить мою одежду.

Офицер не решался улыбнуться. Перед лицом этой безмятежной радости и силы он не осмеливался показаться снисходительным, ибо был уверен в том, что стоит ему хоть на миг расслабиться, как он целиком окажется во власти этого зверя. Он его боялся. Самое суровое обращение было бессильно перед этим телом и этой улыбкой. А ведь он был достаточно силен. Он был даже немного выше матроса, но какая-то тайная слабость подтачивала его изнутри. Это было нечто почти физически осязаемое, сковывающее все его мускулы, какие-то волны страха, пронизывающие все его существо.

-Вы были на берегу?

-Да, лейтенант. Это был день правого борта.

-Вы могли бы меня и предупредить. Я вас искал. В следующий раз, когда соберетесь на берег, потрудитесь поставить меня в известность.

-Хорошо, лейтенант.

Лейтенант наблюдал за тем, как он сдувает пыль с бюро и складывает вещи. Он старался найти какой-нибудь предлог, чтобы одернуть его и тем самым подчеркнуть существующую между ними дистанцию. Вчера вечером он зашел в кубрик, сделав вид, что ищет Кэреля по делу. Ему хотелось еще раз увидеть его в голубых брюках и робе. Все пять находившихся там человек встали при его появлении.

-Мой ординарец здесь?

-Нет, лейтенант. Он на берегу.

-А где он спит?

Он машинально подошел к указанному гамаку, сделав вид, будто собирается оставить письмо или записку, и также машинально похлопал по подушке, как бы желая поправить ложе дорогого ему существа. Он вложил в этот едва заметный и легкий, как стебелек овса, жест всю свою нежность. Выйдя, он почувствовал, что его охватывает волнение еще более сильное, чем раньше. Там спал тот, рядом с кем ему никогда не спать. Он поднялся на верхнюю палубу и облокотился на релинги. Стоя так в полном одиночестве в самой гуще тумана, он повернулся лицом к городу и представил себе пьяного Кэреля, с хохотом горланящего песни в компании шлюх и морских пехотинцев или докеров, с которыми он познакомился всего пятнадцать минут назад. А иногда он, наверное, выходит из душного задымленного кафе подышать воздухом на откосе крепостной стены. Вот почему края его брюк всегда запачканы. Мысленно лейтенант не отступал от Кэреля ни на шаг. Он видел, как по его брюкам расплываются пятна грязи. Проходя однажды мимо группы матросов, он слышал, как один из них указал Кэрелю на эти пятна, а тот развязно бросил в ответ: "Это для красоты!". Ну конечно, даже плевки служат ему украшениями! Стоя теперь на борту лицом к берегу и ощущая на своем лбу леденящее прикосновение тумана, лейтенант представил себе, как Кэрель говорит ему то, что он, вероятно, уже много раз говорил своим товарищам. Кэрель улыбнулся и сдвинул берет на затылок: "Пятна - это ерунда. Это все вафлеры. Я даю им сосать при условии, что они будут драть и спустят мне на штаны. Иногда они начинают артачиться, тогда я их заставляю. Но они довольны." "Он и меня, наверное, заставил бы драть, если бы я у него сосал!" Казалось, что Кэрель ничего не замечает перед собой. Он удалился широкими шагами, бесстыдно выставляя напоказ потеки на обтрепанных по краям брюках. Он шлялся по кабакам, напивался, шумел, скандалил, а оказавшись на улице, мог дать отсосать любому встречному. Лейтенант часто бродил по темным лестницам и заходил в кварталы, где любили бывать матросы, он надеялся, что как-нибудь случайный луч высветит в этой орущей и тонушей в дыму толпе лицо Кэреля. Офицерские нашивки не позволяли ему подолгу задерживаться около окон: он почти ничего не видел сквозь запотевшие стекла, но от этого то, что скрывалось за ними, еще сильнее волновало его.

Надменность обычно свойственна людям, считающим себя умнее и лучше других. Лейтенант же Себлон всегда испытывал тайный страх перед окружающими, он чувствовал себя беззащитным перед ними, и именно

желание скрыть этот страх заставляло его держать себя с ними подчеркнуто надменно. В момент развязки (которую, подчиняясь обычной логике повествования, мы должны были бы описать в конце этой книги), встретившись с Жилем в комиссариате, он вдруг повел себя крайне дерзко и вызывающе. Было совершенно очевидно, что он узнал в Жиле того, кто совершил на него нападение. Однако, подчиняясь какой-то странной прихоти, желанию "быть не таким, как все", которое не покидало его с тех пор, как он увидел Кэреля, он решил все отрицать. Это желание, которое поначалу едва тлело где-то в глубине его души, теперь вдруг разгорелось с новой, невероятной силой и завладело всем его существом. Лейтенант чувствовал себя выше всех Кэрелей Военно-морского флота вместе взятых, ему удалось достичь неземной чистоты. Он успел так возвыситься, потому что в данном случае подчинился не плотскому желанию, а исключительно духовному побуждению. Увидев Жилю, который сидел на скамье, прислонившись спиной к радиатору, Себлон сразу же понял, что он него хотят, чтобы он помог уличить мальчишку. Но он ощутил в себе легкое дуновение ("бриз или же зефир", запишет он в своем дневнике), которое, постепенно усиливаясь и нарастая, слилось с его вибрирующим голосом и вырвалось изо рта вместе с какими-то едва осознаваемыми им самим словами.

-Ну, так вы его узнаете?

-Нет, мсье.

-Простите, лейтенант, я прекрасно понимаю ваши чувства, но преступление не должно остаться безнаказанным. В противном случае я просто не смогу составить на него обвинительное заключение.

Признание легавым его благородства еще больше вдохновило офицера. Он почувствовал сильное воодушевление.

-Я не понимаю, что вы имеете в виду. Я не меньше вашего беспокоюсь о том, чтобы правосудие восторжествовало. Потому я и не могу обвинить невиновного.

Стоя перед столом, Жиль с трудом понимал, что происходит. Его тело и разум растворились в сером рассвете, он чувствовал, что сам становится им.

-Вы думаете, я бы его не узнал? Туман был не такой уж густой, а его лицо было совсем близко...

Дальше можно было не продолжать. Игла пронзила черепа троих мужчин и связала их прочной белой нитью внезапного понимания. Жиль невольно повернул свою голову. Он вдруг отчетливо вспомнил свое лицо рядом с лицом офицера. Что касается комиссара, то он не мог не заметить, как дрогнул голос, произнесший: "его лицо". На какое-то мгновение все трое почувствовали себя сообщниками. В то же время - и это должно быть понятно каждому, кто сам хоть раз в своей жизни оказывался в подобном двусмысленном положении, - полицейский постарался подавить в себе это понимание, ибо оно таило в себе опасность для его существования. Он заглушил его в себе, загнал в глубины своего подсознания. Лейтенант же продолжал свою тайную игру. Он превзошел самого себя. Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее. Он ощущал, как крепнет его мистическая связь с молодым каменщиком, в то время как внешне он, казалось, все больше удаляется от него, ибо, отрицая нападение, он поступал благородно. И это делало его неуязвимым для окружающих. Однако лейтенант не признавал за собой

права на благородный поступок, он мотивировал свое поведение снисходительностью по отношению к преступнику и даже, более того, готов был признать свое моральное соучастие в преступлении. Это осознание собственной вины с неизбежностью должно было его погубить. Лейтенант Себлон оскорбил комиссара. Он держал себя с ним крайне вызывающе. Тот, в свою очередь, догадывался, что в основе жалких кривляний лейтенанта лежит его стремление руководствоваться в своем поведении законами красоты. Ему хотелось превзойти Жиля. Те же причины, которые заставляли лейтенанта Себлона раньше пасовать перед Кэрелем, теперь побуждали его отрицать нападение со стороны Жиля.

"Ну, давай! Плюнь мне в лицо, или я тебя задушу! Исход схватки предreshен. Ставлю пять против одного".

Это понравившееся ему выражение прекрасно отражало самую суть его поведения. Он чувствовал себя неуязвимым, ибо был надежно защищен офицерскими нашивками на своей форме. Его сила заключалась в его трусости. Впрочем, достаточно было самого слабого сопротивления, чтобы она снова стала слабостью (то есть превратилась в своего рода противоположность) и обратилась против него самого. Когда офицер без причины донимал Кэреля своими придирками, он вел себя как трус. Однако он способен был и на волевой, решительный поступок, о чем свидетельствует и то, как он сумел молча удалиться с обеда, и то, как вызывающе (черпая силы в стремлении заглушить одолевавший его страх) он держал себя с полицейским. В довершение всего, подчинившись какому-то внутреннему порыву и ослепленный присутствием подлинного виновника, он взял его вину на себя и сам признался в краже денег. В первый момент, когда он услышал, как комиссар отдает приказ о его аресте, Себлон еще тайно надеялся, что офицерское звание спасет его, однако, оказавшись запертым в одной из кают и смирившись с неизбежностью скандала, который должен был разразиться на борту, он почувствовал себя по-настоящему счастливым.

Лицо Ноно все как бы состояло из запятых, дуги подбородка, дуги ноздрей, губ, усов. Запятая являлась главной составляющей в структуре его головы. Для того, чтобы его душевное равновесие не нарушалось, ему было достаточно трахать в задницу тех, кто трахал его жену.

-Она спит только с теми, кого я уже оприходовал, - говорил он, - с теми, кого я трахнул. Все должны помнить, кто здесь хозяин.

Марио прощал ему его маленькие слабости. Когда он видел рядом с собой огромную фигуру содержателя притона, у него невольно перехватывало дыхание. Сам же Ноно подчинялся железной воле легавого, воле, присутствие которой он чувствовал в его прямой и гибкой, как треугольное лезвие штыка, осанке. Трахнув парня, который просил его жену, он переставал им интересоваться, как только его член опускался. Чтобы не запачкать штаны, он спускал их на икры и, приподняв пальцем край белой рубахи, показывал свой обвисший и измазанный в дерьме член:

-Посмотри, что ты наделал : мой х... весь в говне. Давай, натягивай шары и вали к хозяйке. Постарайся удовлетворить ее так же, как я удовлетворил тебя.

Убив армянина, Кэрель обыскал тело. Редко случается, чтобы убийство (а побудительные причины к его совершению могут быть и не особенно возвышенными ) было не связано с ограблением. Почти не бывает так, чтобы какой-нибудь тип, который прикончил пристававшего к нему педераста, после этого не ограбил его. Возможно, убивая, он не собирался его грабить, но убив, не забывал его обчистить.

-Глупо, что ты не прихватил бабок каменщика. Они бы тебегодились.

Кэрель ждал. Он все еще колебался. Он сам заметил, как дрогнул его голос, когда он произносил последнюю фразу.

- Но я не мог. В бистро были люди. Мне это даже в голову не пришло.

-Ладно. Ну а другой-то, матрос. Там-то у тебя времени было достаточно.

-Клянусь тебе, Джо, это не я. Честное слово.

-Послушай, Жиль, мне на это наплевать. Я сам не люблю попусту трепаться. Ты правильно делаешь, что не говоришь об этом. Так и должен себя вести настоящий мужчина. Если ты говоришь, я тебе верю. Но раз уж ты решаешься на мокрое, надо уметь извлечь из этого максимальную выгоду. Только тогда ты сможешь стать по-настоящему крутым. Запомни это, мой мальчик.

-А ты веришь, что я могу стать по-настоящему крутым?

-Посмотрим.

Кэрель по-прежнему пребывал в нерешительности. Он боялся выразить свои мысли более определенно. Внешне Жиль напоминал молодого индуса, которому красота мешала попасть на небо. Его соблазнительная улыбка и страстный взгляд пробуждали в нем самом и в других сладострастные мысли. Как и Кэрель, Жиль совершил свое первое убийство случайно, и матросу нравилось то, что этот парень мог стать таким же, как он. Было бы забавно, если бы в Бресте появился еще один маленький, затерянный в тумане Кэрель.

Надо было заставить Жилия принять не только совершенное им непреднамеренное убийство, но и то, которого он не совершал. Кэрель бросит свое зерно в плодородную почву, где оно поднимется и прорастет. Матрос чувствовал, как его сила перетекает к Жиллю. Он готов был лопнуть, как яйцо. Необходимо, чтобы Жиль смирился со своим убийством, привык к нему. Плохо, что ему нужно прятаться. Кэрель встал.

- Не бери в голову. Ничего страшного. Для начала все не так уж паршиво. Ты сумел смотаться, так держись. Главное, слушайся меня. Я поговорю об этом с Ноно.

-Ты еще ничего ему не сказал?

-Пусть тебя это не волнует. Не рассчитывай, что он спрячет тебя в "Феерии". Там слишком много легавых. Да и бабы все могут растрепать. Но мы этим займемся. Главное, не нужно волноваться. Ведь еще никто не знает того, что ты сделал. Надо создать тебе репутацию среди своих. Ты классно сработал, отрубил тому парню нос по самые яйца. Не думай об этом. Я сам все улажу. Ну пока, малявка.

Кэрель пожал ему руку и уже уходя обернулся и спросил:

-А своего дружка ты не видел?

-Он должен скоро прийти.

Кэрель улыбнулся.

-Послушай, а этот парнишка, он тебе, наверное, нравится, а?

Жиль покраснел. Он подумал, что матрос специально решил подразнить его, напомнив официальную версию убийства Тео. Его охватила страшная тоска, и он ответил упавшим голосом:

-Ты с ума сошел. Это все из-за того, что я связался с его сестрой. Все из-за этого. Ты с ума сошел, Джо. Не верь этой болтовне. Меня интересуют только бабы.

-Если парнишка тебе и нравится, в этом нет ничего плохого. Я матрос и знаю, что так бывает. Ну ладно, счастливо, Жиль. Не обижайся.

Теперь Роже стал смотреть на свою сестру со смешанным чувством уважения и снисходительной иронии. Понимая, что именно сходство с ней привлекло к нему Жилия, он с детской непосредственностью, но вместе с тем и вполне осознанно начал подражать ее манерам и девичьим ужимкам - даже тому, как она отбрасывает волосы на плечи и одергивает на бедрах складки платья. Он поглядывал на нее свысока, потому что гордился тем, что удостоился ласк Жилия, однако он не мог не испытывать к ней уважения, ибо она таинственным образом влекла к себе душу Жилия и являлась как бы алтарем в Храме, в котором он сам был лишь Первосвященником. То, что Роже оказался замешанным в каком-то преступлении и сумел с такой легкостью переступить через требования общественной морали, делало его в глазах его матери более взрослым. Она не решалась расспрашивать его, так как боялась, что в ответ он начнет рассказывать ей о своих любовных похождениях. Она предполагала, что в свои пятнадцать лет ее сын мог быть уже достаточно искушен в любви, причем не только в обычной любви, но и в любви извращенной, о которой она сама почти ничего не знала.

У Мадам Лизианы был настолько внушительный вид, что Кэрель не мог заставить себя смотреть на нее как на любовницу своего брата. Ему было трудно себе представить, как его брат трахается с такой важной дамой. По его мнению, Робер был обыкновенным жуликом, поэтому он считал, что тот неплохо устроился. Впрочем, как раз это Кэреля не особенно удивляло. Что касается самой Мадам Лизианы, то она старалась держаться с ним как можно проще. Говоря с ним, она не могла скрыть своего смущения. Ей было известно о его связи с Норбером. Терзаемая муками страшной ревности, она была уже не в состоянии избавиться от все более поглощавшего ее стремления обнаружить какое-нибудь существенное отличие Кэреля от Робера. Однажды вечером она была потрясена тем, как по-детски заразительно смеется Кэрель, - Робер так никогда не смеялся. Ее глаза были буквально прикованы к блестящим в глубине широко открытого рта зубам, и даже тогда, когда рот закрылся, она долго не могла оторвать своих глаз от складок вокруг него. Казалось, что этот мальчик был абсолютно счастлив. Она пережила нечто вроде легкого шока, вследствие которого через образовавшуюся в ней небольшую трещину адская смесь ее чувств вдруг

вытекла наружу. Остальные женщины не подозревали о том, что творится в ее душе, ибо они всегда видели только ее спокойное лицо и прекрасные глаза, их завораживали неторопливое величие ее походки, ее тяжелые, широкие, открытые, в лучшем смысле этого слова, бедра, которые, казалось, были предназначены исключительно для материнства, они не подозревали, что за этими великолепными и внешне спокойными формами трепещут, волнуются, подчиняясь каким-то таинственным дуновениям и порывам, огромные черные, сотканые из тончайших нитей паруса и украшенные темным узором траурные платки. Эти темные легкие полотнища окутывали ее душу, и она не могла избавиться от них, вытащить изо рта и просушить на солнце или вывести через задний проход наподобие того, как обычно изгоняют солитера.

"Странно, что в моем возрасте меня еще волнуют подобные вещи, но лгать себе я не могу. Да и не хочу. Даже Жозефина не опускается до лжи. Через пять лет мне исполнится пятьдесят. И не нужно все так драматизировать. Это я сама все усложняю. Я постоянно думаю об их сходстве, путаю одного с другим, а на самом деле их двое. Есть Робер и есть Джо".

Подобные успокоительные мысли посещали ее обычно днем, когда она спокойно наблюдала за залой, однако это длилось недолго, и она почти сразу же возвращалась к постоянно терзавшим ее вопросам. Постепенно Мадам Лизиане она сама и ее жизнь со всеми ее многочисленными событиями стали казаться ничтожными и лишеными всякого смысла по сравнению с грандиозным явлением, свидетельницей которого она теперь была.

"Две грязные наволочки? О чем тут думать? Их просто надо выстирать. Что им вообще от меня надо?"

Однако это раздражение быстро проходило, и она снова предавалась созерцанию завораживающего колыхания траурных полотнищ.

"Два брата любят друг друга, они похожи... это главная материя. Вот она. Она шевелится. Колышется. Ее бережно разворачивают во мне две обнаженные руки со сжатыми кулаками. Поток материи струится и скользит. Ее касается другая, такая же черная, но несколько иной фактуры. Эта новая материя как бы говорит: "Сходство двух братьев настолько сильное, что они стремятся слиться друг с другом... Струющийся поток этой материи накрывает первую... Нет, это та же, но наизнанку.... Еще одно черное полотнище, но из материи другого оттенка... Я люблю одного из братьев, только одного... Если я люблю одного из братьев, значит, я люблю и другого... Мне необходимо потрогать материи всех оттенков своими пальцами. Но они бесплотны. Люблю ли я Робера? Конечно, ведь мы вместе уже целых шесть месяцев. Очевидно, это ничего не значит. Я люблю Робера. Я не люблю Джо.

Почему? Возможно, я люблю и его. Они обожают друг друга. Я ничего не могу с этим поделать. Они обожают друг друга. А если они занимаются любовью? Но где? Где? Я никогда не видела их вместе. Впрочем, они могут прятаться. Они могут заниматься любовью в другом месте. В каком? Где-нибудь в другом районе... А если у них появится мальчик... Мальчик, их ребенок. Я идиотка, даже если платье и не имеет особого значения по сравнению с моими высокими материями, надо все равно отчитать Жермену за то, что она подметает своим платьем пол. Нельзя этого так оставлять. Ей надо учиться ходить. Ну почему у меня нет ни минуты покоя?"

Мадам Лизиана не знала настоящей любви. Самцы никогда ее особо не волновали. Только к сорока она стала обращать внимание на сутенеров с крепкими мускулами. Но счастье, которое она наконец-то смогла познать, оказалось отравлено ревностью, и она не могла даже никому о ней рассказать. Ее бы просто никто не понял. Она любила Робера. Он ее по-настоящему возбуждал. Стоило ей только подумать о его волосах, затылке или бедрах, как ее соски твердели и устремлялись навстречу возделенному образу; целый день Мадам Лизиана изнывала от сладкой истомы неутоленного желания и готовила себя к ночи любви. Это был ее мужчина! Робер был ее мужчиной. Первым и настоящим. Они обожают друг друга, но могут ли они заниматься любовью? Только как педерасты. Педерастом быть позорно. Их появление в борделе было подобно появлению Сатаны на церковных хорах. Мадам Лизиана их презирала. Это было невозможно. То, что некоторые клиенты с извращенными вкусами требовали от женщин нечто такое, что говорило об их склонности к педерастии, она еще могла понять. Но раз они требовали это от женщин, значит, им все-таки нравились женщины. Пусть и на свой лад. Но быть педерастом - это уж слишком.

В ее воображении возникло красивое, суровое и жестко очерченное лицо, это было лицо ее любовника, которое в то же мгновение вдруг смешалось с лицом матроса, которое снова стало лицом Робера, а потом опять превратилось в лицо Кэреля, Кэрель же в свою очередь опять стал Робером... при этом выражение лица оставалось неизменным: жесткий взгляд, суровая складка у рта, крепкий подбородок - казалось, само лицо не имеет никакого отношения к этому непрерывному смешению.

"Нет, конечно же, они любят друг друга. Эти скоты упиваются своей красотой. Я не в силах их разъединить. Они все равно найдут друг друга. Робер больше любит своего брата, чем меня. С этим ничего нельзя поделать".

Она чувствовала свое полное бессилие. Только в таком возрасте с женщиной может случиться нечто подобное. Она слишком долго сдерживала свои желания и отвергала домогательства других, и длительное воздержание подготовило в ее сознании хорошую почву для произрастания самых необычных фантазий.

Кэрель не решался произнести вслух имя Марио. Он не знал, известно ли кому-нибудь о том, что с ними случилось. С какой стати он стал бы о нем спрашивать? Казалось, Мадам Лизиана ничего не знает. Со дня их первой встречи Кэрель боялся снова взглянуть на нее. Но она сама со свойственной ей бесцеремонностью лезла к нему, подавляя его своими властными жестами и великолепными формами. Теплые испарения, исходившие от этого красивого тучного тела, опьяняли Кэреля, неспособного противостоять злым чарам. Время от времени, незаметно поднимая глаза на золотую цепь на ее груди и браслеты на запястьях, он чувствовал себя погруженным в роскошь и изобилие. Порой, глядя на нее издали, он отмечал, что у хозяина красивая жена, а у его брата красивая любовница, однако стоило Мадам Лизиане приблизиться, как она снова превращалась в какой-то неиссякаемый ирреальный источник теплого излучения.

-Мадам Лизиана, у вас огонька не найдется?

-Конечно, малыш, пожалуйста.

Она с улыбкой отказалась от протянутой ей матросом сигареты.

-Почему? Я никогда не видел, как вы курите.

-Я здесь никогда не курю. Своим женщинам я это разрешаю, потому что не хочу, чтобы меня считали чересчур придирчивой, но себе я этого позволить не могу. Вообразите себе, что здесь будет, если хозяйка начнет курить.

Она говорила об этом спокойно, без лишних эмоций. Для нее это был очевидный, не подлежащий обсуждению факт. Поднеся к сигарете дрожащее пламя, она вдруг заметила устремленные на нее глаза Кэреля. Слегка смущенная этим взглядом, она автоматически повторила вертевшееся у нее в голове слово, которое, казалось, застряло у нее во рту, приклеившись к верхнему нёбу:

-Вот, малыш.

-Благодарю, Мадам Лизиана.

Ни Робер, ни Кэрель не склонны были к особым трагедиям из-за любви. Однако она не сводилась для них и к чистой физиологии. Ноно же, вступая в связь с Кэрелем, откровенно стремился к удовлетворению своей похоти. Для него этот распластанный на ковре матрос, подставлявший ему свои мускулистые, волосатые, тонушие в бархате ковра ягодицы, был примерно тем же, чем на монастырских оргиях был для совокупляющихся с ним монашек козел. Это было забавно, к тому же укрепляло мускулы плеч. Норбер вставал над этим темным задом, поросшим густой шерстью, так откровенно выступающим над приспущенными на узкие смуглые бедра штанами, расстегивал ширинку и доставал оттуда свой уже отвердевший член, потом, чтобы окончательно предстать во всеоружии, слегка приподнимал рубашку и вытаскивал яйца, после чего на несколько секунд застывал в этой позе, воображая себя солдатом или охотником. Он мог полностью отдаваться этой игре, потому что ее не замутняли никакие посторонние чувства. Никакие страдания.

"Это стрёмно." Или, как он еще говорил, "клёво", "со вкусом".

Легкая, ни к чему не обязывающая игра. Один здоровый жизнерадостный мужик добровольно, как бы в шутку, подставлял другому свой зад.

"Мы весело проводим время".

Причем сознание того, что самки остаются с носом, придавало их ощущениям особую остроту. "Представляю, как вытянулись бы их рожи, если бы они увидели, что мы обходимся без них. Матросу-то все равно. Ему это даже приятно. Так что все нормально".

Более того, Норбер считал, что, трахая Кэреля, он делает ему одолжение. Даже если матрос и не был влюблен в него, все равно он без этого не мог жить. У Норбера не было оснований презирать его – ведь тот не позволил облапошить себя при продаже дури, к тому же был достаточно силен. По-юношески гибкий крепкий торс матроса вызывал у него невольное восхищение и заставлял его член еще сильнее напрягаться. Смочив его, он медленно нагибался и, облокотившись на спину Кэреля, входил в него. Боли Кэрель больше не

испытывал, хотя и чувствовал, как твердый овальный отросток раздвигает его ткани и погружается в глубину. На несколько секунд Ноно застыл в неподвижности, как бы давая своему напарнику немного отдохнуть. Потом начинал двигать своим членом туда-сюда. Сладостное успокоение, вызванное этим глубоким и мощным проникновением, разливалось по всему телу Кэреля. Член входил еще глубже. Не отрываясь друг от друга и не останавливаясь, они тихонько переворачивались на бок. Ноно хватал Кэреля под мышки и слегка прижимал к себе. Матрос, подавшись назад, с силой упирался в грудь Норбера.

-Тебе не больно?

-Нет, так хорошо.

Они возбужденно шептались, и слова, как золотая пыль, вылетали из их приоткрытых ртов. Кэрель слегка сжимал ягодицы, а Норбер напрягал мускулы спины. Приятно, когда ваш член зажат плотно, как в тисках. Но не менее приятно и самому удерживать в себе член атлета, который может высвободиться, лишь спустив вам в зад. Иногда Кэрель ощущал, как погруженный в него твердый член начинал дрожать, тогда его зажатый в руке член тоже вздрагивал. Он спокойно и уверенно сжимал свой член, сосредоточенно внимая движению огромного стержня внутри себя. Потом, уже застегнувшись, они улыбались друг другу.

-Послушай! Мы ведь занимаемся глупостями?

-Почему глупостями? Мы ничего плохого не делаем.

-Ну а тебе нравится сифонить меня?

-Ну, а почему бы и нет? Это довольно приятно. Но не подумай только, что я втюрился в тебя. Я вообще не представляю, как можно втюриться в мужика. Хотя такое и бывает. Я сам видел. Но я этого не понимаю.

-Я тоже. Я могу подставить свой зад, мне не жалко, это даже забавно, но любить мужика я бы не мог...

-А ты никогда сам не пробовал оприходовать в кормовой отсек какого-нибудь юнца?

-Никогда. Это меня не интересует.

-Хорошенького такого пацана с нежной розовой кожей. Как ты к этому относишься?

Кэрель застегнул пряжку ремня, поднял голову и, поморщившись, покачал ею из стороны в сторону.

-В общем, ты предпочитаешь подставлять очко сам?

-Да нет. Ничего я не предпочитаю. Я же тебе сказал, что это так, просто ради забавы.

С Норбером Кэрель чувствовал себя не так уютно, как с педиком из Армении. В присутствии Жоашена он чувствовал себя спокойно, комфортно и уверенно. Возможно, так было потому, что он видел, как много он значил для этого парня, который, по крайней мере в тот момент, когда находился рядом с ним, был готов ради него на все. Если бы Жоашен захотел его трахнуть, он бы не стал возражать. Но теперь он понимал, что Жоашен, вероятно, сам ждал этого от него.

Норбер не любил его, тем не менее Кэрель ощущал, как в нем самом пробуждается что-то доселе ему совсем неведомое. Он начинал испытывать к Ноно привязанность. Возможно, из-за того, что он был младше Норбера? Он не считал, что, трахая его, Ноно как бы подчиняет его себе, однако, может быть, это тоже имело какое-то значение. В конце концов, невозможно постоянно, пусть

даже ради забавы, заниматься любовью и постепенно не втянуться в это занятие. Было и еще нечто такое, что способствовало пробуждению этого нового чувства, - это была общая атмосфера, которую невольно нагнетала вокруг Мадам Лизиана своим заговорщическим видом, взглядами и намеками, вроде того слова "малыш", дважды многозначительно произнесенного ею за один вечер. Впрочем, сойдясь поближе с полицейским, он почувствовал, что ему этого вполне достаточно, и решил прекратить свои игры с Норбером. По инерции, почти против воли, он встретился с ним еще раз, но почувствовал - и теперь слишком явно выраженное удовольствие. Но оно способствовало этому, - что начинает его ненавидеть. Тем не менее, понимая, что ему будет не так просто от него отвязаться, он стал подумывать о том, как извлечь из этого хоть какую-то выгоду и заставить Норбера ему платить. Кроме того, поведение хозяйки, ее загадочные улыбки невольно пробуждали в нем смутное желание как-то использовать и ее. Однако Кэрель почти сразу же оставил эту мысль. Норбер был не из тех, кому можно было слишком досаждать. В дальнейшем мы убедимся, что Кэрель все-таки не окончательно отказался от этого желания и использовал ее для того, чтобы подразнить лейтенанта Себлону.

Газеты продолжали писать о двойном убийстве в Бресте, а полицейские искали убийцу, который изображался в газетных статьях жутким, неуловимым для полиции монстром. Жиль начинал наводить на окружающих такой же ужас, какой некогда наводил Жиль де Рэ.\* {Жиль де Рэ - французский маршал (1404-1440), сподвижник Жанны д'Арк. Был обвинен в занятиях черной магией, надругательствах над детьми и казнен.} Его никак не могли поймать, и никто из жителей Бреста его не видел. Просто из-за тумана или же по причине более таинственной?

Кэрель просматривал все газеты и приносил их Жилю. Юный каменщик ощутил странное волнение, когда впервые увидел свое набранное крупным шрифтом имя. Оно было напечатано на первой странице. В первый момент он даже подумал, что речь идет о ком-то другом. Он покраснел и улыбнулся. От волнения его улыбка переросла в долгий беззвучный смех, который ему самому показался каким-то замогильным. Это набранное крупным шрифтом имя было именем убийцы, и убийца, носивший его, не был вымыслом. Он существовал в реальной жизни, подумать только, рядом с Муссолини и господином Иденом, прямо над Марлен Дитрих. Все газеты писали об убийце, которого звали Жиль Тюрко. Жиль отодвинул газету и, отведя глаза в сторону, постарался вызвать в себе самом, в глубине своего сознания, образ этого имени. Ему хотелось привыкнуть к нему, навсегда запечатлеть его в своем сознании в напечатанном виде. Для этого нужно было все время держать его у себя перед глазами. Жиль заставил свое вдруг окончательно и бесповоротно преобразившееся имя (которое теперь ему как бы уже и не принадлежало) погрузиться в ночь своей памяти. Он погрузил его на самое ее дно, и оно лежало там в темноте, мерцая, вспыхивая, сверкая и переливаясь своими мельчайшими гранями, а потом он снова опустил свои глаза на газету. Он испытал новый шок, снова увидев свое имя так, по-настоящему, напечатанным. Он задрожал от стыда, и его кожа покрылась испариной, ибо ему вдруг показалось, что он обнажен. Это его имя выставляло его на всеобщее

обозрение, и выставляло полностью обнаженного. Его слава была ужасной и постыдной, он входил в дверь презрения. Жиль никак не мог привыкнуть к своему имени. Он даже не мог понять, идет ли речь о простом или двойном убийстве. О Жильбере Тюрко газеты теперь писали постоянно. Но постепенно даже самые замечательные статьи утратили свою первоначальную необычность. Теперь Жиль мог их читать и даже обсуждать: они перестали быть поэмами. Они ясно указывали на опасность, присутствие которой Жиль ощущал с таким острым наслаждением, что, казалось, не прочь был бы слиться с ней, полностью в ней раствориться, и это бессознательное, почти болезненное ощущение было сродни тому, какое он испытывал, когда трогал пальцем розовую плоть своих геморроидальных шишек или когда в детстве, присев на корточки на краю дороги, выводил пальцем в пыли свое имя и от прикосновения к шелковистой пыли, от вида нарисованных на ней изогнутых букв вдруг почувствовал, как сердце замерло в его груди, и ему захотелось забыться и прямо тут, на дороге, не обращая внимания на автомобили, упасть на свое имя и заснуть - однако вместо этого он медленно провел по земле обеими ладонями с широко растопыренными пальцами и стер буквы, разрушив эти едва заметные холмики из пыли. Магическое воздействие напечатанного в газете имени распространялось и на совмещение двух убийств, делая их зависящими друг от друга, связанными между собой, как бывают связаны два здания, составляющие единый архитектурный ансамбль, хотя к одному из них Жиль не имел никакого отношения.

-Все же в суде разберутся...

-В чем разберутся? В каком суде? Надеюсь, ты не собираешься идти с повинной. Это было бы полным идиотизмом. Во-первых, ты слишком долго скрывался, и теперь уже никто не поверит, что ты не виноват. Во-вторых, во всех газетах пишут, что это ты замочил того типа, который оказался педиком, а вдобавок еще и матроса. Ты не сможешь отмазаться.

Аргументы Кэреля казались Жилю убедительными. Он сам хотел, чтобы тот его убедил. Нависшая над ним опасность больше его не пугала, он был увековечен, и это делало его неуязвимым. Что-то от него все равно останется, потому что останется его ускользнувшее от правосудия, предназначенное для вечной славы имя, однако к этому чувству примешивалась горечь отчаяния: Жиль никак не мог смириться с тем, что его имя всегда и везде сопровождалось словом "преступление".

-Вот что я тебе скажу. Как только ты заработаешь немного бабок, ты сможешь смотаться в Испанию. Или в Америку. Я сам матрос, и я помогу тебе уплыть. Я беру это на себя.

Жилю нравилось слушать Кэреля. Моряк должен быть на "ты" со всеми моряками мира, он находится в особых таинственных отношениях не только с самыми необычными загадочными людьми, но и с самим морем. Жилю было приятно думать об этом. Эти мысли убаюкивали его и вселяли в него такую уверенность, что он просто не мог в них усомниться.

-Что тебе терять? Ты можешь спокойно воровать, и тебе это даже не засчитают, если ты попадешься. Что такое воровство по сравнению с

убийством?

Кэрель старался больше не говорить об убийстве матроса, чтобы не раздражать Жилья и не пробуждать в нем дремлющую в душе каждого человека любовь к справедливости, которая могла побудить его пойти с повинной. Когда, спокойный и уверенный в себе, он являлся с воли, он чувствовал, как сильно привязался к нему юный каменщик. Жилья не мог скрыть своего внутреннего беспокойства, которое при малейшем колебании его настроения готово было выплеснуться наружу, наподобие того как стрелка часового механизма, задевая неровность диска, преобразует эту неровность в звуковой сигнал. Кэрель прекрасно видел это и играл на его чувствах.

-Конечно, я матрос, но и я не всемогущ. Впрочем, кое-что я все-таки сделать могу, достать бабки, например. Я ведь тебе доверяю.

Жилья слушал, не проронив ни звука. Он знал, что матрос может принести ему еще кусочек хлеба, пачку сигарет или банку сардин, но денег от него он не дожидается никогда. Опустив голову и скривив губы в горькой усмешке, он снова сосредоточился на мысли о двух приписываемых ему убийствах. Он чувствовал страшную усталость, которая заставляла его смириться с ними, принять их, окончательно отказавшись от всякой надежды на спасение. Он ненавидел Кэреля и в то же время испытывал к нему глубокое доверие, к которому странным образом примешивалась боязнь того, что Кэрель может его "заложить".

-Как только у тебя появятся бабки и прикид, ты сможешь отправиться в путешествие.

Затея казалась очень удачной, к тому же убийства невольно подталкивали к ее осуществлению. Теперь Жилья сможет одеться так, как раньше никогда, даже по воскресеньям, он одеться не мог. Короче говоря, окончательный выбор пал на Буэнос-Айрес.

-Пойми, я с тобой согласен. Я не отказываюсь работать, можно взять кассу. Но где? Ты знаешь где?

-Тут в Бресте у меня есть кое-что на примете, одна небольшая халтура. Где-нибудь в другом месте можно было бы найти кое-что и получше, но в Бресте я знаю только это дельце. Надо будет все как следует разузнать, и, если ты не против, мы вместе это дельце и провернем. Шухера не будет. К тому же с тобой буду я.

-Разве я не смогу это сделать сам? Так, наверное, было бы лучше.

-Ты что, рехнулся? Тут и говорить не о чем. Я хочу быть с тобой. Ты что, думаешь, я позволю тебе рисковать в одиночку?

Кэрель сумел приручить ночь. Он подчинил себе ночные тени и диких скрывающихся в темноте чудовищ. Он вобрал их в себя, втянув их вместе с ночным воздухом через нос. И теперь ночь, не принадлежа ему полностью, подчинялась ему. Он привык жить в окружении своих отталкивающих преступлений, каждое из которых было занесено им в крошечный блокнотик, в специальный реестр убийств, который он назвал "букетом городских цветов". Этот реестр состоял из набросков всех мест, где были совершены преступления. Рисунки были крайне наивными. Если Кэрель не мог нарисовать какой-нибудь предмет, он писал его название, и всегда с ошибками. Образования у него не было.

В этот раз, когда они выходили из тюрьмы (в прошлый раз он выходил вместе с Роже), Жилю показалось, что ночь и природа подстерегают его за дверью, готовые надеть на него наручники и арестовать. Его охватил страх. Кэрель шел впереди. Чтобы выйти в город, они пошли вдоль стены по тропинке, ведущей к военно-морскому госпиталю. Жилю не хотелось, чтобы Кэрель заметил, что он боится. Ночь была темной, но это его не особенно успокаивало, ибо темнота, которая его скрывала, могла служить укрытием и для враждебных ему полицейских. Кэрель был в хорошем настроении, но тщательно старался это скрыть. Как всегда, его голова была высоко поднята над жестким воротником его робы. Жиль весь дрожал. Они шли по узкой дороге между стеной каторжной тюрьмы и эспланадой, над которой возвышалась казарма Герэн. Жиль знал, что эта дорога ведет в город. Рядом со стеной старого арсенала, размещавшегося в одной из пристроек каторжной тюрьмы, стоял низкий двухэтажный дом. Фасад расположенного на первом этаже кафе выходил на улицу, перпендикулярную нашей дороге. Кэрель остановился и прошептал на ухо Жилю:

-Взгляни на это быстро. Парадная дверь выходит на улицу. Ставни сделаны из железа. Но там еще и живут. На втором этаже. Вот, смотри. Только тихо. Я сейчас туда войду.

-А дверь?

-Она никогда не закрывается на ключ, никогда. Мы войдем вдвоем. Там внутри есть коридор и еще лестница. Ты тихо поднимаешься наверх, а я захожу в лавку. В случае шухера, если хозяин откроет дверь на лестничную площадку, ты сразу же спускаешься. Я тоже сваливаю. Встречаемся у госпиталя. Если все пройдет гладко, когда дело будет сделано, я тебя позову. Усек?

-Ну!

Жиль еще никогда не воровал. Его поразило, что это оказалось так трудно и вместе с тем так легко. Вглядевшись в затянутую туманом улицу, Кэрель осторожно открыл дверь и зашел в коридор. Жиль последовал за ним. Кэрель взял его за руку и положил ее на перила. После чего, прошептав ему на ухо: "Поднимайся", - скользнул под лестницу. Убедившись, что Жиль поднялся на верхнюю площадку, он стал топтаться на месте, имитируя легкую возню. Жиль неподвижно застыл у дверей. Ему казалось, что он слышит колокольчики дилижанса, на который он и его товарищи должны напасть. Выстрел в глубине леса, ось сломана, девушки испуганно поднимают вуальки, и Мари Тальони танцует под мокрыми деревьями на разостланных счастливыми бандитами коврах. Жиль внимательно вслушался. В темноте послышался слабый шепот: "Жиль, сматываемся". Он осторожно спустился, его сердце лихорадочно колотилось. Кэрель тихо закрыл за собой дверь. И они, не говоря ни слова, быстрым шагом устремились по дороге в обратном направлении. Жиль был очень взволнован. Наконец он не выдержал и прошептал:

-Ну как?

-Все в порядке. Идем.

Они снова погрузились в темноту и туман. Подойдя к тюрьме, Жиль опять почувствовал себя в безопасности и немного успокоился. В камере Кэрель зажег свечу и достал из кармана деньги. Две тысячи шестьсот франков. Половину он дал Жилю.

-Этого, конечно, мало, но что с них возьмешь? Это их дневная выручка.

-Ну, послушай, это не так уж и плохо. Я уже могу попробовать с этим как-то выкрутиться.

-Ей-богу, ты рехнулся. Куда ты намылился? В таком прикиде ты далеко не уйдешь. Нет, приятель, надо бы еще кое-что провернуть.

-Ладно. Я готов. Только на этот раз я буду выпутываться сам. Я не хочу, чтобы ты из-за меня влип.

-Там посмотрим. Пока заberi свою долю.

Кэрель видел, как Жиль положил деньги в карман, и сердце его невольно сжалось. Эта боль еще раз напомнила ему о задуманной им подлости. Конечно, деньги, которые он якобы украл в доме, где, как ему было хорошо известно, уже давно никто не живет, он мог спокойно возместить сторицей уже через несколько дней, однако ему все равно было тяжело видеть, как Жиль попался на крючок и заглотил наживку. Каждый день Кэрель приносил Жиллю что-то из одежды. Всего за три дня он ухитрился достать ему штаны, блузу, бушлат, рубашку и морской берет. Все пакеты Роже поднял тем же способом, который был употреблен, чтобы вынести опиум. Вечером Кэрель изложил Жиллю план действий.

-Все готово. Ты еще не наложил в штаны? Если у тебя в последний момент вдруг выиграет очко, то ты скажи, не стесняйся.

-Ты можешь на меня положиться.

Жиль должен был появиться в Бресте днем. В форме его никто не узнает. Полицейским и в голову не придет, что переодетый в матроса убийца прогуливается в городе среди бела дня.

-Ты уверен, что лейтенант не станет рыпаться?

-Я ж тебе сказал, что он пидор. С виду он здоровенный амбал, а на самом деле тухлявый.

Морская форма буквально преобразила Жилия, его облик полностью изменился. Он больше не узнавал сам себя. Оставшись ночью в одиночестве, он долго и тщательно одевался. Стараясь добиться того, чтобы берет сидел на нем как можно более элегантно, он кокетливо сдвинул его назад и развязно тряхнул головой. Он чувствовал, что становится обладателем утонченного и неотразимого оружия. Отныне он входил в состав Военно-морского флота, предназначенного скорее для украшения французских берегов, чем для их защиты. Он представляет собой нечто вроде грациозной гирлянды, протянутой вдоль всего морского побережья от Дюнкерка до Вильфранша, с завязанными в нескольких местах плотными узлами наших военно-морских баз. Флот - это прекрасно организованное учреждение, попав в которое молодые люди проходят специальный курс обучения, позволяющий им стать объектом всеобщего вождения. Во время своей работы на верфи Жиль часто встречал матросов в барах. Он глядел на них и не думал, что сам когда-нибудь сможет стать одним из них, но их принадлежность к этому удивительному великолепному образованию всегда восхищала его. И вот сегодня ночью, незаметно для самого себя, он стал одним из них. Он вышел на рассвете. Стоял густой туман. Жиль пошел по направлению к вокзалу. Он шел с опущенной головой, прикрывая лицо поднятым воротом бушлата. Даже если бы кто-нибудь из его прежних товарищей по работе вдруг натолкнулся на него, то он все равно вряд ли бы его узнал в этом наряде. Подойдя к вокзалу, Жиль свернул на дорогу, ведущую к докам. Поезд прибывал в шесть часов десять минут. У Жилия с собой был револьвер, который ему дал Кэрель. Сможет ли он выстрелить, если офицер начнет кричать? Он зашел в туалет на площади, неподалеку от тянувшейся вдоль берега ограды. Туман полностью скрывал его. Проходившие мимо могли видеть только спину мочившегося матроса. Тут

ни офицеры, ни патруль ему были не страшны. Кэрель здорово все предусмотрел. Жилью оставалось лишь дожидаться прихода поезда : лейтенант должен был пройти именно здесь. Узнает ли его Жиль? Он снова стал тщательно продумывать все детали готовящегося нападения. Вдруг Жиль столкнулся с неожиданной проблемой: может ли он "тыкать" офицеру? Конечно, чтобы сильнее испугать его. Но ведь матрос не должен обращаться к офицеру на "ты". Все-таки Жиль решил "тыкать", хотя ему и было немного жаль, что он не сможет в это утро, когда он в первый раз переделся в военную форму, до конца воспользоваться открывшимися перед ним возможностями и насладиться полным душевным покоем и умиротворением, сопутствующими доскональному соблюдению установленного ритуала. Жиль ждал, засунув руки в карманы бушлата. От тумана его лицо покрылось ледяной изморосью, он начинал чувствовать болезненное ожесточение. Кэрель, должно быть, еще дремал в своем гамаке. Жиль слышал, как поезд со свистом преодолел железнодорожный мост и приблизился к вокзалу. Через несколько минут мимо Жилия прошло несколько силуэтов: женщины и дети. Его сердце громко забилося. Лейтенант шел сквозь туман один. Жиль покинул кабину, держа пистолет в опущенной руке. Когда тот поравнялся с ним, Жиль вышел ему навстречу.

-Не вздумай орать. Давай сюда сумку, или я стреляю.

В то же мгновение лейтенант почувствовал, что ему представляется возможность совершить героический поступок, и ему стало жаль, что у этого поступка не будет свидетелей, способных рассказать о нем его знакомым мужчинам, особенно Кэрелю. Он понимал бесполезность этого поступка, но ему казалось, что, не совершив его, он будет навсегда обесчещен, в то же время по голосу, блеску глаз и искаженному бледному прекрасному лицу сжимавшего в руках пистолет налетчика он видел, что тот не отступит. (В любом случае, без денег матрос не уйдет.) Слабая надежда на то, что кто-нибудь будет проходить мимо, почти сразу же растаяла, ибо это было маловероятно. Все это вместе разом пронеслось у него в голове, и он сказал :

-Не стреляйте.

Он надеялся, что может быть ему удастся запутать матроса при помощи изоощренный диалектики, усыпить его бдительность словами и незаметно завоевать его симпатию. Молодость и храбрость юноши волновали его.

-Заткнись. Не двигайся. Давай бабки.

Несмотря на страх, Жиль держался спокойно. Именно страх заставлял его говорить подчеркнуто сухо и грубо. Произнося эти отрывистые короткие фразы, он ясно давал ему понять, что не позволит втянуть себя в какую-либо дискуссию.

Лейтенант не двигался.

-Деньги, или я продырявлю тебе брюхо.

-Стреляйте.

Жиль выстрелил в плечо, стараясь раскрошить его и сбить сумку. Прозвучавший в этой крошечной светящейся в тумане будочке выстрел был воистину ужасен, он пронзил их тела, заставив их на мгновение прижаться друг к другу. Жиль тотчас протянул левую руку и, схватив сумочку за ремень, потянул ее к себе, одновременно приставив дуло к глазу лейтенанта:

-Отпусти, если хочешь жить.

Лейтенант отпустил ремень, а Жиль, отступив назад, резко повернулся

и бросился бежать со всех ног. Он исчез в тумане. Через четверть часа он уже был в своем укрытии. Он оказался вне подозрений. Полицейские искали среди матросов и никого не нашли. Кэрель на это и рассчитывал.

Кэрель занимал все больше места в сердце Жилия, и Роже видел, что тот удаляется от него. При встрече Жиль больше не обнимал его, а просто протягивал ему руку. Роже чувствовал, что самое главное происходит где-то над ним, за пределами его возраста. Он не ненавидел, но ревновал Кэреля. Ему даже нравилось, что у него тоже есть своя маленькая роль в этом серьезном взрослом деле. В конце концов, двойная красота братьев так на него подействовала, что он тоже охладил к Жиллю. Лица Кэреля и Робера стали чем-то вроде приводных ремней в сложном механизме его любви, и отсутствие хотя бы одного из них не позволяло этому механизму работать на полную мощность. Теперь он жил в постоянном ожидании чуда, которое вдруг неожиданным образом сблизило бы его с молодыми людьми и позволило ему любить их обоих сразу. Вечером он специально делал большой крюк, чтобы пройти рядом с "Феерией", которая казалась ему настоящей часовней, как однажды, когда Роже зашел к Жиллю на стройку, ее и назвал один из каменщиков:

-К мессе я хожу в часовню на улице Сак.

Роже до сих пор помнил громовой хохот каменщика, его широкую и белую от цемента руку с мастерком, которым он энергично орудовал в полном строительного раствора ящике. Ясно, какого рода культ мог отправлять там этот амбал с красной физиономией: Роже был достаточно наслышан о том, что представлял из себя этот бордель, - но сегодня "Феерия" стала для него самого местом отдохновения двуликого божества (он поклонялся этому двуглавному чудовищу, хотя даже не знал его имени), которое так бесцеремонно заставляло его юную душу изнывать от сладкой истомы и которому, без сомнения, должны были со страхом и трепетом поклоняться все каменщики. Еще Роже помнил, что в ответ на эту шутку (а теперь он не сомневался, что эта шутка несла в себе какой-то особый смысл) один из каменщиков недоуменно пожал плечами. Тогда Роже показалось странным, что безобидная острота по поводу борделя вызвала неодобрение рабочего, сквозь распахнутую до пояса рубашку которого виднелась пропеченная солнцем, покрытая пылью, известкой и жесткими волосами грудь, рабочего, у которого были такие грязные и грубые руки и который, безусловно, являлся олицетворением настоящего мужчины. Теперь же Роже понимал, что пожатием плеч рабочий как бы подверг сомнению утверждение о существовании этого тайного культа, ибо истинная вера всегда подвержена гонению и отрицанию со стороны окружающих.

Роже навещал Жилия каждый день. Он приносил ему хлеб, масло и сыр, за которыми ему приходилось ходить довольно далеко, в молочную у Сен-Мартэ, где его никто не знал. Жиль становился все более требовательным. Он знал, что он богат. И это припрятанное тут же, рядом с ним богатство давало ему право тиранить Роже. К тому же он привык к затворнической жизни, обустроился в ней и чувствовал теперь себя гораздо увереннее. На следующий день после нападения на лейтенанта он хотел было узнать через Роже, что пишут об этом газеты.

Но Кэрель категорически запретил ему посвящать в это дело мальчишку. Невозможность поделиться с Роже своими чувствами выводила Жилия из себя. Кроме того, он чувствовал, что мальчишка уже не так, как раньше, привязан к нему.

-Мне пора идти.

-Прекрасно! Ты меня бросаешь.

-Я вовсе не бросаю тебя, Жиль. Я прихожу каждый день, но моя старуха недовольна, когда я возвращаюсь слишком поздно. Нам обоим будет только хуже, если она запрёт меня дома.

-Ну ладно, не вешай мне лапшу на уши. И потом, знаешь... Притащи-ка мне завтра какого-нибудь пойла. Ты слышишь меня?

-Хорошо, я постараюсь.

-Плевал я на твое старание. Я хочу, чтобы ты притащил мне завтра горячего.

Грубое обращение нисколько не задевало Роже, царившая в камере ядовитая атмосфера сгущалась с каждым днем, но Роже, казалось, не замечал плохого настроения Жилия. Будь он по-прежнему влюблен в него, он наверняка нашел бы способ указать своему другу на происшедшую в нем перемену, но теперь приходиться сюда каждый день его заставляло не чувство, а желание следовать какому-то застывшему ритуалу, глубокий и таинственный смысл которого давно утрачен. Он даже не помышлял о том, чтобы избавиться от этой кабалы, все его внимание было приковано к двоящемуся лику Робера и Кэреля. Он жил надеждой встретить двух братьев вместе.

-Я встретил Джо. Он велел передать, чтобы ты не волновался. Все в порядке. Через два-три дня он сам зайдет к тебе.

-Где ты его встретил?

-Он выходил из "Феерии".

-Тебя-то как туда занесло?

-Я там не был, я просто шел мимо...

-Нечего тебе там шляться. Твой дом совсем в другой стороне. Ты что, не знаешь, что там собираются самые крутые центровики? Соплякам вроде тебя в "Феерии" делать нечего.

-Я же сказал, что я просто шел мимо.

-Заткнись.

Жиль чувствовал, что парнишка сильно охладел к нему, а в жизни, которую тот вел за пределами тюрьмы, ему и вовсе не было места. Он даже начал опасаться, как бы эта жизнь не оказалась насыщеннее его собственной. И действительно, оставив Жилия, Роже мог спокойно ходить, куда ему заблагорассудится, пусть издалека, но все-таки видеть, как веселились в борделе, где оба брата прогуливались по залам (внутреннее убранство которых он, глядя на обшарпанный фасад, ошибочно представлял себе более бедным, чем оно было в действительности), на мгновение встречались друг с другом (а не встретиться они просто не могли) и снова расставались, затерявшись в толпе женщин, облаченных в прозрачные ткани и кружева. Иногда ему даже казалось, что братья выходят и, взявшись за руки, улыбаются ему своей одинаковой улыбкой. Они сами протягивали руки к проходившему мимо тихому застенчивому юноше, и на какое-то мгновение он оказывался рядом с ними. Дома Роже не осмеливался говорить о братьях, один из

которых был вором, а другой - сутенером. Если бы он обмолвился о них хоть словом, сестра бы все передала матери. Однако он настолько был поглощен своими любовными переживаниями, что в любое мгновение мог себя невольно выдать. Впрочем, случайно вырывавшиеся у него иногда фразы было довольно трудно понять. Однажды он вдруг произнес: "Рыцари!"

Даже в мечтах он не мог представить себя посвященным в их дела. В его воображении то и дело возникали всевозможные картины того, как он вручает братьям нечто такое, что было ему очень дорого, но что это было, он сам не знал. Он дошел до того, что однажды ему вдруг нестерпимо захотелось вырвать из зеркала собственное отражение и отправить его к Джо и Роберу с предложением дружбы, в то время как он сам оставался бы у себя в комнате и ждал ответа. Как-то вечером Кэрель пришел к Жилю в то время, когда Роже уже не было.

-Готово. Теперь все на мази. Я достал тебе билет до Бордо. Только на поезд тебе придется сесть в Кэмпе.

-А тряпки? Мне же не во что одеться.

-Вот в Кэмпе и прикинешься. Здесь все равно ничего не купишь. Бабки у тебя есть, так что выкрутишься как-нибудь. У тебя ведь целых пятьдесят кусков. С этим уже можно жить.

-Знаешь, Джо, мне здорово повезло, что я тебя встретил.

-Это точно. Только постарайся, чтобы тебя не замели. А если, не дай Бог, тебя накроют, ты, я надеюсь, будешь умницей и не сболтнешь ничего лишнего.

-Насчет этого будь спокоен. О тебе легавые от меня ничего не узнают. Мы с тобой не знакомы. Ну, так как, я уезжаю сегодня ночью?

-Да, тебе нужно собираться. Мне немного жаль, что ты уже сваливаешь. Ей-богу, Жиль, я к тебе привязался.

-Я к тебе тоже привязался. Но мы еще обязательно увидимся. Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня.

-Да, конечно, но знаешь, как говорят: "С глаз долой - из сердца вон."

-Нет, старик, не думай. Я не такой.

-Правда? Ты меня не забудешь?

Произнеся эти слова, Кэрель положил руку на плечо Жилия, который повернулся к нему лицом.

-Я тебе клянусь.

Кэрель улыбнулся и дружески обнял рукой Жилия за шею.

-Нас теперь водой не разольешь, так, что ли?

-Да, я так с самого начала решил для себя.

Они стояли лицом к лицу, глядя друг другу в глаза.

-Главное, чтобы с тобой ничего не случилось!

Кэрель привлек Жилия к своей груди, тот не сопротивлялся.

-Ну держись, скверный мальчишка.

Он поцеловал его, и Жиль вернул ему поцелуй, но Кэрель его не отпустил и, продолжая сжимать, прошептал:

-Жаль.

Так же шепотом Жиль переспросил :

-Чего жаль?

- А? Сам не знаю. Просто жаль. Ах да, жаль, что я тебя теряю.

-Но ты же меня не теряешь. Мы еще увидимся. Я сразу же дам тебе о

себе знать. Ты сможешь приехать, когда закончится срок твоей службы.

-Ты правда не забудешь меня?

-Ей-богу, Джо. Мы с тобой теперь дружки до гроба.

Шепот, которым они говорили между собой, становился все более приглушенным. Кэрель чувствовал, что на самом деле начинает привязываться к этому мальчишке. Всем своим телом он прильнул к похолодевшему телу Жилия и поцеловал его еще раз. Жиль снова ответил ему.

-Мы лижемся, как влюбленные.

Жиль улыбнулся. Кэрель поцеловал его снова, но уже более горячо, потом легкими искусными поцелуями поднялся к уху и впился в него губами. Оторвавшись от уха, он прижался щекой к щеке друга, который с силой обнял его.

-Знаешь, малыш, я тебя очень люблю.

Кэрель сжал руками голову Жилия и снова начал целовать его лицо. Он еще плотнее прижался к его телу, и их ноги переплелись.

-Ты действительно считаешь меня своим корешем?

-Да, Джо. Ты мой единственный настоящий друг.

Они долго стояли обнявшись. Кэрель нежно гладил волосы Жилия и осыпал его горячими поцелуями. Вдруг Кэрель почувствовал, что у него встает. Он сосредоточился на этом ощущении, стараясь поддержать и усилить свое желание. Он хотел Жилия.

-Знаешь, а ты не такой, как другие.

-Почему?

-Я тебя целую, а ты молчишь и не сопротивляешься.

-Ну и что? Я же сказал, что мы друзья. Разве мы не можем себе это позволить?

В знак благодарности Кэрель опять нежно поцеловал его в ухо, и его губы приблизились к губам Жилия. Нащупав их, он, горячо дыша ему прямо в рот, прошептал:

-Это тебя правда не смущает?

Ответный шепот Жилия тоже слился с его горячим дыханием:

-Нисколько.

Их губы слились и языки переплелись.

-Жиль?

-Что?

-Я хочу, чтобы ты стал моим самым близким другом. Самым. Ты слышишь?

-Да.

-Ты согласен?

-Да.

Глубокая привязанность, которую Кэрель чувствовал к Жилию, начинала все больше напоминать любовь. Он испытывал к нему что-то вроде нежности старшего брата. Жиль был таким же, как и он сам, убийцей. Это был маленький Кэрель, который никогда не должен был вырасти и стать взрослым. Кэрель глядел на него с невольным трепетом и любопытством, так, как будто видел в нем самого себя в еще не оформившемся, младенческом состоянии. Ему не терпелось заняться любовью, потому что он надеялся своими ласками привязать его к себе еще сильнее. Но он не знал, с чего начать. И хотя самого его уже трахали, он не знал,

как подступиться к парнишке, опасаясь, что может его смутить. У него даже промелькнуло желание предложить Жилю самому вставить ему в задницу свой член. Кэрель вспомнил педика из Армении, к которому он испытывал почти такую же нежность. Тогда по неопытности он решил, что Жоашен хочет его трахнуть, хотя, как он теперь понимал, на самом деле поведение и голос армянина указывали на то, что он хотел, чтобы трахнули его самого. К Ноно он вообще не испытывал никаких чувств. Если бы Ноно вдруг сдох, ему было бы наплевать. Он чувствовал, что любовь не терпит насилия: она должна быть абсолютно добровольной. Когда имеешь дело с мужиком, можно, конечно, позволить ему себя трахнуть без любви, и это даже может быть приятно, но для того, чтобы трахнуть кого-нибудь самому, необходимо, хотя бы в тот момент, пока стоит твой член, его любить. Он должен был отказаться от пассивной роли во имя любви к Жилю. И он попытался это сделать.

-Ну, дружище.

Его рука скользнула по телу Жилия и остановилась на вздрогнувших ягодицах. Кэрель сжал их своей твердой широкой ладонью, как бы желая показать, что они являются его собственностью, и он имеет на них полное право. Потом его пальцы скользнули между поясом брюк и рубашкой. Его член уже встал. Он любил Жилия. Ему очень хотелось его любить.

-Жаль, что мы не можем оставаться вместе вечно.

-Да, но мы же скоро увидимся...

Голос Жилия звучал взволнованно и печально.

-Мне бы хотелось, чтобы мы всегда были вместе, как сейчас...

Представив себе, что они остались одни в целом мире, он почувствовал к Жилю глубокую нежность, он вдруг стал для него всем, его единственным другом, единственным близким ему человеком. Он взял руку Жилия и дотронулся ею до своего члена. Жиль потер его под тканью брюк и сам расстегнул ширинку. Он коснулся напряженного члена, и тот напрягся еще сильнее: в первый раз его так трогал мужчина. Он прижался ртом к уху Жилия, который тоже в ответ поцеловал его.

-Ты первый парень, которого я по-настоящему люблю.

-Правда?

-Честное слово.

Жиль еще сильнее сжал в своей руке член Кэреля. И Кэрель тихо прошептал:

-Пососи меня.

Жиль на мгновение замер и медленно опустил голову. Он сосал, а Кэрель, стоя перед ним, спокойно перебирал волосы на его склоненной голове.

-Соси сильнее.

Двумя руками он вырвал член изо рта Жилия. Ему не хотелось, чтобы удовольствие закончилось слишком быстро. Он потерся своей щекой о щеку приятеля.

-Знаешь, а ты мне нравишься. Я тебя очень люблю.

-Я тоже.

Расставшись с Жилем, Кэрель почувствовал, что на самом деле любит его...

Кэрель во всем полностью полагался на свою звезду. Эта звезда существовала только благодаря вере матроса в нее - она была, если можно так сказать, сияющим в темноте сгустком его веры, и для того, чтобы эта звезда сохраняла силу своего сияния, для того, чтобы она не погасла, Кэрель должен был сохранять свою веру в нее - которая одновременно была и его верой в самого себя - и не допускать, чтобы самое легкое облачко встало между ним и звездой и ее сияние замутилось хоть каким-нибудь малейшим сомнением. Она полностью зависела от него, но он тоже был к ней привязан. Она действительно его хранила. Одна мысль о том, что она может погаснуть, вызывала у него что-то вроде головокружения.

Жизнь Кэреля была полна опасностей. Это вынуждало его быть предельно собранным и внимательным, ни на миг не забывая о своей звезде, во всем его облике не было ничего лишнего (а зачем?) и расслабленного. Его невозможно было застать врасплох, он всегда был готов преодолеть любое встретившееся на его пути препятствие. Только крайнее истощение сил (а такое трудно себе даже представить) могло бы заставить его отступить. Его вера в свою звезду, вкупе с невероятным везением (которое еще зовется удачей), позволяли ему с такой легкостью выходить из самых необычных, отличающихся друг от друга, как разноцветные стекла круглых витражей, ситуаций, что нами невольно овладевает искушение найти этому какое-нибудь сверхъестественное объяснение. Песню "Звезда любви" Кэрель впервые услышал задолго до того, как он сам стал моряком Военного флота.

Звезда надежды и любви  
Над моряком горит.  
Ее незамутненный вид  
В пути его хранит.

Каждый вечер подвыпившие докеры просили исполнить ее своего товарища, у которого это получалось лучше, чем у других. Парень сначала долго не соглашался, его упрашивали, угощали вином, наконец он вставал и мечтательно открывал свой беззубый рот, а сгрудившиеся вокруг его стола здоровенные мужики зачарованно слушали его пение:

О, Нина, ты моя звезда  
Среди вечерних звезд,  
Тебя я выбрал навсегда  
Звездой своих грез...

Песня завершалась картиной кровавой драмы: освещенное огнями судно терпело в ночи крушение, что, вероятно, должно было символизировать крушение любви. Докеры, рыбаки и матросы громко аплодировали. Кэрель сидел к ним спиной, облокотившись на оцинкованную стойку и положив ногу на ногу. Развлечения этих крепких парней его мало интересовали. Он вовсе не собирался стать таким же, как они. На флот он пошел, прельстившись картинкой на афишном щите, да еще потому, что это сразу решало все его проблемы, давало возможность жить, ни о чем не

заботясь. В дальнейшем мы еще вернемся к этой афише.

Бейрут. Кэрель и его товарищ вышли из "Горна". В карманах у них не осталось ни гроша. На них была белая летняя форма, которую всегда внимательные к своей внешности моряки обычно сами перешивают, тщательно подгоняя по фигуре. Белые береты, белые башмаки. Вечер выдался на редкость тихий. Неподалеку от кабака шедшие молча матросы натолкнулись на мужчину лет тридцати. Тот окинул их взглядом, несколько дольше задержав его на Кэреле, и, слегка замедлив шаг, продолжил свой путь.

-Чего это он?

Кэрель с недоумением посмотрел ему вслед. Его абсолютное безразличие, отсутствие у него даже не симпатии - малейшего интереса к людям отчасти скрывали от него и то, что принято называть пороком. Он решил, что мужчина знает его или когда-то встречался с ним.

-Да это же форменный педик.

Иона сразу же это понял. Он не был так красив, как Кэрель, который привык ловить на себе восхищенные взгляды мужчин.

-У этих чудиков бабок обычно куры не клюют, не то, что у нас, вот суки, - сказал он, замедляя шаг.

-Да уж, у нас их нет, это точно.

-Просто не хочется с ним связываться, но меня с души воротит от одного вида этих давалок. Так бы и врезал ему промеж рог.

Произнося последнюю фразу, Иона слегка понизил голос: ему казалось, что так она звучит более значительно, а это укрепляло в нем сознание своей мужественности, придавало ему в собственных глазах вес, удаляло от педераста, сближало с Кэрелем и вообще позволяло поддержать престиж Военного флота на должном уровне, к тому же, обернувшись, он заметил, что незнакомец идет за ними. Иона на секунду замолчал. Он решил, что на него смотрят, отчего его походка стала более уверенной и твердой (мускулы на ягодицах напряглись и натянули белую ткань брюк), вместе с тем он продолжал искусственно разжигать в себе возмущение и злобу, которые постепенно полностью охватили все его существо, - а хорошо известно, что ничто не влияет в такой степени на поведение человека, как гнев и страх, которые способны заставить трепетать все члены, от гнева у человека сводит судорогой мышцы рук и лица, а пальцы сами сжимаются в кулаки, - и голос его слегка задрожал:

-Давить таких гнид надо безо всякой жалости. Лично я с удовольствием бы замочил этого фраера. А ты как к этому относишься?

Он вопросительно посмотрел на Кэреля.

-Я? Я готов. Только здесь его не замочишь. Слишком много народу.

Убедившись в том, что приятель разделяет его чувства, Иона доверительно понизил свой голос еще на полтона:

-Надо бы сделать вид, что мы готовы его удовлетворить.

Внезапно он замолчал. Незнакомец медленно прошел мимо них. Засунув руки в карманы брюк, Иона натянул белую ткань у себя на животе, стараясь лучше подчеркнуть то, что, как он слышал, педерасты называют

"прибором", - член и яйца. Кэрель невольно улыбнулся. Незнакомец бросил на них быстрый взгляд и сразу же отвернулся.

-Похоже, он клюнул, непонятно только, на кого из нас он положил глаз. Оставаясь вдвоем, нам это дело не повернуть. Лучше разделить: один оттянет его на себя, а другой пойдет сзади. Ты не возражаешь?

-Да, пожалуй, так будет лучше. Только оставайся ты. Я в таких делах не мастак. Это не по моей части.

-Хорошо. Я тоже в этом не слишком поднаторел, но я постараюсь заговорить ему зубы и заманить на пляж. А ты двигай за нами, только так, чтобы он тебя не засек. Понятно? Как только мы поравняемся с ним, ты сделаешь вид, что отчаливаешь.

-Хорошо.

Они пошли немного быстрее. Приблизившись к незнакомцу, они пожали друг другу руки, и Кэрель громко произнес:

-Ну ладно, до завтра. Мне пора возвращаться. А у тебя увольнительная на всю ночь. Пока, старик.

Он сошел с тротуара и стремительно перешел на противоположную сторону. Иона замедлил шаг и достал из кармана сигарету. При этом он незаметно приспустил свои брюки на белые полотняные туфли. Попрошавшись с Кэрелем, Иона вдруг почувствовал себя совершенно свободным, отчего его походка обрела легкость, а манипуляции с одеждой - естественность и непринужденность. Этот внезапный и вместе с тем столь долгожданный отпуск буквально окрылил его, позволил ему воспарить над звездными сумерками, предавшись упоительному колыханию расклешенных брюк, которое делает такой неотразимой раскачивающуюся ("как в море лодочка") походку матроса, составляющую истинную славу Военно-морского флота. Это был настоящий танец. Иона танцевал перед Иродом. Он ощущал на себе взгляд тирана, облаченного в расшитые золотом одежды, но уже поверженного, замороженно следящего за плавными и свободными движениями матроса, танец которого знаменовал собой торжество безграничной свободы. Когда незнакомец снова догнал его, они одновременно, как по команде, повернулись лицом друг к другу: у обоих в руках были сигареты, но если у Ионы она была в мундштуке, то прохожий скромно держал свою в руке.

-Извините... У вас не найдется...

Иона улыбнулся:

-Нет, огня у меня нет. Впрочем, подождите, может быть, где-то в карманах что-нибудь завалялось...

Порывшись в карманах, он извлек спички и протянул их незнакомцу. Это был мужчина хрупкого сложения, с очень бледным лицом и глубокими складками вокруг рта. На нем был элегантный костюм из бежевого шелка. Прикуривая, он буквально пожирал взглядом обнаженную шею матроса. Возраст педераста интересовал Иону гораздо меньше, чем его физические данные.

-Огонек у матроса всегда найдется. У нас на флоте все ребята "с огоньком".

-О, я не сомневаюсь, что мореплавателей невозможно застать врасплох - так ведь говорят, "врасплох"? - и этом мне в них особенно нравится. Само собой разумеется, что я имею в виду прежде всего французских

мореплавателей.

Он поблагодарил Иону легким кивком головы. Говорил он очень тихо, к тому же сознание того, что он познакомился с настоящим, из плоти и крови моряком и тот его внимательно слушает, заставляло его голос дрожать от волнения.

-Да, черт возьми, расслабляться нам нельзя. Мы неделями болтаемся в море, а там приходится рассчитывать только на себя.

Вдруг Иона подумал, что этот хлюпик с интеллигентскими манерами может испугаться его слишком грубых выражений или чересчур резких интонаций.

-Неделями!

Незнакомец сочувственно помахал перчатками, которые сжимал в своей руке.

-Боже мой, неделями! Каким необычайным мужеством надо обладать, чтобы решиться на столь длительное пребывание в полном одиночестве! Вдали от родины! Вдали от любимых!

Его голос зазвучал немного увереннее, однако неестественная вычурность его речи делала его звучание безжизненным и невыразительным. Сам он настолько напоминал опутанного нитками сделанного из мятой ворсистой бумаги змея с торчащим изо рта крючком, что не было ничего удивительного в том, что этим звездным вечером его вдруг схватили и потащили за одну из этих нитей. Он не улыбался и семенил рядом с Ионой, который продолжал подметать своими брюками мостовую.

- Ну что касается любимых, то я еще ни в кого не втюрился.

-Не втюрился? Что значит "втюрился"? Это что, арго?

-Да, в Париже так иногда говорят. А вы что, не француз?

-Я армянин. Но сердцем я француз. Франция - это Корнель, бесподобный Верлен. Я учился во французской школе. Теперь я коммерсант. Торгую прохладительными напитками. Газированным лимонадом.

Услышав, что педик - иностранец, Иона почувствовал внезапное облегчение, ибо терзавшая его с самого начала не совсем понятная ему странность поведения незнакомца получила наконец-то свое объяснение. А вот угрызения совести его не мучили вовсе. Армянин дотронулся до его руки, точнее, до складки ткани на рукаве матроса и, собравшись с духом, едва слышно, почти шепотом пробормотал:

-Пойдемте. Чего вы боитесь? Я ведь не чудовище.

На последних словах он внезапно запнулся и, отдернув свою затекшую, как бы пронзенную тысячей ледяных иголок руку, весь затрясся от нервного смеха. Обернувшись, он посмотрел, не идет ли за ними Кэрель, но никого не увидел. Он опасался, как бы эти два столь подозрительно быстро расставшиеся друг с другом матроса не задумали против него чего-нибудь плохого. Такое же легкое беспокойство, правда вызванное другой, прямо противоположной причиной, ощутил и Иона, неподвижно стоявший, широко расставив ноги и засунув руки в карманы, не сомневающийся в том, что избранная им манера поведения как нельзя лучше подходит к данной ситуации.

-О! Я ничего не боюсь. Мне нечего бояться. Я матрос, я сам люблю развлечься и не хочу никому мешать. Каждый должен делать то, что ему нравится. Я человек без предрассудков. Я все понимаю.

-Вы абсолютно правы, мой дорогой. В этом мире людям часто не хватает подлинной широты взглядов. Лично я не считаю себя связанным ничем. Красота - это единственное, что я признаю.

-Меня даже на судне прозвали "тихоня". Это потому, что я никуда не сую свой нос. Я еще никогда никого не осуждал. Каждый развлекается, как может. Главное, чтобы все были довольны.

-Мне нравится то, что вы говорите, к тому же у вас такой приятный голос. Я все больше проникаюсь к вам симпатией. В самом деле (он схватил матроса за руку и, нервно сжав ее изо всех своих жалких силенок, едва не заставил Иону вскрикнуть от боли), - в самом деле, почему бы нам не пойти ко мне и не выпить немного ликера. Французский моряк не может от такого отказаться. Прошу вас, мой друг, пошли.

Его серьезное печальное лицо вдруг озарилось безумной надеждой, сверкнувшей в его огромных черных глазах. Он уже полностью перешел на шепот:

-Вы мне очень симпатичны. И потом (его горло сжалось, кадык судорожно дернулся) - и потом, вы сами сказали, что никогда никого не осуждаете. А я так одинок, и мне хотелось бы еще хоть немного побыть вместе с вами.

-Но ведь не обязательно идти к вам. Можно просто прогуляться.

-Но, мой друг, мне хотелось бы побыть с вами наедине.

-Можно пойти к морю. Найти какой-нибудь укромный уголок, где никого нет.

Бросив сигарету, он сделал несколько шагов. Армянин сперва последовал за ним.

-Но моя комната хранит все воспоминания. Мне хотелось бы, чтобы она запечатлела и ваш визит.

Иона разразился громким смехом. Он посмотрел на педераста и ласково сказал:

-Честное слово, вы чокнутый. Это уже звучит как признание в любви.

-О! Вы мне...О!.. Я смущен... но не думайте, не сердитесь... конечно, вы мне нравитесь...

-Ладно, ладно, в этом нет ничего плохого. Я не сержусь. С чего? Ничего плохого в этом нет. Только я не могу. Об этом не может быть и речи. Я не могу пойти к вам. Если хотите, можно немного пройтись, погода хорошая, пойдем к морю или в сад... Там нам никто не помешает...

-Нет. Я боюсь. Меня могут узнать.

-А если мы пойдем к вам? Это еще опаснее.

Их спор оборвался. Чем настойчивее матрос предлагал отправиться к морю, тем упорнее армянин настаивал на своем желании остаться в городе, ибо настойчивость матроса пугала его. Тот и раньше слышал, что педики бывают очень осторожны: теперь сломить его сопротивление можно было, только убив его. На мгновение эти мысль возникла у него в голове. Он знал, что эти типы боятся обращаться в полицию. Оказавшись не в состоянии его заманить, он рисковал навлечь на себя насмешки Кэреля и от этого ненавидел его еще сильнее.

"Педик почуял что-то неладное. Наверное, сдрейфил".

Иона не знал, что армянину приглянулся Кэрель. Тот факт, что ушел именно Кэрель, делал того еще более привлекательным в его глазах. Конечно, он мог бы удовлетвориться и оставшимся матросом, но оказался

не способным преодолеть сопротивление своего инстинкта самосохранения. Как и большинство педерастов, он испытывал безотчетный страх перед самцами более сильными, чем он сам, и опасался уединяться с ними в слишком безлюдных местах. На берегу моря он должен был бы почувствовать себя совсем беззащитным, ибо море всегда в сговоре с моряками. Дома же у него на расстоянии вытянутой руки была установлена кнопка сигнализации. Кроме того, ему хотелось насладиться поэзией полутемной, украшенной цветами, черными инкрустированными перламутром рамками, коврами, лентами и лиловыми подушками комнаты. Ему хотелось опуститься перед обнаженным матросом на колени и шептать ему на ухо нежные слова. Но главное, о чем Иона не знал, было то, что педераст думал о Кэреле и смутно надеялся, избавившись от Ионы, снова с ним встретиться. Наконец, ко всем этим терзавшим его страхам добавлялся еще один: чем больше ему нравился какой-нибудь юноша, тем больше он его боялся, и хотя ему вроде бы нравился Кэрель, страх, который тот ему внушал, он переносил на Иону.

-Ну, так что будем делать?

-Пойдем ко мне.

-Ладно, тогда бывай. Пока. Расстанемся друзьями. Может, еще увидимся через пару дней.

Они стояли на хорошо освещенной и очень людной улице. Иона резко, почти грубо сжал руку испуганного армянина и пошел прочь большими размашистыми шагами, раскачиваясь всем своим корпусом, амплитуда колебаний которого увеличивалась по мере того, как Иона стремительно удалялся. Сердце несчастного педераста болезненно сжималось в такт этим покачиваниям. Своего товарища Иона не нашел. А через десять минут после этой сцены, возвращаясь к себе домой, армянин заметил белешую на перекрестке высокую фигуру Кэреля.

-О!

Это невольно вырвавшееся у него восклицание заставило Кэреля улыбнуться.

-Что такое? Я вас испугал? Разве я так ужасен?

-О! Вы просто ослепительны!

Кэрель улыбнулся еще шире. Он с самого начала не сомневался, что у Ионы с этим типом "ничё не выйдёт", однако что все-таки произошло в действительности, он не знал.

-Вы... вы весь светитесь! Ваше лицо слепит меня!

Иронично улыбающийся Кэрель слегка присвистнул, и в том, как он это сделал, было столько мягкого очарования, что армянин тоже улыбнулся. Оставив Иону, он ужасно разозлился на себя за то, что не сумел воспользоваться плодами столь тщательно проведенной им подготовительной работы. Сознание того, что этим вечером у него уже не было практически никаких шансов снова встретиться в массе толпящихся на улице людей понравившегося ему матроса, повергало его в отчаяние, к которому примешивалось сильное раздражение на самого себя, поэтому радость от внезапной встречи заставила его позабыть все свои опасения, а ласковая улыбка матроса окончательно усыпила его бдительность. Сложение и рост Кэреля подавляли армянина, но улыбка доказывала, что это гигант покорен им.

-По крайней мере неожиданно появляться вы умеете!

Армянин довольно быстро убедил Кэреля пойти к нему. Он снова повторил весь тот возвышенный бред, который уже говорил Ионе, но повторил короче, более сжато и компактно. Он был вне себя от возбуждения. Он забыл про всякую осторожность до такой степени, что сразу же отмахнулся от промелькнувшей было у него мысли: "Почему этот матрос сказал при мне, что возвращается на борт? Я ведь встретил его далеко от порта!" В комнате он зажег ароматическую палочку. Роскошная обстановка этой затянутой драпировками уютной комнаты восхитила Кэреля. Он чувствовал, как сладкая истома разливается по его членам, ему хотелось забыться и ни о чем не думать. Мягкие подушки, плотный ковер, необычные цветы. Черное дерево мебели и рамок убаюкивало его. Обилие мягкой мебели поглощало собой Кэреля, он чувствовал себя заживо похороненным и не смел пошевелиться. Ему никак не удавалось сосредоточиться.

-Будьте как дома. Теперь вы хозяин этого царства. Располагайтесь.

Слово "располагайтесь" почему-то смутило Кэреля, хотя он и не мог понять, почему. Мысль, промелькнувшую у него в голове, он уже не мог выразить словами - все слова расплывались и утрачивали свой первоначальный смысл, - она явилась ему в виде гирлянды постояннодвигающихся причудливых цветов (отчего вызванное ею беспокойство то разрасталось и готово было повергнуть его в настоящее отчаяние, то полностью затихало): "Надо будет все же не дать ему меня трахнуть". Кэрель считал, что педерастами называют только таких парней, которые трахают других. Если матросы (а он сам постоянно был этому свидетелем, хотя лично его это и не касалось) с такой ненавистью относятся к педикам, то это можно было объяснить только тем, что (хотя они сами часто похожи на баб) они пытаются сделать женщину из вас. Только этим - и ничем другим - можно было объяснить, почему их так все ненавидят. Добродушие Кэреля иногда делало его крайне наивным. Его беспокойство продлилось недолго и совсем не отразилось на его настроении. "Там видно будет". Зарывшись в подушки и с жадностью затягиваясь сигаретой, он наблюдал за тем, как армянин в предвкушении долгожданного мига все больше теряет голову. Кэрель видел, как он жеманится, пудрится и нервно разливает своими миниатюрными ухоженными ручками, какие он потом видел только у лейтенанта, в крошечные кофейные чашечки розовый ликер.

"Забавно. Если все педерасты такие, как он, то в них нет ничего плохого".

-Меня зовут Жоашен. А вас, ангелоподобный юноша, как прикажете величать?

-Меня?

Он не мог скрыть своего удивления. Нежность армянина буквально обволакивала его, нечто подобное он испытает потом на причале, когда лейтенант Себлон склонится над ним, мечтательно поглаживая свою полную грудь:

-О, мои алебастровые шары!

Эти алебастровые шары были тяжелы. Офицеру казалось, что они молочно-белые, подобно луне, твердые и нежные одновременно и наполнены молоком, которым он, конечно же, сможет вскормить уже начинающего держать головку Кэреля.

-Да, тебя?

-Меня зовут Кэрель. Матрос...

Он запнулся, поняв, что совершил ошибку. Поколебавшись несколько секунд в нерешительности, он наконец отбросил сомнения и повторил: "...Кэрель".

-О! Какое красивое имя!

-Да, Кэрель. Матрос Жорж Кэрель.

Армянин опустился перед ним на колени. Его бледно-розовое вышитое золотыми и серебряными птицами шелковое кимоно слегка распахнулось, обнажив грудь и белые гладкие ноги. Кэрелю от усталости показалось, что к нему приближается странная кукла необыкновенно большого размера, как будто это было во сне, который, подобно огромной лупе, приближает и увеличивает все предметы до такой степени, что начинает казаться, будто они с тобой сливаются. Это было забавно! Кэрель улыбнулся. Армянин приблизил свой рот к его рту. Кэрель наклонился вперед, подавшись навстречу первому в своей жизни поцелую, полученному им от мужчины. Он чувствовал легкое головокружение. Ему нравилось преступать все запреты в этой комнате, как бы специально для этого предназначенной, ибо здесь все происходящее с ним казалось ему далеким и почти нереальным. Он как бы парил над миром. Он улыбался, но был абсолютно серьезен. Можно даже сказать: в этой комнате он чувствовал себя как в лоне матери. Так же тепло и безопасно.

-Твоя улыбка сияет, как звезда.

Улыбаясь, Кэрель обнажил свои белые зубы. Кокетство Жоашена, неестественная белизна его кожи (едва коснувшись которой он обнаружил, что она вся напудрена и надушена) совсем не трогали Кэреля, однако любовный огонь, который он заметил в прекрасных черных, устремленных на него, окруженных длинными загнутыми ресницами глазах, все же немного взволновала его.

-О! Твои зубы, как звезды!

Жоашен соскользнул своей рукой к яйцам матроса и, лаская их сквозь белое полотно, зашептал:

-Какие сокровища, какие драгоценности...

Кэрель с силой прижался ртом ко рту армянина и резко сдавил его в своих объятиях.

-Ты огромная лучезарная звезда, которая будет вечно освещать мою жизнь! Моя золотая звезда! Храни меня...

Кэрель задушил его. Предсмертные судороги педераста он наблюдал с холодной улыбкой: пальцы судорожно сжались, глаза выкатились из орбит, а из приоткрытого рта вывалился отвратительный язык - наверное, подумал он, тот точно так же его высовывал, когда предавался своим радостям в одиночестве. Музыка прибоя звучала у матроса в ушах. Он слышал гул нездешних миров. Ласковый шепот моря.

Звезда надежды и любви  
Над моряком горит,  
Ее незамутненный вид  
В пути его хранит...

Глаза армянина вдруг безжизненно застыли и погасли. Пение умолкло.

Эта внезапная перемена внутри окружающих предметов не ускользнула от внимания Кэреля, который чутко уловил приближение смерти. Педераст был существом хрупким и нежным. Он умер тихо. Без лишнего шума.

Отдавая дань традиции или даже подчиняясь своеобразному ритуалу, он считал необходимым замести за собой следы, скрыть (подобно тому как зонтик, оставленный открытым возле убитой на лугу девушки, продолжает укрывать ее от солнца) от глаз посторонних истинную картину происшедшего убийства, изменив какую-нибудь его характерную деталь: заметив блаженное выражение лица убитого, матрос приоткрыл его ширинку, поднес к ней две безжизненные руки и оставил их так, якобы изготовленными для занятия онанизмом. Он невольно улыбнулся. Педерасты сами подставляют палачам свою нежную шею. Можно с уверенностью утверждать - и мы еще убедимся в этом позже, - что жертва часто сама провоцирует палача. В голосе педиков, даже самых смелых, неизменно слышится тайная дрожь, что само по себе уже привлекает внимание потенциального убийцы. Кэрель заметил в зеркале свое лицо: он был замечательно красив. Он улыбнулся собственному отражению, этому двойнику убийцы в бело-голубой форме, с черным сатиновым галстуком на шее. Кэрель забрал все деньги, которые нашел, и спокойно вышел. На темной лестнице он столкнулся с какой-то женщиной. На следующее утро все матросы "Мстителя" были выстроены на палубе. Два юноши, накануне видевшие Жоашена с Ионой, явились, чтобы опознать матроса. Они указали на Иону, который в течение шести месяцев с отчаянным ожесточением отрицал свою вину на допросах, так и не сумев объяснить, каким образом случайная незнакомка в чадре могла встретить утром французского матроса на лестнице, где жил армянин, с которым он сам чуть раньше гулял по улице. Это армянин был задушен в тот самый час, когда Иона шел по направлению к "Мстителю". В знак уважения к стране, находившейся под французским протекторатом, а также приняв во внимание вызывающее поведение обвиняемого, военный трибунал приговорил Иону к смерти. Он был казнен. Кэреля же опять выручила его звезда. Он покинул Бейрут с грузом новых сокровищ. Он увозил с собой данные ему педерастом ласковые имена, окрепшую веру в свою звезду, но главная его драгоценность, как он теперь знал, находилась у него между ног. Это убийство далось ему легко. Оно было неизбежно, потому что Кэрель назвал свое имя. Он позволил, чтобы Иону - его лучшего друга - казнили. Такая жертва давала Кэрелю полное право без угрызений совести распоряжаться небольшим состоянием из сирийских ливров и монет всех стран мира, обнаруженных им в комнате Жоашена. За это ему пришлось дорого заплатить. Наконец, если педераст - это такое хилое, слабое, воздушное, прозрачное, нежное, утонченное, изящное, хрупкое, болтливое, невесомое существо, то он был просто обречен на то, что его когда-нибудь убьют, подобно тому как тонкое венецианское стекло только и ждет тяжелой руки воина, которая раздавит его, даже не порезавшись (не считая, быть может, небольшой коварной ранки от застрявшего в теле острого блестящего стеклышка). Если это и есть педераст, то это не мужчина. Он абсолютно беспомощен. Это какая-то кошечка, снегирь, олененок, медяница, стрекозка, сама слабость которых настолько утрированно преувеличена, что невольно притягивает к себе смерть. И кроме того, это существо называлось Жоашен.

Следовало бы ускорить ход повествования. Необходимо срезать с рассказа все мясо, оставив одни костяк. Однако ограничиться только краткими примечаниями тоже не представляется возможным. Кое-что нуждается в более развернутых пояснениях. Читатель, должно быть, удивлен (мы употребляем слово "удивлен", а не "возмущен" или "взволнован", дабы избежать субъективных оценок, способных нарушить чистоту стиля этого романа) болью, испытанной Кэрелем в момент, когда он узнал об аресте, спровоцированном накануне им самим, а это вынуждает нас снова обратиться к некоторым скрытым мотивам его поведения. Он убивал ради наживы. Однако ведь можно украсть и не убивая; предположение, будто убийства совершаются исключительно ради наживы, следует признать абсолютно беспочвенным - сопровождающие кражи убийства, скорее всего, носят чисто ритуальный характер. Очевидно, и Кэрель, благодаря случайному стечению обстоятельств, познал сладость кражи, увенчанной великолепным и вместе с тем ничем не оправданным убийством. Кровь украшает и освящает кражу, отчего последняя постепенно утрачивает свое значение и блекнет в лучах ослепительно сияющего убийства, - стремление к наживе не исчезает полностью, но как бы медленно разлагается под воздействием тлетворного дыхания чистого убийства - а если пострадавшим оказывается вдобавок близкий друг преступника, то это помогает ему избавиться от угрызений совести. Конечно, опасность, которой он подвергается (а он рискует своей жизнью), сама по себе могла бы служить достаточным оправданием желанию воспользоваться плодами своего преступления, но близкие отношения, связывающие его с жертвой - и делающие эту жертву как бы частью личности убийцы, - оказывают парадоксальное воздействие на его поведение, суть которого сводится примерно к следующему: я только что пожертвовал частью самого себя (своей дружбой). Я заключил что-то вроде договора с дьяволом, отдав ему частичку своей души, своей плоти - своего друга. Гибель друга освящает совершенную мною кражу. И речь идет не просто о чем-то внешне эффектно (кровь, слезы, смерть, траурная символика всегда подчеркивают значимость происходящего), а о глубочайшем таинстве, наделяющем меня исключительными правами на обладание сокровищами, в обмен на которые я отдаю, отрываю от себя своего друга. Отрываю от себя, потому что друг был питаемой моими соками листвой на моих ветвях, и боль, которую я теперь испытываю - лишнее тому доказательство. Кэрель не сомневался, что, если бы его вдруг решили лишить награбленных сокровищ, то это было бы страшным святотатством, которого он не должен был ни в коем случае допускать, ведь ему удалось повернуть это дело и избежать наказания самому только благодаря тому, что он сдал своего напарника (и друга) легавым и тот был приговорен к пяти годам лишения свободы. Награбленное для Кэреля было дорого, как память о пострадавшем товарище. Это вовсе не означает, что наш герой считал себя обязанным сохранить для него его долю, - главным для него было не допустить, чтобы украденные вещи вернулись к законным своим владельцам. После каждой своей новой кражи Кэрель испытывал острую необходимость убедиться в существовании мистической связи между собой и

украденными им предметами. Только после этого он чувствовал себя вправе распоряжаться ими. Кэрель обменивал своих друзей на браслеты, кольцо, золотые часы, серьги. То, что ему удалось найти материальный эквивалент чувству - дружбе, - безусловно, не могло быть понято остальными людьми. Только он один знал, что на самом деле за этим стоит. Каждый, кто попытался бы его заставить "вернуть награбленное", совершил бы кощунственный акт, равносильный осквернению места погребения. Арест Жилия огорчил Кэреля, что не помешало ему сразу же почувствовать все золотые украшения, приобретенные на деньги, добытые при помощи Жилия, своим кровным достоянием. Нельзя сказать, чтобы описанные выше отвлеченные спекуляции являлись исключительной прерогативой натур утонченных, к ним часто бывают склонны и люди с самым обычным сознанием. Хотя сознание Кэреля, вынужденное постоянно вытаскивать его из всевозможных противоречий с самим собой, в последнее время тоже стало более изощренным.

Рассказывая о драке братьев, Дэдэ не без умысла воспроизвел все оскорбления, которыми Робер осыпал Кэреля, отчего Марио вдруг почувствовал глубокое облегчение, причина которого ему самому была до конца не ясна. А она заключалась в следующем: в его голове промелькнуло смутное подозрение, что Кэрель мог быть замешан в убийстве матроса Вика. Подозрение было смутным, потому что радость, которую ощутил полицейский, мешала ему сосредоточиться. Он почувствовал, что эта все еще ускользающая от него мысль несет ему спасение. Постепенно, как бы зацепившись за мелькнувшую у него надежду на спасение, он восстановил реальную связь, которая могла существовать между убийством и тем, что ему было известно о педерастах: если Ноно действительно трахал Кэреля, то последний, без сомнения, был "дамкой". И не было бы ничего удивительного, если бы он оказался замешан в убийстве моряка. То, что Марио думал о Кэреле, конечно же существовало лишь в его воображении, но это, тем не менее, помогло ему добраться до правды. Проанализировав факт убийства и поведение Кэреля, мгновенно все сопоставив, он пришел к неожиданному для него самого выводу, и когда в комиссариате была высказана версия о виновности Жилия в двух убийствах, он смутился, но из опасения выдать себя не решился открыто ее отрицать. Воображение же его продолжало лихорадочно работать. Марио предполагал, что Кэрель был влюблен в Вика и убил его в припадке ревности - или же Вик был влюблен в Кэреля и сам пытался его убить. Чем дольше Марио обдумывал эти гипотезы, ни одну из которых невозможно было проверить, тем сильнее он проникался уверенностью в виновности Кэреля. Марио вспомнил, какое у него было бледное, несмотря на морской ветер, лицо. Бледное и так сильно напоминающее ему лицо Робера. У Марио их сходство вызывало сладкое недомогание и смятение чувств, и это тоже свидетельствовало против Кэреля. (Под сладким недомоганием мы подразумеваем легкое, но щемящее волнение, которое охватывало его душу, когда он видел перед собой это прекрасное мужественное лицо, черты которого вдруг смешивались с чертами другого лица, что делало его красоту неуловимой, беспомощно колеблющейся, неспособной обрести окончательное равновесие и определенность.) Встретившись в тот вечер

с ним у насыпи, он испытал нечто подобное тому, что чувствовала Мадам Лизиана. Марио вбирал в себя каждую черту в отдельности, и из них в нем как бы само собой слагалось лицо Робера. Постепенно это лицо полностью слилось с ним, заменив собой его собственное. Марио на несколько секунд застыл в неподвижности в темноте под ветвями деревьев. Он пытался отделить реальность от воображаемого видения. Его лоб был напряженно наморщен, брови нахмурены. Неподвижное лицо Кэреля мешало ему вспомнить, каким на самом деле было лицо Робера. Обе физиономии смешивались, сливались, разделялись и снова смешивались. Различить их было невозможно, в этот вечер даже улыбка превращала Кэреля в тень своего брата. (Казалось, он улыбался всем своим существом, его улыбка, как огромная складка на окутывающей его тончайшей вуали, скользила по нему, оживляя и одухотворяя его гибкое стройное тело, в то время как грусть Робера была устремлена внутрь него самого: она не омрачала его, а скорее разжигала в нем темный невидимый огонь, который под воздействием его резких и тяжелых движений разгорался все сильнее и сильнее.) Наваждение длилось недолго. Полицейский не позволил себя увлечь этому дьявольскому водовороту.

"Который из них?" - промелькнуло у него в голове.

Хотя он уже не сомневался в том, что убийство совершил Кэрель.

-О чем ты думаешь?

-Так, ни о чем.

Сходство братьев выбивало у него почву из-под ног, он чувствовал растерянность, признаться в которой, естественно, не мог. Он взглянул на Кэреля и с некоторым злорадством подумал: "Ты, приятель, пытаешься спутать карты, но со мной этот номер не пройдет". Он просто решил больше не думать об этой путанице, разобраться в которой не мог бы ни один полицейский. Возможно, сумеет Марио распутать этот клубок, он и докопался бы до чего-нибудь очень важного. Но его это больше не интересовало. И все-таки он сказал:

-Ты странный тип.

-Ты это о чем?

-Сам не знаю. Я это просто так сказал.

У Марио снова появилось смутное ощущение, что виновность матроса "открывает ему путь к спасению". Не понимая, почему, и даже не пытаясь это понять, он почувствовал, что не должен говорить о своем открытии никому. Он дал себе клятву молчать. Если он покроет убийцу, тем самым сознательно став соучастником преступления, то, быть может, ему простится и его коварство по отношению к Тони. Марио не столько боялся мести брестских докеров за своего приятеля, сколько его тяготило всеобщее презрение. Мы не собираемся особенно углубляться в психологию полицейского, однако было бы любопытно проследить, как постепенное развитие некоторых основных инстинктов - их культивирование - приводит к появлению этого странного, излучающего самодовольство существа - легавого. Марио нравилось вращать вокруг своего среднего пальца золотой перстень с гербом на печатке, грани которой слегка царапали указательный и безымянный пальцы его унизанной кольцами руки. Особенно он любил это

делать, когда, сидя за своим столом, допрашивал задержанного в доках или на складах вора. В отделе службы безопасности он делил со своим коллегой кабинет, где каждый из них располагал собственным рабочим столом. Марио был элегантен (а большего от него и не требовалось). Ему нравилось хорошо одеваться. Следует отметить также строгость его костюмов, умение их носить, суровое выражение его лица и, наконец, сдержанную уверенность его жестов. Наличие у Марио собственного письменного стола поднимало его в глазах допрашиваемых им преступников на недостижимую высоту. Иногда он с демонстративной небрежностью оставлял их одних, как оставляют вещь, в сохранности которой совершенно уверены. Он отпраивался за справкой в одну из многочисленных картотек. Это занятие тоже глубоко волновало его : он чувствовал себя хозяином секретов сразу нескольких тысяч мужчин. Когда он выходил на улицу, его лицо тотчас скрывалось под маской. Ему не хотелось, чтобы в кафе или где-нибудь еще в нем узнали полицейского. Впрочем, за этой маской - а наличие подобного аксессуара все-таки предполагало то, на что она была надета, - все равно скрывалось настоящее лицо полицейского. Он готов был часами следить за людьми, ни одна их ошибка, ни один грех не должны были ускользнуть от его взгляда, малейшая неосторожность могла навлечь ужасное наказание на человека с самой безупречной репутацией. Это было настоящее искусство, которое не имело ничего общего с подслушиванием у дверей или подглядыванием в замочные скважины. Марио не чувствовал никакого интереса к людям, а тем более к их личной жизни, но все, что вызывало у него хоть малейшее подозрение, действовало на него, как мыльная пена на ребенка: осторожно, с краю, он нащупывал соломинкой самое слабое место, из которого можно было выдуть радужный пузырь. Марио забывал обо всем, он откапывал все новые и новые факты и с радостью чувствовал, как под воздействием его дыхания преступление раздувается все сильнее и сильнее и наконец отрывается от него и поднимается в небо. Конечно, сам Марио был убежден, что трудится на благо общества. За год Дэдэ окончательно пристрастился сразу к двум столь не похожим друг на друга занятиям: он воровал и в то же время доносил в полицию на тех, кто ворует. И это несмотря на то, что, стараясь поощрить его привычку к доносам, Марио часто повторял ему:

-Ты нам нужен, понимаешь. Ты помогаешь нам бороться с подонками.

Парнишка не задумывался над своими поступками и оставался равнодушным к подобным сентенциям, в которых его волновало только это "нам", заставлявшее его чувствовать себя вовлеченным в какое-то грандиозное приключение. Он закладывал жуликов, и это нисколько не мешало ему самому воровать вместе с ними.

-Ты был знаком с Жильбером Тюрко?

-Да. Корешем он моим не был, но я его знал.

-Где он сейчас?

-Не знаю.

-Да брось...

-Честное слово, Марио. Я не знаю. Если б я знал, я бы тебе сказал.

Парнишка сам, еще до того, как его попросил об этом полицейский, провел небольшое расследование, но ничего не выяснил. Он так и не

сумел точно установить, была ли между Жилем и Роже любовная связь, о существовании которой он смутно догадывался. Роже так ловко пользовался невинным выражением своего лица, что его невозможно было в чем-либо заподозрить, хотя с его стороны это и не было сознательной хитростью.

-Постарайся все разузнать!

Что-то в душе Марио подсказывало ему, что чаша всеобщего презрения, которую он уже успел слегка пригубить, все-таки минует его, если он сумеет разгадать тайну этого убийства и навсегда похоронит ее в своей груди.

-Ладно, попробую. Но мне кажется, что в Бресте его нет.

-Об этом ничего точно не известно. Если он и уехал, то недалеко, он же в розыске. Повторяю еще раз: ты должен зырить и нюхать воздух, а потом сдать мне все под ключ.

Дэдэ с удивлением взглянул на сильно покрасневшего полицейского, который внезапно почувствовал, что недостойн изъясняться на языке, тоже предназначенном для обмена обычной информацией, но дающем, благодаря своей исключительной выразительности, возможность говорящему намекнуть своему собеседнику на существование между ними тайного, почти братского родства, но не по крови или языку, а по чудовищному бесстыдству и ангельскому целомудию одновременно, чего скудость обычной речи сделать не позволяет. Оттого, что Марио, уже утратив благодать, все же святотатствовал и пытался говорить на нем, и возникла эта заминка: он как будто сам не понимал того, что говорит, поэтому фраза и получилась такой неестественно вычурной. Марио был полицейским, но для того, чтобы осознавать себя им в полной мере, он нуждался в постоянном сопротивлении самому себе (а значит в том, против чего полицейский обычно борется). Он мог им быть лишь для других, противопоставляя себя миру, с которым боролся. А подлинной цельности и гармонии с самим собой, которые достигаются только в борьбе с противоречивыми желаниями, раздирающими собственную душу, ему достичь не удавалось. Будучи полицейским, Марио не мог не заметить, что сам часто испытывает тягу к правонарушениям и даже преступлениям - причем тяга к преступлению была в нем даже сильнее инстинктивного стремления полицейского к порядку, - но его несправедливость в отношении Тони воздвигала между ним и преступниками непреодолимую преграду, изолировала его от них, ставила его в положение изгоя, наблюдателя или же судьи, но войти в их среду, самому стать одним из них он уже не мог. Как и всякий истинный художник, он любил свое ремесло, но эта любовь так и осталась неразделенной. Ему оставалось только ждать и надеяться, угрозы докеров и доказательства виновности Кэреля постоянно вертелись у него в мозгу. Днем на службе он вечно шутил со своими товарищами, никто из которых не знал об угрожавшей ему опасности. Почти каждый вечер он встречался с Кэрелем за городом, неподалеку от того места, где насыпь возвышается над железнодорожными путями. Марио не собирался следить за ним, ему даже в голову не пришло, что обнаруженная около трупа Вика зажигалка могла указывать на связь Жилия с Кэрелем. Возвращаясь из здания бывшей тюрьмы, Кэрель шел по насыпи. Он не испытывал к полицейскому ни малейшего дружеского чувства, скорее, его привязывала к нему привычка и сознание того, что он весь в его власти. К тому же с ним он чувствовал себя в безопасности. Он снова становился маленьким и беззащитным. Как-то вечером в темноте он прошептал :

-А если бы ты тормознул меня на гоп-стопе, ты бы сдал меня в ломбард?

Само по себе словосочетание "внутренняя дрожь" нам не очень нравится, но, не в силах найти ничего лучшего для того, чтобы передать состояние Марио, мы вынуждены его употребить: "Марио почувствовал сильную внутреннюю дрожь". Чтобы поддразнить его, он ответил:

-Почему бы и нет? Ведь это мой долг.

-Упрятать меня в тюрьму - твой долг? Не слабо!

- Ну конечно. А если бы ты кого-нибудь замочил - тем более. Я бы отправил тебя в Дебле.

-А!

Выпрямившись после акта, который ни полицейский, ни он сам не решались назвать актом любви, Кэрель снова превращался просто в мужчину, стоящего лицом к другому мужчине. Застегивая брюки и служивший ему поясом ремень, он улыбался: ему хотелось показать, что он не воспринимает происшедшего с ним всерьез. Как раз в это время страсть хозяйки к Кэрелю была в самом разгаре, и будучи не в состоянии разобраться в сложном переплетении отношений Ноно, Марио и своего брата, он опасался, что его могут подставить. Он решил подстраховаться.

На следующий вечер он убедил Жилия бежать. Осторожно войдя в тюрьму, он приступил к методичному осуществлению досконально продуманного им ночью плана своего спасения: прежде всего ему необходимо было забрать у Жилия свой револьвер. Он глухо спросил:

-Ствол у тебя?

-Да, он тут. Спрятан.

-Покажи.

-Зачем? Что случилось?

Жиль хотел спросить, не пришло ли время им воспользоваться, но не решился. Кэрель говорил очень тихо. Он должен был действовать крайне осторожно, чтобы не возбудить в Жиле подозрений. Можно даже сказать, что он продемонстрировал в этой ситуации свои недюжинные актерские способности. Он тянул с объяснениями, и таким образом отказ Жилия, даже колебание становились невозможными, он не сказал сразу: "Давай", но: "Покажи, я потом объясню..." Жиль смотрел на Кэреля, тот и другой чувствовали растерянность. На них действовала вкрадчивость, почти нежность их собственных голосов и грусть сумерек. Эта нежность и эти сумерки как бы обнажали их, сдирали с них кожу и тут же проливали на их раны целительный бальзам. Кэрель чувствовал настоящую привязанность, даже любовь к Жилю, который отвечал ему тем же. Нельзя сказать, чтобы Жиль уже подозревал, на что (а трагическая развязка была неизбежна) обрекает его Кэрель, нам не хотелось бы искажать смысл происходящего своими досужими домыслами. Говорить о предчувствии в данном случае было бы ошибкой. Не то чтобы мы вообще не верили в предчувствия, но они скорее относятся к теории, чем к конкретному произведению искусства, - ибо произведения искусства не подчиняются никаким навязанным извне представлениям. Нам всегда казалось отвратительной литературщиной следующее рассуждение по поводу картины, изображающей младенца Иисуса: "В его взгляде и улыбке уже чувствуются боль и отчаяние грядущего Распятия". И все-таки, стараясь передать суть связывающих Кэреля с Жилем отношений, мы вынуждены попросить у читателя извинения за то, что не можем обойтись без этого презируемого нами литературного штампа, и написать, что Жилия

внезапно посетило ощущение своей обреченности и предчувствие предательства Кэреля. Эта банальная фраза служит лишь для того, чтобы быстрее и вернее обрисовать роли двух героев: искупителя и того, кто провоцирует это искупление, - остается еще один нюанс, о котором мы считаем своим долгом тоже поведать читателю. Жиль сделал движение, которое на мгновение освободило его от этой обволакивающей и привязывающей его к своему будущему убийце нежности. (Здесь уместно напомнить, что бывали случаи, когда даже отец, подчинившись какому-то внутреннему порыву, на глазах пораженной и шокированной публики вдруг дружески обращался к убийце своего сына, участливо расспрашивая того о последних мгновениях своего любимого чада.) Жиль скрылся в тени, куда за ним невольно последовал и Кэрель.

-Он у тебя?

Жиль поднял голову. Он присел на корточки, пытаясь достать пистолет из-под связки канатов.

-А?

Он засмеялся, и голос его слегка дрожал.

-Я, наверное, спятил,- добавил он.

-Покажи,- едва слышно попросил Кэрель и осторожно взял револьвер.

Теперь он был спасен. Жиль снова встал.

-Что ты собираешься с ним делать?

Кэрель молчал. Он повернулся спиной к Жилю и направился в угол, где тот обычно сидел. Наконец он решился:

-Пора линять по-тихому. Тебя зашухерили.

-В натуре?

К счастью, слово оканчивалось гласной, иначе Жилю не удалось бы произнести последний слог. Ужас перед гильотиной, который он на какое-то время загнал глубоко внутрь себя, внезапно охватил его с новой силой и заставил всю его кровь прихлынуть к сердцу.

-Да. Тебя ищут. Но не дрейфь. И не думай, что я тебя кину.

Жиль никак не мог понять, зачем им понадобился револьвер, и тут он увидел, как Кэрель положил его себе в карман робы. Его внезапно озарила мысль о возможном предательстве, но в то же время он испытал глубокое облегчение, что избавился от этого предмета, применив который он, возможно, снова кого-нибудь бы убил. Вяло протянув руку, он спросил:

-Ты мне его оставишь?

- Ладно. Я те все объясню. Слушь меня внимательно. Я не грю, что ты поймают, я уверен, что нет, но ведь все мо случиться. Лучше, чтоб у ты не было с собой оружия.

Все доводы Кэреля сводились примерно к следующему : если он выстрелит в легавых, те тоже начнут стрелять. Они могут убить или ранить его. А если он будет арестован, то им не составит большого труда узнать от него - если Жиль будет ранен - или просто проведя тщательное расследование, что револьвер принадлежит лейтенанту Себлону, который, в свою очередь, сразу же заподозрит своего ординарца. Описывая движение души наших героев, мы стремимся подчеркнуть то, что нам кажется самым существенным. Мы подбираем по своему усмотрению поступки - видя или, точнее, предвидя приближение долгожданного конца, - которые лучше всего раскрывают их внутренний мир, если же для большей художественной достоверности нам потребуется

показать мысли, суждения или поведение героя, неожиданно столкнувшегося, например, с какой-нибудь несправедливостью,- персонаж как бы ускользает от автора и становится абсолютно самостоятельным. То есть мотивы его поведения раскрываются автором уже после описания его поступка. В данном случае доводам, к которым прибегнул Кэрель, можно дать следующее более или менее удовлетворительное объяснение : подобный грубый ход мысли был связан с отсутствием у него воображения, ибо он плохо понимал офицера, который, как свидетельствует его дневник, скорее взял бы вину на себя, чем выдал Кэреля полиции. Судя по записи в личном дневнике, лейтенанту Себлону даже хотелось, чтобы Кэрель оказался убийцей, но мы еще увидим, на какие героические поступки подвигнет его стремление к тому, чтобы это желание осуществилось.

Жиль буквально обезумел от страха. Он даже не пытался понять доводы своего друга. Как бы со стороны он услышал звук собственного голоса:

-Значит, я пойду нагишом. Безо всего.

Кэрель только что потребовал назад свою матросскую форму. Не должно было остаться ничего, что могло указать полиции на Кэреля.

-Голым я тебя не оставлю, не бойся!

Жиль хотел было протестовать - скользкое и настороженно-вкрадчивое поведение Кэреля постепенно начинало его раздражать, - но эта резкая интонация снова подчинила его. Кэрель прекрасно понимал, что, разговаривая с подчеркнутым презрением с тем, кто мог его выдать, он ясно давал понять, что не сомневается в своих силах. Нежно и умело он перешел к более крупной игре, где на кон была поставлена уже жизнь самого игрока. Принюхавшись, иначе не скажешь, он почувствовал, что нащупал удачную линию поведения, и решил придерживаться ее до конца.

-Может, ты не будешь меня доставать, а? И косить под крутого. Все, что от тебя требуется, - это слушаться меня.

Эти слова и тон, каким они были произнесены, настолько приблизили его к гибели (Жиль мог о чем-то догадаться и уступить своему раздражению), что он еще более ясно и отчетливо, до малейших нюансов понял, как нужно себя вести, чтобы подставить Жилю, заставить его молчать и, тем самым, спастись самому. Все его чувства были обострены, и он, уже празднуя в душе победу, слегка умерил свой презрительный и высокомерный тон, который мог нарушить зыбкое равновесие и отдалить от него почти достигнутую им цель. Однако голос Кэреля (а тот не сомневался, что успех сопутствует только тем, кто не считает себя связанным никакими предрассудками), став менее презрительным и высокомерным, вовсе не стал от этого более сердечным. Криво улыбнувшись, как бы желая показать Жилю, что, несмотря на всю серьезность сложившейся ситуации, излишне драматизировать ее не стоит, он произнес:

-Ты хочешь знать, что дальше? Ты же не из слабаков, выкрутишься как-нибудь. Но сейчас лучше слушайся меня. Понял? А?

Он положил руку Жилю на плечо и говорил с ним теперь как с больным или с умирающим, адресуя свои последние наставления уже скорее его душе, чем телу.

-Найдешь пустое купе. В первую очередь спрячешь фанеру. Лучше всего спрятать ее под сиденье. Немного можешь оставить у себя. Понял? Никогда не держи все бабки при себе.

-А прикид?

Жиль собирался сказать : "Ты просто хочешь, чтобы я скорее свалил", -но, вспомнив об установившейся между ними в последнее время близости, которой он сам даже немного стыдился, он побоялся, что эта фраза может показаться Кэрелю слишком двусмысленной, и произнес:

-Меня же заметут...

-Да нет. Успокойся. Легавые же не знают, как ты прикинут.

Голос Кэреля по-прежнему звучал повелительно и нежно. Их взаимное влечение - которое было родом недуга и вызывалось нарушением в системе кровообращения обычного течения событий, - казалось, ждало удобного случая, чтобы дать о себе знать. Обняв Жилья за плечи, Кэрель произнес:

-Не дрейфь! Мы еще им покажем!

Он имел в виду их совместные дела, и Жиль это так и понял, но испытанное им при этих словах волнение было вызвано, скорее, некоторой недосказанностью этой фразы, сформулированной так, будто их слышали дети, и как бы содержащей в себе некий намек на то, что два соучастника могли быть еще и любовниками. Жиль был потрясен. Кэрель совершил только одну ошибку: именно ту, какую обычно и совершают в подобной ситуации, когда, думая о собственном спасении, лишают всякой надежды тех, кто обречен на гибель. Желая подстраховаться, он постарался осторожно намекнуть Жилью, чтобы тот не выдавал его, если вдруг, не дай Бог, его схватят полицейские:

-Понимаешь, это ни к чему. Тебе-то все равно уже нечего терять.

Жиль с искренним недоумением посмотрел на него:

-Почему?

-Ну, ты ведь уже практически приговорен к смерти!

Жиль почувствовал, как внутри у него все холодеет, сжимается, он ощутил в себе страшную пустоту и невесомость. Он прислонился к Кэрелю, который крепко обнял его. Надо сказать, что в дальнейшем Жиль ни словом не обмолвился о Кэреле полицейским. До его перевода в Ренн Марио присутствовал на всех допросах. Он немного боялся услышать от Жилья имя Кэреля. Он не сомневался, что юный каменщик совершил только одно убийство, а в другом неповинен. После своего ареста Жиль сразу же забыл о Кэреле и не вспомнил о нем только потому, что никто его об этом не спросил. Не стоит объяснять, читатель сам, наверное, догадывается, почему ни один полицейский (кроме Марио) не задумался над тем, каким образом живший после убийства каменщика такой затворнической жизнью Жиль мог убить еще и матроса. Что касается Марио, то его проникновение в суть происходящих событий заслуживает особого внимания. По-настоящему его можно понять только в более широком контексте нашего романа. Дэдэ был - во всяком случае, ему так казалось - в курсе всех любовных приключений брестских мальчишек. Стараясь выслужиться - конечно, и перед Марио, но в первую очередь все же перед полицией, причем именно выслужиться, - он поражал всех (благодаря своей физической ловкости, хитрости, а также цепкости зрительной памяти) огромным количеством всевозможных наблюдений. Лишенный каких-либо угрызений совести - а значит, и связанных с ними помех, - Дэдэ был замечательной запоминающей машиной. В то время он восхищался Робером. Данное ему Марио задание следить за Кэрелем позволило ему соприкоснуться со сложным миром взаимных симпатий и отталкиваний, существующих между полицейским и преследуемым им преступником. Дэдэ никогда не решался напомнить

Роберу о его драке с братом, свидетелем которой он был, но в том, что Роже был любовником Жилия, он не сомневался. Хотя ему и в голову не могло прийти специально наблюдать за ним или тем более следить.

Однажды он сказал Марио:

-Это малыш Роже - приятель Тюрко.

Примерно в то же время Жиль заявил ничего не подозревавшему Кэрелю:

-Если бы меня арестовали, может, я и смог бы найти общий язык с

Марио.

-Как?

-А? Ну...

-Как?

-Ну, понимаешь...Он же пидор. Они с Дэдэ приятели.

Можно ли считать такое поведение коварным? Стоит подростку попасть в полицию, как он сразу начинает думать о том, как бы использовать в своих интересах такое явление, как гомосексуальность. Желая обозначить общую тенденцию и избежать чрезмерного копания в собственной душе, мы считаем возможным ограничиться самыми краткими и приблизительными соображениями по поводу того, почему же все-таки мальчик вдруг решается пожертвовать самым дорогим из того, что у него есть: возможно, это опасность пробуждает в нем тайные желания, а может быть, этой искупительной жертвой он надеется смягчить свою судьбу, или же он верит в любовь и надеется, что существует тайное братство педерастов, изменить которому не вправе никто? Для того чтобы ответить на все эти вопросы, нам придется как бы воплотиться теперь на мгновение в Жилия, ибо в дальнейшем у нас уже не останется на это ни времени, ни сил. Эта книга и так занимает слишком много страниц и начинает нам порядком надоедать. Запомним же эту тайную надежду малолетних преступников, которая вдруг пробуждается в них, когда они узнают, что их судья или адвокат - педики.

-Кто такой Дэдэ?

-Дэдэ? Да ты его, наверное, видел с Марио. Он еще совсем пацан. Они часто ходят вместе. Только я не думаю, чтобы Дэдэ стучал. А ты как считаешь, а?

-А какой он из себя?

Жиль описал его. Потом, увидев его вместе с Марио, на встречу с которым он сам шел, Кэрель почувствовал себя глубоко уязвленным. Он узнал мальчишку, бывшего свидетелем его драки с Робером и ставшего теперь его соперником. Тем не менее он протянул ему руку. В поведении, улыбке и голосе Дэдэ Кэрелю почудилась издевка. Когда мальчишка ушел, Кэрель, улыбаясь, спросил Марио:

-Кто это? Это твой приятель?

Марио ухмыльнулся и насмешливо ответил:

-А тебе не все равно? Это так, один малолетка. Ты что, ревнуешь?

-А что? Очень может быть.

-Да брось ты...

Надтреснутым голосом, в котором слышалось едва сдерживаемое волнение, полицейский вдруг пробормотал: "Ну давай, покажи, как ты

меня любишь". В бешенстве Кэрель с отчаянным остервенением впился в губы Марио. Чувства его были предельно обострены, и он точно зафиксировал в своем сознании момент, когда член полицейского вошел ему в рот. Его остервенение передалось Марио. Полицейский издавал страстные стоны и хрипы, выкрикивал слова, складывавшиеся в бессвязную исповедь, стараясь избавиться от охватившего его внезапно страха, что матрос может забыться и откусить ему член. Убедившись, что его партнер, стоя перед ним на коленях, млеет от удовольствия, Марио окончательно перестал себя сдерживать. Уставившись куда-то в туман, он скрежетал зубами и шептал:

-Да, я легавый! Я сука! Я сделал всех этих фраеров! Они все гниют в кичмане! И мне нравится такая работа!

По мере того как из него выливалась вся эта грязь, его мускулы все больше напрягались и твердели. Кэрель ощущал их волнующее, властное, подчиняющее его себе сладкое прикосновение. Потом, когда они, застегиваясь и стараясь не вспоминать это наваждение, снова превратились в обычных мужчин и стояли, молча глядя друг на друга, Кэрель, желая преодолеть возникшую между ними отчужденность, улыбнулся и сказал:

-А ты ведь мне так и не сказал, что это за парнишка был с тобой?

-Ты действительно хочешь знать о нем поподробнее?

Кэрель внезапно испугался и, стараясь не выдать своего волнения, повторил:

-Так кто же он?

-Это мой звонок.

-Серьезно?

Больше они к этой теме не возвращались. Несмотря на необычность ситуации и все еще не оставившее их до конца смущение, голоса, которыми они теперь продолжали свой разговор, звучали ровно и спокойно, как вдруг Кэрель заявил:

-Я могу сдать тебе Тюрко.

Марио и бровью не повел.

-Да?

-Если ты мне дашь слово, что мое имя в этом деле упоминаться не будет.

Марио поклялся. Он тут же отбросил все колебания, мгновенно забыв о своем мистическом договоре с преступниками: в нем заговорил инстинкт полицейского. Он даже не стал допытываться у Кэреля, откуда у него это сведения и насколько они верны. Он вполне ему доверял. Они быстро договорились о том, как надо действовать, чтобы имя Кэреля осталось неизвестно.

-Поговори со своим малолеткой. Но постарайся, чтобы он ничего не заподозрил.

Часом позже Марио дал Дэдэ указание следить за отправляющимися с вокзала поездами и, заметив Тюрко, сразу же сообщить об этом в комиссариат. Парнишка ни о чем не догадался. Он заложил Жилия. И этот поступок еще больше отдалил Дэдэ от мира ему подобных. С этого момента началось его замечательное восхождение, о котором мы еще расскажем вам в дальнейшем.

На борту "Мстителя" Кэрель продолжал служить ординарцем у офицера, который, казалось, стал относиться к нему свысока, что несколько его задевало. После ограбления лейтенант почувствовал себя героем и преисполнился еще большего самодовольства. Вот цитата из его дневника:

"Я не хуже, чем этот юный очаровательный грабитель. Я не дрогнул. Я рисковал своей жизнью".

В благодарность за помощь в аресте Жиля комиссар полиции почти официально стал давать Дэдэ конкретные задания. Ему поручили следить за матросами и солдатами, часто воровавшими с прилавков в большом универмаге. Когда Дэдэ, натягивая свои желтые кожаные перчатки, возносился эскалатором на верхний этаж магазина, он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Он был прирожденным стукачом. Ему здорово повезло, подфартило. В себе он не сомневался. Достигнув пика своего вознесения, коим являлся зал магазина, который должен был стать отправной точкой для его дальнейшего восхождения по службе, он испытал еще одно незнакомое ему доселе чувство: глубочайшее удовлетворение от достигнутого. Он надевал перчатки и преисполнился еще большей уверенности в себе. На этом отведенном ему участке Дэдэ был хозяином, он чувствовал себя вершителем человеческих судеб.

Армия и Военный флот как бы созданы для тех, у кого начисто отсутствует воображение, они дают им возможность участвовать в авантюрах, в которых все заранее просчитано и предусмотрено, потом их, в благодарность за исполнительность, награждают красной ленточкой Почетного легиона. Впрочем, оставаясь постоянным свидетелем всех этих заблаговременно запланированных происшествий, лейтенант оказался вовлеченным еще в одно, гораздо более серьезное. Не то чтобы он всерьез возомнил себя героем, но его необыкновенно взволновало непосредственное соприкосновение с одной из самых отвратительных и презираемых и в то же время одной из самых возвышенных сфер человеческой деятельности: вооруженным разбоем. Его только что ограбили на большой дороге. Грабитель был очень красив. Конечно, гораздо романтичнее быть грабителем самому, но в том, что он оказался жертвой ограбления, тоже была своя прелесть. Лейтенант уже не пытался отвлечься от одолевавших его сладостных мечтаний. Он был уверен, что ни одна деталь этого происшествия (когда он оказался один на один с разбойником) не станет достоянием гласности. "Тайное никогда не станет явным", - думал он. Скрывая свои чувства под напускным равнодушием, он был неуязвим для окружающих. "Мой палач! Вот мой палач! Крадучись, как волк, он выходит из тумана и убивает меня. Деньги достались ему ценой моей жизни". Во время своего непродолжительного пребывания в больнице он каждый день заходил на судно. Он ходил по палубе с забинтованной рукой или отдыхал у себя в каюте.

-Я приготовлю вам чаю, лейтенант?

-Как хотите.

Он сожалел, что грабителем был не Кэрель.

"С каким наслаждением я отказался бы отдать ему деньги! Наконец бы у меня появился шанс продемонстрировать ему мою храбрость. Неужели бы я его выдал? Какие бездны открываются в моей душе, когда я пытаюсь ответить на этот вопрос! Достаточно вспомнить визит полицейского и испытанное мною тогда чувство головокружения. Я чуть было не выдал Кэреля. Меня до сих пор охватывает дрожь при одной мысли о том, что по моему поведению и моим ответам полицейский мог догадаться, что я имею в виду его. Я ненавижу полицию, и присутствие легавого выбило меня из колеи. Он сошел с ума, если в самом деле считает, что Вика убил Кэрель. Конечно, мне хотелось бы, чтобы это был он, ибо тогда любовная драма, которую я так долго вынашивал в своих мечтах, наконец-то смогла бы воплотиться в жизнь. Как бы я хотел доказать Кэрелю мою преданность! Чтобы он, обезумев от мучительных угрызений совести, с влажными от пота прилипшими к вискам волосами, терзаемый воспоминаниями о своем убийстве, пришел и доверился мне! Я стал бы его исповедником и отпустил бы ему все грехи! Я утешил бы его в своих объятиях и даже пошел бы за ним на каторгу! Если бы я чувствовал большую уверенность в том, что он убийца, я бы, наверное, действительно выдал его, чтобы потом иметь возможность утешать его и разделить с ним его наказание! Кэрель и не подозревает, что был тогда на волосок от гибели! Еще совсем немного - и я выдал бы его легавым!"

Лейтенант не мог представить себе, как всегда улыбающийся - хотя его и нельзя было назвать обыкновенным "зубоскалом" - Кэрель вдруг потребовал бы у него деньги. Ему никак не удавалось заменить им в своем воображении того вооруженного револьвером и переодетого в матроса типа. А как бы это было замечательно! Он бы столкнулся с ним лицом к лицу в этом головокружительном поединке, во время которого они бы лучше узнали друг друга и который бы уже больше никогда не кончался. Оставаясь один, лейтенант представлял себе возвышенные фразы, которыми бы они обменивались и благодаря которым Кэрель бы наконец прозрел и увидел его подлинное лицо. Краткие, скупые, не содержащие в себе ни одного лишнего слова фразы. Голос офицера звучал бы невозмутимо и надменно:

-Ты с ума сошел, Джо. Брось револьвер. Я никому не скажу об этом.

-Гони бабки и не рыпайся.

-Нет.

-Если будешь упираться, я выстрелю.

-Стреляй.

Ночью лейтенант часто гулял один по палубе, погруженный в размышления об этом диалоге, который ему никак не удавалось закончить. "Пораженный до глубины души, он бросает оружие. Но тогда никто не узнает о моем героизме...Пораженный до глубины души, он все же стреляет, ибо боится уронить себя в моих глазах... А если он меня убьет, тогда мне придется умереть на дороге?" После длительных колебаний лейтенант выбрал следующую развязку: "Кэрель стреляет, но от волнения промахивается. Он ранит меня". Вернувшись на борт, он отказывается выдать полицейским Кэреля (как он и поступил в случае с Жилем). Только так он мог доказать свое превосходство тому, кого любил.

-Я могу попросить у вас увольнительную на два дня, лейтенант?

Задавая этот вопрос, разливавший чай Кэрель на минуту остановился и, подняв голову, улыбнулся отражению офицера в зеркале, но тот внезапно замкнулся в себе и сухо ответил:

-Да, я не против.

Вот уже несколько дней он пребывал в плохом настроении. Полицейские упорно допрашивали Кэреля, пытаясь загнать его в угол, поймать на какой-нибудь случайной оговорке, но так и не смогли ничего толком узнать. Кэрель начинал раздражать лейтенанта. Его лицо не могло затмить образ отважного грабителя, вышедшего навстречу ему из утреннего тумана. Он был еще совсем мальчишка, хотя и отчаянный. Иногда он со стыдом признавался себе, что тому, кто грабит педиков, не нужно быть особенно смелым. Однажды Кэрель имел наглость в присутствии лейтенанта отпустить в адрес злодея негодующее замечание: "Тоже мне, нашел с кем связаться!" Очевидно, грабитель заранее наметил себе наиболее подходящую жертву. Поэтому он и не боялся. Во всяком случае, именно в тот самый момент, когда Кэрель наконец, после долгих колебаний, вроде бы, согласился принять эту глубокую благодарную нежность, на которую способны одни педерасты, он почувствовал, что офицер, напротив, удаляется от него. Что касается офицера, то это происшествие навело его на некоторые размышления и оказало воздействие на его дальнейшее поведение, рассматривая которое мы можем понять, каким образом ему все-таки удалось покорить Кэреля.

"Любовь Кэреля способна заменить мне любовь всех французских моряков. Мой избранник является олицетворением их мужества и прямоты.

Капитана одной из галер все звали "наш благоверный". Он был нежен и жесток. И я уверен, что он мог быть жесток и нежен одновременно; когда он отдавал приказы о пытках, улыбка сияла не только на его лице, она как бы озаряла его изнутри, освещая и словно умиротворяя и расслабляя все его внутренности (печень, легкие, желудок, сердце). Его голос, которым он отдавал приказ о пытках, взмах его руки, его томный взгляд тоже излучали это сладостное, расслабляющее умиротворение. Без сомнения, если бы я был облачен в капитанскую форму, я вел бы себя именно так и создал бы образ еще более идеальный и совершенный, во всяком случае, ничуть не хуже, чем это удалось ему. Этот образ очень удачно отражает положение капитана среди галерников. Отсвет излучаемой им нежности ложится на их суровые лица, проникает в их глаза и еще дальше, вглубь их сердец. Конечно, отдавая приказ о казнях, капитан поступал жестоко. Он связывал их, терзал их плоть, покрывая ее глубокими ранами, выкалывал им глаза, вырывал ногти (точнее, он приказывал это делать), но он подчинялся определенным правилам, он должен был поддерживать порядок и добивался этого, внушая страх и ужас, иначе он не был бы капитаном. Впрочем, именно его офицерское звание - которое есть и у меня! - давало ему власть над людьми, и в голосе, которым он приказывал приступить к пыткам, не было ненависти (и действительно, он, скорее, должен был любить эти тела, от которых зависело его существование, своеобразной

извращенной любовью) : он просто добросовестно обрабатывал материал, поставляемый ему Королевским Судом, но, обрабатывая его, он испытывал что-то вроде горького наслаждения, и в его улыбке сквозила грусть. Я вновь повторяю, что по отношению к галерникам этот капитан должен был быть жесток и нежен.

"Если бы я был облачен в капитанскую форму ",- написал я. Если я действительно хочу получить эту власть над людьми, облачиться в восхитительную, вызывающую любовный трепет, неудержимо влекущую к себе - испокон веков - капитанскую форму, прежде всего я должен завоевать сердца матросов, снискать их любовь. Я должен стать для них отцом и наказывать их. Я полностью подчиню их своей воле, и они возненавидят меня. Я буду равнодушно взирать на то, как они корчатся под пытками. Мои нервы не дрогнут. Постепенно меня наполнит ощущение безграничной власти. Я стану безжалостен и тверд. И тогда я с грустью увижу, как жалок я был со своей притворной улыбкой и приторным голосом, которыми я пытался смягчить отдаваемые мной приказы.

Я тоже жертва рекламы. Как-то на одной из афиш я увидел морского пехотинца в белых гетрах, стоящего на страже Французской империи. Он попирает ногами розу ветров. Его голову осенял розовый цветок чертополоха.

Я знаю, что никогда не брошу Кэреля. Мы связаны с ним навек. Как-то, пристально взглядевшись в него, я спросил его: "Вы что, немного косите?" Вместо того чтобы разозлиться и ответить дерзостью, этот гордый красавец с такой проникновенной грустью, как будто ему вдруг напомнили о небольшой на вид, но неизлечимой ране, произнес: "Да, но это от меня не зависит". В то же мгновение я почувствовал, что из меня вот-вот хлынет переполняющая меня нежность. В это миг с него как будто спала всегда защищавшая его броня его самолюбия, и Кэрель впервые предстал передо мной не в виде мраморной статуи, а живым человеком из плоти и крови. Теперь я понимаю, почему Мадам Лизиана никогда не отталкивала нуждавшихся в ее помощи клиентов.

Даже страдание не может заставить меня обратиться к Богу. Мне невыносима сама мысль о том, что я должен буду обратиться за помощью к Тому, кто так несправедлив ко мне. Я знаю, что мне никто никогда не поможет. И я могу лишь благодарить того, кто стал причиной моего несчастья.

Внешне Кэрель так прекрасен и чист - впрочем, и его внешности для меня вполне достаточно,- что мне нравится воображать, как он совершает самые жуткие преступления. Хотя мне самому не понятно, хочу ли я таким образом запятнать Кэреля или же это продиктовано желанием уничтожить зло, сделать

его безопасным и бессильными, заключив в столь совершенную и чистую оболочку.

Наручники на руках преступников называют "браслеты". О, какие руки они украшают!

Чем он занимается на берегу? Какие приключения ждут его там? Я чувствую возбуждение и раздражение одновременно при одной мысли о том, что он может стать добычей любого бредущего в тумане случайного прохожего. Тот жестами увлекает его за собой. Кэрель, не проявляя ни малейшего удивления, молча улыбаясь, следует за ним. Вот они находят укромный уголок, и Кэрель все с той же улыбкой молча расстегивает свою ширинку. Мужчина опускается на колени, потом снова поднимается, протягивает равнодушному Кэрелю сто франков и уходит. А Кэрель возвращается на борт или отправляется к девкам.

Проанализировав все написанное выше, я понял, что роль молчаливого слуги, улыбающегося безличного существа не подходит Кэрелю. Для этого он слишком силен, и воображать его в такой роли - значит делать его еще сильнее, а это уже не укладывается в моей голове, этот образ способен разрушить мое сознание, уничтожить меня, смести с лица земли.

Я уже писал, что мне втайне хочется, чтобы он оказался не тем, чем кажется. Под этим строгим и вместе с тем таким детским нарядом, каким является форма матроса, прячется ловкое и сильное тело с душой убийцы. Кэрель именно таков. Я в этом уверен.

Мне показалось, что я почувствовал, как на меня вдруг повеяло от него какой-то скрытой враждебностью. Должно быть, Кэрель меня ненавидит.

Я стал офицером не столько потому, что хотел стать военным, но потому, что меня всегда привлекало особое положение среди рядовых солдат. Они готовы пойти за меня на смерть, и я, в свою очередь, могу пожертвовать ради них своей жизнью.

Иисус возвысил в наших глазах унижение, указав, что только через него можно достичь вечного блаженства. Источник этого блаженства находится внутри нас - ибо оно не имеет никакого отношения к земному величию, - нужно иметь в себе достаточно силы, чтобы

противостоять обману величия земного и достичь величия на небесах. Но только подлинное унижение может свидетельствовать о том, что человек сумел возвыситься над земной суетой".

Последняя запись в личном дневнике офицера была сделана им после случая, который он не описывает. Набравшись наглости, он пристал к молодому докеру и увел его к насыпям, которые, как мы уже писали, были все завалены мусором. Судьбе было угодно, чтобы лейтенант, спустив штаны и стараясь получше подставить свой зад, вытянулся на склоне канавы и угодил животом в дерьмо. В то же мгновение оба мужчины были окутаны страшным зловонием. Докер молча ретировался. Лейтенант остался один. Он нарвал засохшей травы, к его счастью, слегка смоченной росой, и попытался очистить свой китель. Он сгорал от стыда. Он смотрел, как его изнеженные белые руки - которые были настолько унижены, что наконец-то стали ему покорно подчиняться, - неловко и старательно выполняли эту грязную работу. Он представил себе, как мелькает в тумане золотая окантовка его рукавов. Унижение болезненно обострило его восприятие, ему казалось, что он находится в самом центре мира, у всех на виду. Он чувствовал, что его душит несвойственное ему ожесточение. Оказавшись на дороге, он, как прокаженный, вынужден был избегать открытых людных мест, куда ветер мог донести его запах: теперь он понимал, почему Всевышний родился именно в хлеву. Воспоминание о Кэреле (которое делало его унижение особенно болезненным, оттого что, будучи неясным и ускользающим, оно как бы смешивалось с запахом, исходящим от его живота) стало более отчетливым. В первый момент от охватившего его при этом воспоминании стыда офицер готов был провалиться сквозь землю, но постепенно он пришел в себя и стал думать о матросе более спокойно. Легкий ветерок дул ему прямо в лицо. Он шел, и какой-то голос внутри него не умолкая твердил: "Я воняю! Воняю на весь мир!" И из самой гущи тумана, из этой точки, затерявшейся где-то в окрестностях Бреста, на нависшей над морем и лавками дороге, легкий бриз разносил по миру аромат более нежный и утонченный, чем благоухание лепестков роз Саади, - аромат унижения лейтенанта Себлona.

Любовником Мадам Лизианы теперь стал Кэрель. Смятение, вызванное постоянными размышлениями о невероятном сходстве двух братьев, достигло своего апогея, и в ее голове все окончательно перепуталось.

Об этом свидетельствовали некоторые факты. Как-то Жиль, обеспокоенный долгим отсутствием Кэреля, отправил Роже на разведку. Парнишка после долгого колебания, потоптавшись перед колючей дверью "Феерии", наконец собрался с духом и вошел внутрь. Кэрель находился в зале. Слепленный ярким светом и видом полуобнаженных женщин, Роже подошел к нему не слишком уверенной походкой. Мадам Лизиана, внешне все еще властная, но уже подточенная изнутри своим тайным страданием, наблюдала за их встречей со стороны. Нельзя сказать, чтобы она сразу же придала какое-то особое значение смущенной улыбке Роже или удивлению и беспокойству Кэреля, но, вероятно, все это не ускользнуло

от ее внимания. И достаточно было того, чтобы появившийся секундой позже в зале Робер подошел к беседовавшему с мальчиком брату, как зародившаяся где-то в глубинах ее подсознания смутная догадка вдруг выплыла наружу и обрела ясную и законченную форму:

"Ну вот, это их ребенок!"

Никогда - даже в это мгновение - хозяйка всерьез не думала, что братья были настолько близки, что у них может родиться ребенок, в то же время их физическое сходство, в котором она видела главное препятствие для своей собственной любви, в конце концов должно было с неизбежностью перерасти в подобную близость, каковой могла быть лишь любовь. Впрочем, призрак этой любви - а она не представляла ее себе без окончательной интимной близости - уже так давно ее мучил, что любое самое нелепое стечение обстоятельств вполне могло явиться для нее доказательством ее реального существования. Ее желание получить хоть какое-нибудь подтверждение реального существования этой любви было настолько сильным, что порой ей казалось, будто она начинает материализоваться внутри ее собственного тела, она даже чувствовала какое-то странное жжение в своей груди. И вдруг она увидела, как братья, стоя всего в двух шагах от нее, беседуют с неизвестным юношей, который в ее воспаленном воображении, естественно, сразу же превратился в плод их братской любви. Однако Мадам Лизиана понимала, что, позволив этой мысли полностью завладеть ее сознанием, она рискует показаться смешной. Она попыталась сосредоточить все свое внимание на клиентах и шлюхах и, стараясь больше не думать о братьях, повернулась к ним спиной. Но после некоторого колебания она все-таки обратилась к Роберу с просьбой сходить за спиртным и, воспользовавшись этим предлогом, постаралась получше рассмотреть мальчика. Он был просто очарователен. Оба любовника могли им гордиться. Она внимательно осмотрела его с головы до ног.

-А если этот Чинзано наконец явится, скажи ему, пусть дождетя меня.

Сделав вид, что собирается уходить, она вдруг неожиданно обернулась и с улыбкой указала на Роже :

-Ты же знаешь, у меня могут быть неприятности. Не нужно с этим шутить.

-Кто это?- равнодушно спросил Кэреля Робер.

-Это брат одной моей подруги, которую я трахаю.

Не разбираясь в тонкостях мужской любви, Робер решил, что мальчишка - это новое увлечение его брата. Он старался не смотреть на него. В туалете Мадам Лизиана попыталась мастурбировать. Сходство двух братьев снова повергло ее в страшное смятение. Роже был потрясен не меньше хозяйки, и когда, покинув "Феерию", он снова вернулся в тюрьму, его растерянность была так велика - употребим это гнусное, но точное сравнение, - что Жиль без труда подобрал ключик к его заднему проходу. Конечно, член у Кэреля, как она сама с легким укором заметила ему, вставал не до конца, но во всяком случае, этот член ее не разочаровал, ведь она так о нем мечтала. Этот член оказался тяжелым, плотным, массивным и вообще скорее мощным, чем элегантным. Наконец-то Мадам Лизиана почувствовала некоторое успокоение, настолько этот член был не похож на член Робера. Все-таки ей удалось обнаружить хоть что-то отличавшее одного брата от

другого. Поначалу Кэрель не придавал особого значения заигрываниям хозяйки, но поняв, что может таким образом отомстить своему брату за все унижения, он решил воспользоваться ее благосклонностью. Когда он раздевался в первый раз, ярость и предвкушение близкого отмщения придали его жестам такую стремительность, что Мадам Лизиана решила, будто он сгорает от нетерпения овладеть ею. В действительности же Кэрель шел на эту битву, желая окончательно самоутвердиться. Любовная связь с настоящим легавым укрепляла его уверенность в себе. Теперь ему все было нипочем. Встречаясь с Ноно, он вел себя так, как будто между ними не существовало никаких тайных отношений, и его нисколько не удивляло, что тот, в свою очередь, тоже не спешит ему о них напомнить. На самом деле Марио просто забыл его предупредить, что Ноно благодаря его стараниям, был уже в курсе всего. Кэрелю оставалось лишь удовлетворить чувство мести. Мадам Лизиана раздевалась медленнее его. Нетерпение матроса восхищало ее. Она наивно полагала, что была причиной его лихорадочного возбуждения. Раздевшись только наполовину, она ждала, что нетерпеливый фавн со вставшим членом одним прыжком выскочит из листвы и опрокинет ее в волны беспорядочно разбросанных кружев. Он лег рядом с ней. Наконец-то ему представилась возможность доказать свою мужественность и посрамить брата. На следующий день он трахнул ее еще раз, через два дня - еще, наконец - в четвертый раз. Для того чтобы были лучше понятны истинные мотивы поведения Кэреля по отношению к лейтенанту, а также Марио, необходимо кое-что пояснить. Пребывание "Мстителя" в Бресте подходило к концу. Матросы знали, что через несколько дней они снимаются с якоря. Кэреля мысль о предстоящем отплытии повергала в глубокое смятение. Покидая землю, он оставлял незавершенными многие из своих опасных авантюр, а значит, упускал и свою выгоду. Теперь с каждым мгновением он все больше отдалялся от города и все больше привязывался к жизни на сторожевом корабле. Кэрель восхищался неограниченными возможностями этого огромного стального сооружения. То, что вскоре он мог объявиться в Балтике и даже еще дальше, в Белом море, делало его еще более значительным в собственных глазах: не отдавая себе в этом отчета, Кэрель уже начал обдумывать свое будущее плавание. На следующий день после того, как он впервые вступил в связь с Мадам Лизианой, и произошел инцидент, уже описанный офицером в его личном дневнике. Кэрель всегда, когда шел по улице, подтрунивал над встречными девушками. Он делал вид, что хочет их обнять, а если те не сопротивлялись, он их отталкивал. Иногда он их все-таки обнимал, но тут же начинал хохотать и гримасничать. Его самолюбие требовало, чтобы его способности обольстителя были признаны всеми. Изредка он задерживался с какой-нибудь случайно подцепленной по пути девушкой, но чаще даже не замедлял своих упругих размашистых шагов. Этот вечер был исключением. Довольный тем, что благодаря Мадам Лизиане ему удалось развязаться одновременно и с Ноно, и с Марио, и гордый оттого, что проучил своего брата, трахнув его бабу, он, победоносно насвистывая, спускался вниз по улице Сиам. Он был весел и немного пьян. Алкоголь горячил его кровь. Он улыбался.

-Ну что, милашка!

Его рука с силой сжала плечо девушки. Она повернулась к нему и невольно подчинилась наглому хватке этого здоровенного хулигана.

Кэрель, не дожидаясь, пока они выйдут из освещенной зоны, тут же, в тени между двумя лавочками, прижал ее к стене. Возбужденная и не особенно смущенная тем, что на них смотрят, девушка обняла его за талию. Кэрель, дыша ей в волосы, целовал ее лицо и шептал на ухо циничные слова, которые вызывали у нее нервный смех. Ее ноги были крепко зажаты между его ног. Иногда он отстранялся от лица девушки и оглядывался по сторонам. Убедившись в том, что на улице полно народу, он торжествовал. Его триумф видели все. Тут-то он и заметил лейтенанта Себлону, шедшего в сопровождении двух офицеров. Кэрель продолжал улыбаться своей девушке. Когда же офицер поравнялся со стеной, у которой стояли молодые люди, Кэрель сжал ее еще сильнее и, прильнув к губам, втянул в себя ее язык, в это мгновение он полностью сосредоточился на своей улыбке и постарался перенести ее на свою спину, плечи и ягодицы, иными словами, ему хотелось, чтобы наиболее притягательной стала именно эта задняя часть его тела, которая в это мгновение как бы была его настоящим лицом, лицом матроса. Он хотел заставить его улыбаться и привлекать к себе внимание. Кэрель так сильно напрягся, что едва уловимая дрожь пробежала по его позвоночнику от затылка до ягодиц. К офицеру была обращена самая привлекательная часть его тела. Он не сомневался, что его узнали. Что касается лейтенанта, то в первый момент ему захотелось было подойти к Кэрелю и наказать его за неприличное поведение посреди освещенной улицы. Он должен был поддерживать дисциплину, хотя бы для виду, так как прекрасно понимал, что его офицерское звание и власть, которой он был наделен, сохраняют свою значимость только при условии неукоснительного соблюдения установленного в этом мире порядка, и малейшее отклонение от этого порядка было для него равносильно самоубийству. Однако он этого не сделал. Более того, он бы наверняка не стал этого делать, даже если бы рядом с ним не было его товарищей, ибо, несмотря на то, что он осознавал свою кровную заинтересованность в поддержании строгой дисциплины, любое ее нарушение или поощрение этого нарушения с его стороны, которое делало его невольным соучастником нарушителя, позволяли ему пережить ни с чем не сравнимое упоение безграничной свободой. Кроме того, проявление снисходительности по отношению к такой прекрасной чете влюбленных казалось ему "свидетельством особой утонченности и истинного благородства" (как он характеризовал свой поступок сам). Бросив девку, Кэрель не решился продолжить свой путь к порту, в направлении которого только что прошли офицеры, а медленно побрел вверх по улице. Он был зол, хотя все еще по-прежнему счастлив. Краем глаза Кэрель заметил, как какая-то девушка со смехом оторвалась от своих друзей и, перебежав через улицу, поравнялась с ним. В тот самый момент, когда она протянула руку, чтобы дотронуться (считается, что это приносит счастье) до помпона матроса, он вдруг повернулся к ней и с размаху ударил ее по лицу. Красная от стыда и боли девушка в ужасе замерла под разъяренным взглядом Кэреля и пробормотала:

-Я вам не сделала ничего дурного.

Но в то же мгновение он сам оказался в окружении- точнее, даже в кольце - парней, которые явно намеревались вправить ему мозги. Кэрель, не сдвигаясь с места, медленно поворачивал свое туловище. Выражение лиц парней не сулило ему ничего хорошего. Он хотел даже позвать на помощь моряков, но вокруг никого не было видно. Мужчины осыпали его оскорблениями и угрозами. Один из них толкнул его:

-Ублюдок! Ты нападаешь на девчонку! Будь ты настоящим мужиком...

-Осторожно, ребята, у него нож.

Кэрель огляделся по сторонам. Алкоголь мешал ему реально оценить обстановку. Собравшиеся вокруг него застыли в нерешительности. В целом мире, наверное, не нашлось бы такой женщины, которая бы не хотела, чтобы этот прекрасный зверь был убит, разорван на части, растоптан ногами в отместку за то, что она не была его возлюбленной и ее не защищали его руки, его торс, а самое главное - его красота, перед которой, она не сомневалась, не мог устоять никто. Кэрель почувствовал, что его взгляд воспламеняется. В углах его рта проступила пена. Ему показалось, что в ставшем вдруг огромным и прозрачным лице лейтенанта Себлona - который, расставшись со своими товарищами, вернулся назад - отражаются разбросанные по всему земному шару зарницы, полыхающие над всеми тайниками, в которых он хранил свои награбленные сокровища, но это не помешало ему внимательно наблюдать за поведением своих противников и готовиться к отражению их нападения.

-Не валяй дурака. Пошли со мной.

Лейтенант, пробившись сквозь толпу, дружески взял Кэреля за локоть. Он снова подумал о том, что, пожалуй, ему следовало бы наказать матроса за пьянство. Нельзя сказать, чтобы он был особенно озабочен поддержанием престижа Военного флота: если бы это было так, то в сложившейся ситуации он сам, вероятно, должен был бы вступить в драку, - скорее, прибегнув к воздействию своих золотых нашивок, он снова почувствовал какую-то неясную потребность в том, чтобы виновный был наказан в соответствии с установленным порядком. Он правильно догадался, что не следует дотрагиваться до вооруженной руки, и взял его за локоть другой руки. Наконец-то он мог себе позволить все, о чем раньше мог только мечтать. В первый раз в своей жизни он обращался к Кэрелю на "ты", и сейчас это казалось вполне естественным. Как-то он записал в своем дневнике, что для него, как для офицера, самое главное - чувствовать себя командиром: командиром, чья воля способна подчинить себе и одухотворить целые груды человеческого мяса, огромные скопления мускулов, - можно себе представить, как он теперь волновался. Он еще не решил, следует ли ему обуздать это огромное, мощное тело, которое буквально распирало от бешенства и злобы, при помощи какого-нибудь эффектного жеста, или же ему следует подчинить себе эту страшную энергию, прибегнув к устным приказам... Но он уже мысленно представлял себе, как будут потрясены и взволнованы все окрестные женщины, когда он под руку с этим прекрасным прирученным им зверем гордо прошествует прямо у них перед носом.

-Возвращайся на борт. Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Дай мне это.

И он протянул руку к ножу. Но Кэрель, не отвергая поддержки офицера, оружие отдать ему отказался. Он сложил нож, уперев лезвие себе в бедро, и спрятал его в карман. Не говоря ни слова, он приблизился к оцеплению и, прорвав его, начал пробираться сквозь толпу, которая нехотя расступилась перед ним. Когда лейтенант снова встретил его около дебаркадера, Кэрель был еще пьян. Он подошел к офицеру нетвердой походкой и, с размаху хлопнув его по плечу, произнес:

-А ты ничего! Не то, что вся эта шушера. Ты настоящий кореш.  
Пошатнувшись, он не удержался на ногах и сел на швартовую тумбу.  
-Я обязан тебе по гроб жизни.

Он снова покачнулся. Пытаясь его удержать, лейтенант взял его за плечи и тихо сказал :

-Успокойся. Тебя может увидеть кто-нибудь из офицеров...

-Наплевать! Здесь ведь только ты!

-Не кричи, прошу тебя. Я не хочу, чтобы тебя упрятали за решетку.

Он был счастлив, что сдержался и не наказал его. Отныне он больше никогда не будет выполнять роль надзирателя. Порядок, который он всегда так уважал, больше не имел для него никакого значения. И как бы машинально, хотя на самом деле на этом было сосредоточено все его внимание, он поднял руку и слегка коснулся ею берета Кэреля, а потом, после небольшой паузы, прижал ее к его волосам. Кэрель опять покачнулся. Воспользовавшись этим, офицер подставил матросу свое бедро, к которому тот прислонился щекой.

-Если бы тебя отправили в тюрьму, мне бы тебя очень не хватало.

-Правда? Ну да, рассказывай! Ты ведь офицер, тебе на меня наплевать!

Только после этих слов лейтенант, сумев побороть свою нерешительность, погладил его по щеке и сказал:

-Ты сам прекрасно знаешь, что это не так.

Кэрель обнял его за талию, привлек к себе и, заставив наклониться, страстно поцеловал в губы; в том, с какими неведомыми ему доселе тоской и отчаянием он, желая подняться, обхватил потом лейтенанта за шею, было столько неизвестно откуда взявшейся женской грации, что его мужская красота в это мгновение стала воистину неотразимой, ибо его грубые мускулистые руки сжимали шею офицера так, будто это был букет каких-то прекрасных цветов, и эта, казалось бы, абсолютно не свойственная им нежность делала его жест особенно восхитительным. Кэрель был уже не в состоянии справиться со своим смущением и, стараясь хоть немного успокоиться, улыбнулся. Он почувствовал себя настолько слабым и уставшим, что мысль, которая возникла в его мозгу, повергла его в такое глубокое уныние, как если бы он вдруг увидел перед собой картину осеннего увядания или же кровоточащую смертельную рану:

"И этот такой же, как я".

Арест офицера, о котором мы уже писали, произошел на следующий день.

"Он должен овладеть мною до конца, но, отдавшись ему, мне хотелось бы навечно остаться лежать у него на коленях, как в "Пьете" мертвый Христос лежит на коленях Марии."

Ноно говорил с таким видом, будто это его совершенно не волнует:

-Они постоянно цапаются. Колошматят друг друга. Даже не поймешь, что у них за отношения.

-А о чем они говорят между собой?

-А ты будто сама не знаешь. Надеюсь, ты не собираешься строить из себя целочку? Я не люблю, когда меня держат за дурака. Ты слышишь? Мне плевать, можешь давать, кому хочешь, единственное, о чем я тебя прошу, - не устраивай здесь шухер.

Голос у хозяина стал строже. Не глядя на жену и продолжая переставлять бутылки, он уточнил:

-Во всяком случае, убивать друг друга они не собираются, Они просто царапаются, как коты.

Напряжение в ней достигло критической точки. Наблюдая из-за стойки за развертывающимися в полупустом ярко освещенном зале событиями, она по-прежнему чувствовала себя стоящим за пультом дирижером, от внимания которого не должны были ускользнуть малейшие нюансы звучания вверенного ей оркестра. Вместе с тем преследовавшие ее в последнее время мысли принимали все более фантастический характер. В конце концов она решила поджечь бордель, ибо ее причастность к этому преступлению ни у кого не должна была вызвать сомнений. Но так как причины пожара будут всем очевидны, ей самой останется только умереть. А следовательно, она должна будет повеситься. Думая об этом, она порой так глубоко вздыхала, что ее грудь буквально распирало от чрезмерного скопления воздуха и казалось, будто она вот-вот живьем вознесется на небо. Ее застывшие под воспаленными веками глаза были устремлены в пугающую пустоту переливающихся в электрическом свете зеркал, в то время как ее внутренний взор был прикован к безумному хороводу беспорядочно сменяющих друг друга мыслей: "Никакие расстояния не в силах их разъединить..." "Если его брат уйдет в дальнее плавание, лицо Робера постоянно будет обращено к западу. Мой любовник станет похож на подсолнух... Они осыпают друг друга шутками и оскорблениями, которые только еще сильнее их объединяют. В этой схватке нет победителей. А их мальчишка всегда находится рядом с ними и ни во что не вмешивается". Мадам Лизиане казалось, что эти мысли вышиты на дорогих муаровых лентах, величественно развевающихся над роскошным, изваянным из нежного перламутра и слоновой кости дворцом ее тела, на который она со страхом и трепетом взирала со стороны. Перед ней разворачивалась таинственная история двух неразлучных любовников. Их ссоры были смягчены улыбками, а игры увенчаны оскорблениями. Смех и оскорбления утратили для них свой первоначальный смысл. Они оскорбляли друг друга, смеясь. Где-то там, за пределами этой комнаты, где находилась Мадам Лизиана, они торжественно соединялись друг с другом. Сходство их лиц превращало их жизнь в бесконечный праздник. Таинство их бракосочетания не прерывалось ни на секунду. Она снова подумала о пожаре, но на сей раз более определенно. Мысленно она стала прикидывать, где ей лучше всего было бы опрокинуть бидон с бензином, и так этим увлеклась, что на какое-то мгновение перестала ощущать свое тело. Ее руки машинально нащупали под платьем края корсета. Она вздрогнула и выпрямилась.

"Мне следует держаться прямо".

Эта мысль, невольно напомнив ей, что она стареет, причинила ей боль. Несчастная Мадам Лизиана даже мысли, которые представляли перед ее глазами в виде законченных и четко сформулированных фраз, видела написанными со свойственными ей орфографическими ошибками. Например, мысль о любовниках промелькнула у нее перед глазами в таком виде: "они

варкуют". Рядом с Кэрелем Мадам Лизиана не испытывала больше того, что фехтовальщики называют чувством шпаги. Она снова была одинока. Кэрель стал слишком внимателен к ней, и это невольно выдавало его охлаждение. Когда он раздевался и ложился к ней в постель, Мадам Лизиана сразу же начинала жаловаться и причитать. Поначалу Кэрель только смеялся и, стараясь ее успокоить, подшучивал над ней. Но как-то тоже в шутку, желая немного подразнить Мадам Лизиану, он обмолвился о своей связи с Ноно.

-Это неправда.

-Что значит "неправда"? Я ж те сказал. Можешь спросить у него сама.

Для Мадам Лизианы все сразу встало на свои места. Теперь она почти не сомневалась: раз Кэрель занимался любовью с Ноно, значит он мог заниматься этим и с Робером, от которого у него и был ребенок, а она сама, как всегда, оказывалась вне игры. Все самое прекрасное и чудовищное в этом мире совершалось без нее. Она сказала:

-Ерунда. Я знаю, что есть мужчины и женщины, которые занимаются этим. Но Ноно не такой. Это просто злые языки на него наговаривают.

Кэрель расхохотался.

-Оставайся при своем, раз для тебя это так важно. Лично я не вижу в этом ничё страшного.

Она немного приподнялась, чувствуя легкое смущение оттого, что спадавшие ей на глаза волосы подчеркивали ее постыдную женственность, и, взглянув на Кэреля, выпалила ему прямо в лицо:

-В таком случае ты пидарас.

Слово "пидарас" задело его. Однако он засмеялся, потому что считал, что правильнее было сказать: "педераст".

- Тебе смешно?

-Мне? А ты чё, недовольна? Тогда и твой Ноно тоже- пидерас.

-А Робер?

-Что Робер? Плевал я на него. Чё хочу, то и делаю.

Не решаясь открыто оскорбить его, она сказала: "Это отвратительно".

Потом она снова принялась причитать, размазывая по лицу слюни.

Сначала Кэрель попытался ее утешить своей лаской, но ему это быстро надоело, и он сделал вид, что собирается уходить. Мадам Лизиана вцепилась в него, а он старался высвободиться, и его гладкое тело, выскальзывая из ее объятий, поднималось над кроватью все выше, в то время как тело его любовницы, которая со стоном тянула его к себе, постепенно оседало вниз. Вскоре в ее руках осталась лишь нежная пятка матроса, который, спрыгнув с кровати, протянул свои обнаженные руки к обоям на стене, как бы стремясь приклеиться к ним, зацепиться пальцами за голубые и розовые букетики в крошечных корзиночках и вскарабкаться вверх. Когда он наконец полностью высвободился, сбросил с себя простыни и встал перед ней с растрепанными на голове волосами и висящим между ног членом, это был уже не прежний истощенный постоянным соперничеством со своим двойником противник, которого Мадам Лизиана могла одолеть, прибегнув к каким-нибудь женским уловкам и кокетству. Это был враг, силы которого больше не были раздроблены, а напротив, сконцентрированы и умножены до бесконечности, ибо между этими двумя лицами установилось согласие, основанное не на дружбе или взаимной заинтересованности, а на чем-то ином, гораздо более значимом, запечатленном на Небесах, где вершилось таинство бракосочетания их сходства, и даже еще

выше, в Небе небес, там, где она сама была обвенчана с Красотой. Сидя в ногах кровати, Мадам Лизиана больше не сомневалась в том, что он ее бросает.

-Вот видишь! Видишь!

Всхлипывая и шмыгая носом, она без конца повторяла эти бессмысленные слова.

-Но я ты не понимаю. Вас, баб, не разберешь. И ваще, ты мне надоела со своими слезами. Я моряк. Моя невеста - море, а любовница - капитан.

-Ты мне отвратителен!

Сердце Мадам Лизианы сжалось от невыносимой боли, она понимала, что только благодаря Кэрелю она точно так же, как Марио и Норбер, избавилась от одиночества, на которое после его отъезда они все были снова обречены. Он ворвался в их жизнь стремительно и легко, как джокер, который путал все карты, но придавал смысл игре. Что касается самого Кэреля, то, собираясь покинуть комнату хозяйки, он вдруг поймал себя на том, что ему жаль уходить от нее. Не спеша, натягивая на себя одежду, он рассеянно скользил взглядом по сторонам и тут натолкнулся на приколотое к стене фото хозяина. В то же мгновение перед ним промелькнули лица всех его друзей: Ноно, Робер, Марио, Жиль. Ему стало грустно, и, не отдавая себе в этом до конца отчета, он почувствовал, что не хочет, чтобы они остались здесь и состарились без него; в его мозгу, затуманенном надоедливymi всхлипываниями и отражавшимися в зеркальном шкафу карикатурно-жеманными жестами одевавшейся за его спиной Мадам Лизианы вдруг промелькнула безумная идея сделать их всех соучастниками какого-нибудь своего убийства и тем самым так навечно их всех повязать, привязать к себе, чтобы они уже нигде и никогда не могли любить никого, кроме него. Когда он снова обернулся к ней, Мадам Лизиана окончательно обессиленна от рыданий. Растрепанные волосы спадали на ее мокрое от слез лицо, помада на губах была размазана. Кэрель, снова обретший в своих темно-синих суконных доспехах былую уверенность, привлек ее к себе и поцеловал в обе щеки.

КОНЕЦ